

Н. А. БЕСТУЖЕВ * ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Н. А.
БЕСТУЖЕВ

ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

*



Пушкинский кабинет ИРЛИ

Н. А.
БЕСТУЖЕВ



ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА



Художник Ю. И. Батов

Москва
«Советская Россия»
1983

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Составление, вступительная статья и примечания
Я. Л. Левкович

- Бестужев Н. А.**
Б53 Избранная проза/Сост., вступ. статья и примеч.
Я. Л. Левкович.— М.: Сов. Россия, 1983.— 336 с., ил.,
1 л. портр.

Выдающийся деятель русского освободительного движения декабрист Николай Бестужев (1791—1855) был богато и разносторонне одаренной личностью. Моряк и художник, изобретатель и путешественник, естествовед, экономист и этнограф, он обладал еще и незаурядным литературным дарованием, хотя его писательскую известность при жизни затмила слава его брата А. А. Бестужева-Марлинского.

В настоящую книгу вошли рассказы, раскрывающие талант Н. Бестужева — одного из первых русских писателей-маринистов, а также произведения с отчетливо выраженными в них вольнолюбивыми, республиканскими, декабристскими идеями: «Записки о Голландии 1815 года», «14 декабря 1825 года», «Шлиссельбургская станция» и др. В одномомнике включено также крупнейшее произведение писателя — повесть «Русский в Париже 1814 года».

Б 4702010100—140 123—83
М-105(03)83

Р1

© Издательство «Советская Россия», 1983 г., составление,
вступительная статья, примечания.

Н. А. БЕСТУЖЕВ

Имя Николая Александровича Бестужева давно вошло в историю русского революционного движения. Он — один из наиболее активных «действователей» по подготовке и проведению восстания 14 декабря. Но имя его с равным правом принадлежит русской культуре и русской литературе. Это был человек яркой индивидуальности. Поразительна разносторонность его дарований: художник, создавший уникальную галерею лиц своих «союзников» и их жен, замечательный механик-изобретатель, историк, экономист и политический мыслитель, наконец, писатель, дарование которого высоко ценили современники. «Николай Бестужев был гениальным человеком, — пишет Н. И. Лорер, — и, боже мой, чего он не знал, к чему не был способен!»¹

Н. Бестужев начал писать (но не успел завершить из-за декабрьских событий) историю русского флота, им написан трактат «О свободе торговли и промышленности» (1831), который является крупнейшим памятником экономической мысли декабристов, он серьезно занимался естественными науками, работал над усовершенствованием хронометров, изобрел упрощенный ружейный затвор. Кроме того, он был хорошим агрономом и мастеровым — токарем, золотых дел мастером. На поселении в Селенгинске он устроил обсерваторию для метеорологических наблюдений и, как вспоминает его сестра Елена, «даже был бабмачником за спором»².

Удивительный сплав талантов проявляется в различных сферах его деятельности, во всем, к чему бы он ни прикасался. В художнике Бестужеве мы видим историка, сохранившего потомству лица участников восстания, запечатлевшего в зрительных образах их жилища, быт, природу, которая их окружала. В Бестужеве-писателе постоянно ощущается пристальный взгляд наблюдательного ученого, в историографе декабристского движения — писатель, умевший сочетать стремление к максимальной точности в изображении подлинных событий с выражением собственной их оценки.

¹ Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931, с. 108.

² Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1974, с. 191—192.

Александр Бестужев в зените своей славы Марлипского восклицал с горечью: «Но ты, Николай, для чего потерял ты для нашей словесности!»¹ Сибирским «заключенникам» запрещено было писать и тем более печататься. Но литературная жизнь декабристов и в каземате и потом на поселении не была прервана. Не прерывал ее и Николай Бестужев. Однако видеть свои произведения в печати ему уже не удалось. Сборник его очерков и повестей появился только в 1860 году, после смерти писателя.

В день 14 декабря фамилия Бестужевых как «главных зачинщиков бунта» разнеслась по столице прежде, чем стали известны имена Рылеева, Пестеля, Каховского. По городу пошло чье-то острое слово, что во всех беспорядках в России всегда замешаны Бестужевы². «Нас было пять братьев и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря»³, — писал позднее Михаил Бестужев. Старшим из пяти был Николай.

Родился Н. Бестужев в 1791 году, в семье известного просветителя Александра Федосеевича Бестужева, «радищевца», друга и соратника И. П. Пнина, вместе с которым он издавал «Санкт-Петербургский журнал», орган радикальной политической мысли. А. Ф. Бестужеву принадлежит трактат «О военном воспитании», где он выступает против сословных привилегий, выдвигая единственной мерой значения человека в обществе его личные достоинства, сознание им своих обязанностей перед обществом. Прекрасный педагог, он сумел внушить свои идеи в собственной семье — прежде всего старшему сыну Николаю. А когда в 1810 году А. Ф. Бестужев умер и на старшего сына пала ответственность за воспитание младших, Николай сумел стать для них и наставником и идеалом человека и гражданина. Воспоминания Елены и Михаила, письма Александра Бестужевых свидетельствуют о безграничной любви к старшему брату и о его нравственном влиянии на всех членов семьи.

Николай Бестужев готовился стать моряком. Окончив в 1809 году кадетский корпус и пробыв в нем несколько лет воспитателем, он перешел на службу во флот, в 1815, 1817 и 1824 годах плавал в Голландию, Францию и Испанию, с 1819 года состоял помощником директора Балтийских маяков. В 1823 году он становится начальником Морского музея, занимается историей русского флота.

В Северное общество Н. Бестужев был принят Рылеевым в 1824 году, а с 1825 года он уже входит в думу общества. Принадлежит к наиболее революционно настроенной группе «северян», которые, подобно Пестелю, настаивали на расширении прав народного предста-

¹ Русский вестник, 1870, кн. VII, с. 48.

² Памяти декабристов, т. 1. Л., 1926, с. 242.

³ Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 1, с. 49.

вительства и на освобождении крестьян с землею, он вместе с братом Александром был одним из главных помощников Рыльева накануне восстания. 14 декабря Бестужев привел на площадь Морской гвардейский экипаж, хотя уже несколько лет состоял при Адмиралтейском департаменте и к практической морской службе отношения не имел. Он был одним из немногих декабристов, проявивших стойкость во время следствия: очень сдержанно отвечал на вопросы, признавая только то, что было известно Следственному комитету, умалчивая о делах тайного общества и почти не называя фамилий. О смелости ответов его на допросах вспоминают многие мемуаристы. И. Д. Якушкин писал: «В глазах высочайшей власти главная виновность Николая Бестужева состояла в том, что он очень смело говорил перед членами комиссии и очень смело действовал, когда его привели во дворец»¹. На допросах он сжато изобразил тяжелое состояние России. Уже в первом показании он сообщает: «Видя расстройство финансов, упадок торговли и доверенности купечества, совершенную ничтожность способов наших в земледелии, а более всего беззаконность судов, приводило сердца наши в трепет»².

Передают слова Николая I после первого допроса, что Николай Бестужев — умнейший человек среди заговорщиков. Титулом «умнейшего человека» через полтора года царь наградит и Пушкина, и обоим «умнейшим» он будет стоить дорого — Пушкин окажется под тайным надзором, а Н. Бестужев будет осужден особенно строго. Именно поведение его на допросах, по-видимому, повлияло на решение суда. В «Списке лиц, кои по делу о тайных злоумышленных обществах предаются по высочайшему повелению Верховному уголовному суду», все осужденные были разделены на одиннадцать разрядов и одну внеградную группу. Николай Бестужев был отнесен ко II разряду, хотя материалы следствия не давали основания для столь высокого «чина». Очевидно, судьи понимали действительную роль и значение старшего Бестужева в Северном обществе. «Второразрядники» осуждались Верховным уголовным судом к политической смерти, то есть «положить голову на плаху, а потом сослать вечно в каторжную работу».

Николай I внес в приговор ряд «видоизменений и смягчений» перемещением «преступников» из одного разряда в другой. Осужденным по второму и третьему разрядам вечная каторга заменялась двадцатилетней с лишением чинов и дворянства и последующей ссылкой на поселение. По случаю коронации Николая I срок каторги для второго разряда был снижен до 15 лет. Манифестом 1829 года он был снова уменьшен — до 10 лет, однако Николая и Михаила

¹ Якушкин И. Д. Записки. 2-е изд. М., 1905, с. 192.

² Восстание декабристов, т. II. М.—Л., 1926, с. 60.

Бестужевых это снижение не коснулось, и они вышли на поселение только в июле 1839 года.

Рылеев перед восстанием назвал Михаила Бестужева «человеком дела». «Человеком дела» был и Николай Бестужев. «Людьми дела» братья Бестужевы остаются и в ссылке. В казематах Петровского завода Н. Бестужев пишет мемуары и повести, в которых пытается осмыслить уроки восстания. На поселении трудами братьев Бестужевых было положено основание историко-этнографического и естественно-научного познания и описания Сибири, они участвуют в просвещении местного населения, учат крестьянских ребят в Селенгинске, как бы памятуя завет Пестеля, писавшего о народах Сибири: «Да сделаются они нашими братьями и перестанут коснеть в жалостном их положении».

До декабрьского восстания Н. Бестужев активно участвовал в литературной жизни. Он писал романтические повести, путевые очерки («путешествия»), басни, стихотворения, в журналах появлялись его переводы — из Т. Мура, Байрона, Вальтер Скотта, Вашингтона Ирвинга, печатались научные статьи — по истории, физике, математике. Многие из его рукописей после разгрома восстания были уничтожены, но и напечатанного довольно, чтобы судить о высоком мастерстве и профессионализме во всех вопросах, которых он касался.

Все творчество Николая Бестужева органически связано с декабристским движением. Декабристская идеология распространялась в обществе через литературу. «Мнение правит миром», — утверждала передовая просветительская философия XVIII века. Воспитанники этой философии, декабристы верили в силу разума и считали необходимым и возможным воздействовать на «общее мнение». Связь политических идей с современной литературой сформулировал Александр Бестужев: «Воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов, и под политической печатью словесность кружится в обществе»¹.

Особое внимание уделял литературе «Союз благоденствия» (1818—1821). Литературным центром «Союза благоденствия» (а затем Северного общества) было Вольное общество любителей российской словесности — литературный плацдарм декабристов, сыгравший значительную роль в подготовке декабристских кадров. В 1821 году Вольное общество приняло на себя функции распущенного «Союза благоденствия» по отрасли просвещения. Именно в 1821 году Николай Бестужев входит в число членов общества и вскоре занимает в нем заметное место: с 1822 года он — член цензурного комитета (редакционной коллегии, по современным представлениям); в 1825 году — цензор прозы, то есть главный редактор всех прозаических произведе-

¹ «Полярная звезда» на 1823 год. Спб., 1824, с. 1—2.

дений; одновременно его избирают кандидатом в помощники президента (президентом общества был Ф. Н. Глинка).

Литературная деятельность Н. Бестужева тесно связана с Вольным обществом — он неоднократно выступает в заседаниях с чтением своих литературных и исторических работ, его труды печатаются главным образом в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» — официальном органе Вольного общества.

Литературная программа общества уделяла особое внимание «описанию земель и нравов». «Соревнователь просвещения...» в 1818 году (№ 10) сообщал о своем намерении иметь среди прочих следующие разделы: «Описание земель и народов. Исторические отрывки и биографии знаменитых мужей. Ученые путешествия. Все любопытное по части наук и художеств».

Первые литературные опыты Н. Бестужева включают три раздела этой программы — путешествия, описание земель и народов, историю и «все любопытное по части наук и художеств». Его «путешествия» по внешней форме — типичные «путевые очерки», обычные для того времени «отчеты» путешественников о виденном в чужих странах, столь распространенные в литературе сентиментализма.

Под пером декабристов традиционный жанр «путешествий» переосмыслился. Сентиментальные путешественники, по словам А. Бестужева, «вздыхали до обморока» и «роняли слезы на ландыше». Декабристы используют путешествие с целью изучения «великих деяний» народов, народной славы. Вместо праздного собирателя впечатлений в декабристской литературе «путешествий» появляется думающий, передовой человек своей эпохи, соединяющий в себе писателя и публициста.

Путешественник Бестужев — внимательный и вдумчивый наблюдатель социально-политической жизни и быта западноевропейских стран. Заграничные поездки были для него поучительным уроком, сыграли значительную роль в развитии его общественно-политического сознания. В показаниях Следственному комитету он писал: «Бытность моя в Голландии 1815 года, в продолжении пяти месяцев, когда там установилось конституционное правление, дала мне первое понятие о пользе законов и прав гражданских. После того двукратное посещение Франции, вояж в Англию и Испанию утвердили сей образ мыслей»¹.

Бестужев пристально вглядывается в жизнь незнакомой страны, его интересует все — образ жизни и быт, архитектура и одежда, промыслы и ремесла, народные увеселения и музеи. В просветительских трактатах Голландия традиционно служила примером трудолюбия. «В самом деле, — писал Рейналь, — не должно ли ожидать патриотических чувствований от такого народа, который может сказать себе:

¹ Восстание декабристов, т. I, с. 430; т. II, с. 64.

я сделал плодоносною сию, мною обитаемую землю. Я украсил, образовал ее! Волны сего грозного моря, которое покрывало поля наши, сокрушаются о преграды, мною поставленные...»¹ Трудолюбие голландцев с их «патриотическими чувствами» сближает и Н. Бестужев. Его внимание привлекает «деятельная» жизнь голландцев, их усилия «победить природу». В грандиозных плотинах, в отвоеванной у моря земле он видит вещественное выражение общественной деятельности свободных людей.

Впервые столкнувшись с республиканским образом правления, он уделяет ему особое внимание. Экскурс в историю Голландии, взгляд на ее современное экономическое и политическое состояние — все подчинено одной сквозной мысли: только при республиканском строе может страна процветать. Голландцы, по его словам, «показали свету, к чему способно человечество и до какой степени может вознестися дух людей свободных». Эпитеты, которые сопутствуют слову «республика» («свободная», «гордая»), свидетельствуют о глубоком и заинтересованном сочувствии к представительному образу правления. Представление о конституционном строе стало для него живым и конкретным. За текстом рассказа о процветающей республике в сознании Бестужева стояла крепостническая Россия с ее бесправным населением, деспотическими начальниками, палочным режимом в армии. Проповедь незыблемости законов и права народа на управление своей страной объективно направлялась против российского самодержавия.

Другой путевой очерк «Гибралтар» написан в пору, когда по всей Европе прокатилась волна революционных движений, а сам Бестужев, уже член тайного общества, готовился к свершению революции в России. Авторская позиция «путешественника» определена в начале очерка. Он предупреждает читателя, что на этот раз тот не найдет в его очерке подробных описаний быта и образа жизни этого городка-крепости: «Не хочу входить в подробности, что за городом есть сад, где стоит несколько бюстов, напоминающих англичанам великих людей и их деяния; что в городе есть две библиотеки, одна для гарнизона, другая для купечества; что есть плохой театр, где изрядные певицы, приехавшие из Лиссабона, сердятся вместе со слушателями на дурную музыку; не стану говорить о том, что на этом голем камне местами, в ущелинах есть садики и деревья; что жители воду пьют дождевую, а свежую привозят туда на ослах из Испании, что говядину им продает по контракту мароккский владелец — все это вещь обыкновенная...»

Центральное место в очерке занимает борьба испанских инсур-

¹ Рейналь Г.-Т. Философическая и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях, ч. I. Спб., 1810, с. 285.

гентов за независимость, протекающая за стенами города. Очерк наполнен приметами народного возмущения: «смятение» в городе, «песни вольности», расстрел инсургентов, наконец, участь укрывшихся в Гибралтаре испанских конституционных министров — все это изображено с горячим сочувствием к республиканцам. «Записки о Голландии» были демонстрацией тех возможностей, которые несет стране республиканский строй. В «Гибралтаре» Бестужев выводит образы уже не былых борцов за свободу, а революционеров-современников. В сознание современников вводится романтическая фигура борца за свободу и клеймится политическое предательство.

Особое место в творчестве Н. Бестужева занимает морская тема. Не случайно посмертный сборник его избранных сочинений называется «Рассказы и повести старого моряка». Не только сам Н. Бестужев был моряком и историографом русского флота, но вся семья Бестужевых была по преимуществу связана с морем. Флотским офицером (до отставки после ранения) был отец А. Ф. Бестужев, во флоте служил брат Петр, моряком (до перехода в гвардию) был и Михаил. Причастность к флоту несомненно способствовала формированию революционных настроений в семье Бестужевых.

Гибельная картина постепенного упадка и разложения русского флота в «Александрову пору», которую историки флота считают «самой мрачной эпохой в его истории»¹, оскорбляла патристические чувства и вела мыслящих офицеров к необходимости изменить порядок вещей, то есть к необходимости изменения существующего строя. Вот как рассказывает о своем вступлении в тайное общество Михаил Бестужев: «Видя воочию совершавшееся разрушение нашего флота под управлением французского министра (маркиза де Траверсе), а потом немецкого (Антоня Васильевича Моллера) и будучи лично оскорблен вопиющею несправедливостью в деле проекта К. П. Торсона о преобразовании флота, я невольно проникся чувством омерзения к морской службе и, заглушив мою страсть к морю, искал случая сокрыть свою голову где бы то ни было. Брат Александр <...> предложил мне перейти на службу в гвардию, объяснив мне, что мое присутствие в полках гвардии, может быть, будет полезно для нашего дела — я согласился»². В тайном обществе было много моряков, в том числе выдающихся морских офицеров, составлявших, по выражению Д. И. Завалишина, «лучшую надежду русского флота». Это и Бестужевы, и их друг Торсон, сам Завалишин, Михаил Кюхельбекер, братья Беляевы и др.

В очерке «Об удовольствиях на море» Бестужев погружает читателя в атмосферу единомыслия и единодушия, которая царит в офи-

¹ Каллистов Н. Флот в царствование имп. Александра I.— В кн.: История русской армии и флота, т. IX. Спб., 1913, с. 67.

² Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 1, с. 56.

перской среде на корабле: «Воспитанные в одном месте, как бы дети одной матери, с ...одинаким образом мыслей, общество офицеров морской службы отличается тою дружескою связью, тем чистосердечным прямодушием, каких не могут представить другие общества, составленные из людей, с разных сторон пришедших».

Морская жизнь, преисполненная опасностей, когда жизнь каждого и всех может зависеть от действий и поступков одного и всех вместе, представлена как идеальные условия для воспитания характера и чувств вступающего в жизнь человека. На море человек привыкает видеть опасность «без боязни и хладнокровно», с первых шагов он становится причастным к «соревнованию службы и товарищества». «Соревнование службы и товарищества» привело впоследствии Морской гвардейский экипаж на Сенатскую площадь.

Человек перед лицом стихии — основная коллизия морских повестей и очерков Бестужева. Его повествования о событиях на море, будь то романтическая повесть («Путешествие на катере», 1831), описание истинного происшествия («Известие о разбившемся российском бриге Фальке...») или лирический монолог влюбленного в море романтика («Толбухинский маяк») — обязательно включают описание бури. В экстремальных условиях проверяются деловые и нравственные качества человека, проходит его испытание на выносливость, находчивость, бесстрашие. Бриг «Фальк» терпит крушение из-за профессиональной непригодности одного из членов экипажа. Герой «Толбухинского маяка» выходит победителем из схватки с морской стихией потому, что его «твердая рука управляет кормилом» и «искусство избегает ударов и предохраняет от потопления». Но и в самой смерти моряков на бриге «Фальк» Бестужев подчеркивает высокие нравственные качества моряков. Один из двух оставшихся в живых членов экипажа был спасен матросами, которые, замерзая, накрыли его своими телами.

Убежденность в доверии солдат и матросов, в их самоотверженности и способности к самопожертвованию утвердила будущих декабристов в возможности свершения военной революции. А. И. Арбузов показывал на следствии, что был уверен в возможности поднять Морской экипаж, потому что знал «любовь и доверенность» к себе матросов¹.

После роковой даты 14 декабря декабризм не прекратил свое существование как общественно-литературное движение. На каторге и на поселении писатели-декабристы продолжают разрабатывать замыслы, которые до восстания были отодвинуты текущей службой и революционной деятельностью. В Сибири начался новый этап и в творчестве Н. Бестужева.

¹ См.: Нечкина М. В. Восстание декабристов, т. II, М., 1955, с. 304.

Здесь были задуманы и частично написаны воспоминания о 14 декабря, ряд художественных произведений, также вызванных к жизни трагическими событиями восстания. И мемуарная проза, и психологическая повесть, по сути дела, раскрывают одну тему — пути, которые вели участников восстания на площадь, а затем в «каторжные норы» — их мировоззрение, их чаяния и надежды. Мы не знаем хронологической последовательности, в которой «Рассказы и повести старого моряка» (та их часть, которая была написана в Сибири) выходили из-под пера Бестужева, но через все его сибирское творчество можно провести единую сюжетно-психологическую линию — этические принципы и мировоззрение передового человека своего времени, путь нравственного и социального становления личности будущего декабриста, его мироощущение в период подготовки революции и в самый момент восстания.

В своей прозе Н. Бестужев пытался осмыслить, обобщить уроки восстания. Прежде всего это относится к мемуарам. Мемуары декабристов донесли до нас их революционную программу, свежесть переживаний и настроений, с которыми их авторы готовились к революционным действиям, донесли бытовые детали, слова, живые диалоги, реплики. Мемуарная проза Н. А. Бестужева, имевшего острый и точный глаз живописца, особенно примечательна. Его широко известные «Воспоминания о Рылееве» и коротенький отрывок «14 декабря 1825 года» мыслились им как часть более обширных воспоминаний о декабрьских событиях. Замысел остался незаконченным — об этом мы знаем из воспоминаний Михаила Бестужева, об этом с тоской говорил и сам Николай Бестужев перед смертью.

Воспоминания Николая Бестужева равным образом принадлежат прозе мемуарной и художественной, в ней, как позднее в «Былом и думах» А. И. Герцена, действительно бывшее соединяется с художественным обобщением. М. К. Азадовский писал, что в «Воспоминаниях о Рылееве» образ руководителя Северного общества показан через призму романтической повести. Бестужев развертывает повествование «в речах и диалогах, пересыпая литературными цитатами, портретными зарисовками, жанровыми сценами, сопровождая эпиграфом»¹. Образ революционера-трибуна подается в романтической стилизованной окраске — он восторжен и чувствителен, глаза его «сверкают», «лицо горит» и он «рыдает» и т. д., хотя мы знаем, что Рылеев был крайне сдержан накануне восстания.

«Воспоминания о Рылееве» завершают заложенные в программе Союза благоденствия «биографии великих мужей», доводя эти биографии до 14 декабря 1825 года.

¹ Воспоминания Бестужевых/Ред., статья и коммент, М. К. Азадовского. М.—Л., 1951, с. 618.

Отрывок, условно названный «14 декабря 1825 года», в такой же степени сочетает автобиографические и беллетристические элементы, как и жизнеописание Рылеева (как и повесть «Шлиссельбургская станция»). Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить рассказ Бестужева о его пребывании в доме неизвестного благодетеля 14 декабря 1825 года с версией этого же эпизода в мемуарах Михаила Бестужева. По версии Михаила Бестужева, брата укрывают единомышленники — отец и два сына. Николай Бестужев вводит в свой рассказ конфликтную ситуацию: отец сочувствует «делу» на площади, сын — усердный слуга нового императора. Реальный факт (убежище в незнакомом доме) дополняется характерной для дня 14 декабря ситуацией, когда перед каждым гражданином стала проблема выбора, когда общество распалось на два лагеря: сочувствующих и ненавидящих. Биографический факт получает, таким образом, силу художественного обобщения.

В своей мемуарной прозе Н. Бестужев, сохраняя автобиографическую основу, затушевывает подлинные лица и события литературными деталями, вымыслом. В автобиографической повести вымышленное повествование отражает его собственные переживания. Но творчество Бестужева не является пассивной регистрацией его жизненных коллизий. Он создает обобщающий образ декабристского положительного героя. «Шлиссельбургскую станцию», как и другие повести Бестужева, написанные в тюрьмах и на поселении, можно назвать автобиографической декабристской повестью.

«Шлиссельбургская станция» имеет подзаголовок «истинное происшествие». Связанность с некоторыми личными моментами нарочито подчеркнута в изложении (упоминание о своем семействе, о морской службе, об очерке «Об удовольствиях на море» и т. д.). Поэтому на первый взгляд Н. Бестужев касается частного случая — отвечает на вопрос «дам» (жен декабристов), почему он остался холостяком (о происхождении замысла повести существует свидетельство Михаила Бестужева). Незадолго до восстания на этот же сюжет Бестужевым был написан рассказ «Трактирная лестница». И «Трактирная лестница» и «Шлиссельбургская станция» навеяны отношениями с женщиной, любовь к которой Н. Бестужев пронес через всю жизнь.

Оба рассказа имеют одну и ту же автобиографическую основу, в обоих высвечивается талант Бестужева — мастера психологической повести, но одна и та же коллизия призвана раскрывать различные социальные характеры.

В «Трактирной лестнице» глубоко и тонко передаются переживания человека, который любил в молодости женщину, бывшую чужой женой, и который из-за этого в старости остался без собственной семьи. Бестужев углубляется в психологию человека, преданного своей единственной любви и пожертвовавшего для нее счастьем.

В «Шлиссельбургской станции» его собственная судьба сливается с судьбой его политических единомышленников. Сюжет отказа от личного счастья служит теперь для выражения сурового самоотречения человека, избравшего путь профессионального революционера. Это моральное credo декабриста четко выражено в самом эпиграфе к повести:

«Одна голова не бедна,
А и бедна — так одна».

Человек, восставший на самодержавие, жертвует своей свободой и потому не имеет морального права обрекать на страдание любимую женщину, которую ожидает разлука с мужем, отцом ее детей. Проблема личного счастья революционера не была выражением мнения одного Бестужева, не была им придумана. Ее ставила перед членами тайного общества сама жизнь, она была подкреплена реальными примерами. Известно, что некоторые члены ранних тайных обществ (М. Ф. Орлов, П. И. Колошин, В. П. Зубков, И. Н. Горсткин) связывали свой отказ от дальнейшей революционной деятельности с женитьбой и семейной жизнью. Е. Оболенский показывал на следствии, что «все члены сии женаты, а потому принадлежат обществу единственно по прежним связям»¹. Самый пример жен декабристов, последовавших в Сибирь за мужьями, их героическая, но полная лишений жизнь утверждали Бестужева в правильности его ответа на поставленный вопрос.

Над ним задумывались и русские революционеры следующего поколения. Исследователь справедливо отмечает, что Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?», написанном в Петропавловской крепости, «поставил ту же самую проблему («мне надобно отказаться от всякого счастья») в связи с характеристикой социально-психологического облика «особенного человека» Рахметова².

Маленький рассказ «Похороны» вводит в серию рассказов Бестужева о современниках мотив несостоявшегося декабриста. В рассказе звучит социально-обличительная тема. Человек, на похороны которого приходит повествователь, в юности не был чужд «благородных порывов». Это, переведенное в прозаический регистр, выражение из пушкинского послания «К Чаадаеву» свидетельствует, что покойный был не просто «другом детства» рассказчика, а до известной поры и единомышленником. «Но вскоре, — объясняет рассказчик, — различная участь наша, оставившая меня на той же ступени, где я стоял, и призвавшая его в круг большого света, разочаровала меня».

Покойный «друг» — антипод героя «Шлиссельбургской станции».

¹ Восстание декабристов, т. I, с. 240.

² См.: Б а з а н о в В. Г. Очерки декабристской литературы. Публицестика. Проза. Критика. М., Гослитиздат, 1953, с. 344.

Автобиографические детали заставляли угадывать в герое «Шлиссельбургской станции» самого Бестужева, с его дальнейшей судьбой человека и ссылки и который, пожертвовав личным счастьем, остался творческим «деятелем» и в «каторжных норах». «Друг» рассказчика был «окружен милым семейством, женою и детьми, посреди блестящего круга знакомых», но, по сути дела, он был живым мертвецом, потому что перестал быть самим собою. «Благородные порывы» исчезли, «развлечения и обязанности и все, что называется жизнью большого света», переменили его. «Простосердечная острота» уступила место «иронии, которой наружность носила на себе печать строжайшего приличия», а вместо «ясного и нелицеприятного изложения» появилось «двусмысленное мнение, от которого он готов был отпереться каждую минуту».

В «Похоронах» Бестужев — обличитель душевной пустоты и лицемерия «большого света, где приличие должно замечать все ощущения сердца и где наружный признак оных кладет печать смешного на каждого несчастливца, который будет столько слаб, что даст заметить свое внутреннее движение».

Рассказ «Похороны» написан в 1829 году, его можно признать «одним из первых — по времени — прозаических произведений, в которых обличаются фальшь и душевная пустота аристократических кругов»¹. В это время не были написаны еще антисветские повести В. Ф. Одоевского и Александра Бестужева. Не был написан и «Рославлев» Пушкина, где «светская чернь» показана с таким же публицистическим запалом, как и в рассказе Бестужева.

С размышлениями о судьбах и характерах поколения, вступившего в жизнь в канун Отечественной войны, связана и повесть «Русский в Париже 1814 года».

«Мы были дети 1812 года», — кратко и глубоко определил отношение декабристов к Отечественной войне 1812 года Матвей Муравьев. 1812 год стал поворотным моментом их политической жизни. Сам Н. Бестужев не был в Париже — его военная судьба сложилась иначе, и повесть построена на парижских впечатлениях товарищей по каторге, и в первую очередь Н. О. Лорера. Момент вхождения русских войск в столицу Франции, реалии, лица, происшествия, запомнившиеся Лореру народные сцены — все это передано Бестужевым с мемуарной точностью. Историк и очеркист проявились тут в полной мере. Герою повести Глинскому переданы и некоторые черты характера и биографии Лорера.

В Глинском мы видим апологетическое изображение передовой

¹ Зильберштейн И. С. Рассказ Николая Бестужева «Похороны» (1829). — В кн.: Литературное наследство, т. 60, кн. 1, М., 1956, с. 180.

русской интеллигенции, из рядов которой образовался основной костяк деятелей гайнских обществ. Он умен, образован, покоряет душевным благородством и запасом чистых нравственных сил.

В центре сюжета любовные переживания Глинского и молодой француженки графини де Серваль. С большим знанием человеческой души Бестужев проводит своих героев через многочисленные препятствия: здесь и психологический барьер, разделяющий две нации — победителей и побежденных, и неловкие обстоятельства, в которые попадает Глинский в незнакомой стране, и недавнее вдовство графини, ее желание сохранить верность погибшему на войне мужу, и ее невольное соперничество с кузиной, и взаимная неуверенность влюбленных в чувствах друг друга.

Стремление раскрыть тончайшие нюансы любовных и нравственных колебаний героев, их внутренних притяжений и отталкиваний приводит к некоторым длиннотам в повествовании, а образ Глинского на первый взгляд кажется излишне идеализированным. Но разве не были будущие декабристы наделены всеми теми качествами, которыми обладает герой повести? Разве не были присущи эти качества самому Николаю Бестужеву? Герцен называл декабристов «богатырями, кованными из чистой стали с головы до ног».

Бестужев сочувствует переживаниям героя, оправдывает поведение героини и приводит роман влюбленных к благополучному концу, потому что их связывают простые, искренние человеческие чувства. Воззрения Бестужева на любовь и отношения между женщиной и мужчиной определились в юности. Среди его бумаг сохранилась тетрадка под заглавием «Естественное право», которую он вел в 1814 году. Одна глава специально посвящена проблеме брака и взаимоотношениям мужчины и женщины. Бестужев требовал от мужа и жены «взаимной чистоты одного к другому» и отвергал браки «не по любви», а «по соглашению». Браки «по соглашению» или «по расчету» он называл «привилегированным распутством»¹.

Патриотическая тенденция повести подчеркнута заглавием «Русский в Париже 1814 года». Оно как бы напоминает, что момент вхождения русской армии в Париж — кульминация российского патриотизма. Кроме того, Глинский всем своим поведением призван показать истинное лицо русского человека и тем самым разуверить «в предрассудках, которое вообще все французы имели против русских».

¹ См. коммент. М. Н. Азадовского в кн.: Воспоминания Бестужевых, с. 766—767. Отметим, что в образе графини де Серваль угадывается Мария Волконская. Выданная 18 лет за человека много ее старше, она «полюбила его в замужестве», а затем «уважение и принятие правил мужа было следствием энтузиазма, возбужденного благородством его души и характера».

Основная сюжетная коллизия повести — душевная близость русского офицера, героя 1812 года, и вдовы врага России, французского полковника — дает некоторые основания для воссоздания обстоятельств, определивших возникновение замысла и развитие сюжета. Повесть писалась в Петровском заводе (то есть не ранее 1831 года). В том же 1831 году вышел роман М. Н. Загоскина «Рославлев». Здесь мы находим ситуацию, зеркально повторяющую основную сюжетную линию повести Бестужева. Невеста русского офицера Рославлева Полина любит французского офицера графа Сенекура, с которым познакомилась в Париже еще до войны. Когда Сенекур попадает в плен, Полина выходит за него замуж и следует за мужем после того, как французские войска освобождают его из плена. Сенекур погибает; покинутая всеми Полина также гибнет на чужбине.

Героиня Загоскина — слабая, лишенная чувства патриотизма женщина. Ее любовь к Сенекуру подается в романе как измена родине, а гибель — как заслуженная кара за вероломство. Она окружена всеобщим презрением, французы отвергают ее, она лишается даже любви мужа. «Да, сударыня, — говорит он ей. — Мы погибли. Русские торжествуют, но извините! Я имел глупость забыть на минуту, что вы русская»¹.

Роман Загоскина был стимулом для полемической повести Пушкина «Рославлев». Подъем национального самосознания в дни Отечественной войны предстает у Загоскина в казенно-патриотическом освещении. Это и побудило Пушкина дать свой вариант сюжета. Повесть Пушкин не закончил, но уже в начале ее он повторяет основной сюжетный ход романа Загоскина, сближая Полину с Сенекуром. Это сближение не мешает героине оставаться подлинной патриоткой. В Сенекуре ее привлекает «знание дела и беспристрастие» — то есть ум и человеческое достоинство. Каждый из них — патриот своего отечества, и истинный патриотизм француза пушкинская Полина ценит выше ложного, квасного патриотизма русских бар. Реакционному патриотизму Загоскина Пушкин противопоставил свой широкий и подлинно демократический патриотизм.

Не исключено, что повесть Бестужева, как и пушкинский «Рославлев», была своеобразной полемикой с Загоскиным. Декабристы получали из России все литературные новинки, и нашумевший роман об Отечественной войне не мог их обойти.

Бестужев ставит рядом с Глинским не просто француженку, но просто светскую даму, для которой поражение Наполеона и реставрация монархии могли быть событиями желанными. Графиня де Серваль — вдова адъютанта Наполеона, бонапартиста, вполне разделяющая убеждения своего мужа. Люди «света» с восторгом встречают

¹ Загоскин М. Н. Рославлев, или Русские в 1812 году. М., 1959, с. 351.

союзников и всячески выказывают преданность императору Александру. Графиня же перед приходом союзных войск покидает Париж и негодует, когда с Вандомской колонны стаскивают статую Наполеона.

Она не произносит патриотических тирад, как пушкинская Полина, не декларирует своих мнений, но ее память о муже, участие к раненому солдату, который служил под его началом, отчужденность от светских бесед — все показывает незаурядную натуру, достойную жену храброго полковника.

Ее духовный облик, чистота и нравственная красота раскрываются и через образ преданного ей Дюбуа. Нравственный поединок между ним и Глинским особенно значителен в повести. Любовная коллизия несомненно затрудняла решение проблемы патриотизма, а именно эта проблема выделена как основная уже в заглавии повести. Образ Дюбуа и призван раскрыть, что же понимает Бестужев под истинным патриотизмом. И здесь мы находим точки соприкосновения в повестях Бестужева и Пушкина. Пушкин иронически пишет о космополитах и поклонниках всего французского, которые с началом войны высыпали из табакерок французский табак, сожгли по десятку французских брошюр, заменили лафит кислыми щами и «закалялись говорить по-французски». «Большому свету» в России Пушкин противопоставляет Полину; «большому свету» в Париже Бестужев противопоставляет Дюбуа. Парижская знать с радостью встречает приход союзников в надежде на возвращение Бурбонов — Дюбуа встречает союзные войска не поклонами, а с оружием в руках. Он не скрывает своего нежелания общаться с победителями, но ему присуще рыцарское уважение к достойному противнику, и в Глинском его покоряет не только ум и обаяние, но и такое же умение ценить неустранимость и воинские доблести в своих неприятелях.

Дюбуа не скрывает от Глинского своих убеждений, и именно это вызывает ответную симпатию собеседника. Из текста романа ясно, что Дюбуа примет участие в знаменитых «Ста днях» Наполеона, и француз-бонапартист приближает к разгадке своей тайны полюбившегося ему русского офицера. «Со временем вам не нужно будет объяснений», — говорит он Глинскому на вопрос о «своей тайне».

В образах Дюбуа и Глинского Бестужев сталкивает двух истинных патриотов родины, и между этими патриотами — врагами на поле боя — больше духовной близости, чем между каждым из них и людьми «большого общества», как в России, так и во Франции. Так еще раз в творчестве Бестужева появляется антисветская тема.

Конечно, Бестужев не мог знать о замысле Пушкина. Первый отрывок из повести Пушкина появился только в № 3 журнала «Современник» за 1836 год, когда работа над «Русским в Париже» была в основном закончена, но совпадение общих тенденций этих повестей

знаменательно — оно еще раз демонстрирует, как одни и те же мысли владели первым поэтом России и его «друзьями, братьями, товарищами» в «каторжных норах». Знаменательно и то, что обе повести писались в 1831 году, когда не утихло еще польское восстание и когда казалось, что Россия стоит перед опасностью новой военной угрозы с Запада.

«Русский в Париже 1814 года» — одно из последних дошедших до нас художественных произведений Н. Бестужева. В Сибири им была написана большая краеведческая статья «Гусиное озеро» — первое естественнонаучное и этнографическое описание Бурятии, ее хозяйства и экономики, фауны и флоры, народных обычаев и обрядов. В этом очерке вновь сказались многосторонняя одаренность Бестужева — беллетриста, этнографа и экономиста.

Многие из своих замыслов Бестужев не смог и не успел осуществить, некоторые его художественные произведения были навсегда утрачены во время обысков, которым периодически подвергались ссыльные декабристы. Но и в дошедшем до нас его литературном наследии мы видим талантливого писателя, оставившего в своих очерках, повестях и рассказах образ передового человека своего времени, раскрытого с психологической глубиной и точностью. Н. Бестужева можно поставить в ряд зачинателей психологического метода в русской литературе. Анализ сложных нравственных коллизий в их связи с долгом человека перед обществом обнаруживает генетическую связь его рассказов и повестей с творчеством А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толстого.

Умер Николай Александрович Бестужев в 1855 году в тяжелые для России дни Севастопольской обороны.

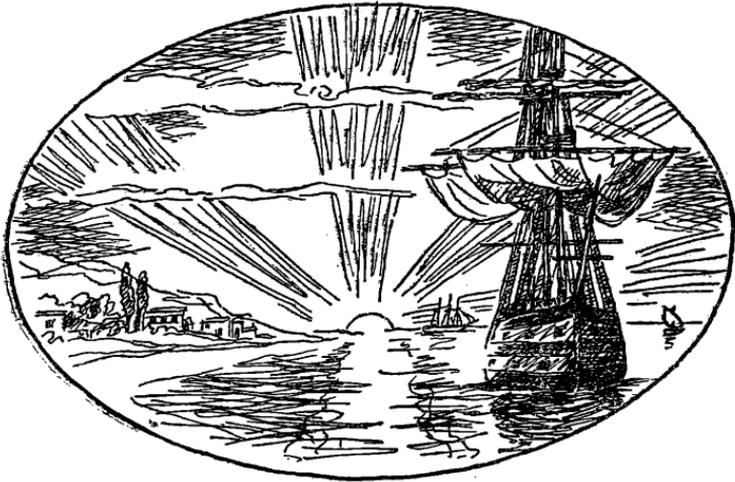
Михаил Бестужев вспоминал: «Успехи и неудачи севастопольской осады его интересовали в высочайшей степени. В продолжении семнадцати долгих ночей его предсмертных страданий я сам, истомленный усталостью, едва понимая, что он мне говорил почти в бреду, — должен был употреблять все свои силы, чтобы успокоить его касательно бедной погибающей России. В промежутки страшной борьбы его железной, крепкой натуры со смертью он меня спрашивал:

— Скажи, нет ли чего утешительного?»¹

Так до конца своих дней Николай Бестужев оставался гражданином и патриотом. Высокий нравственный строй личности писателя-декабриста проходит и через все его творчество.

Янина ЛЕВКОВИЧ

¹ Воспоминания Бестужевых. с. 289.



ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ НА МОРЕ

ПИСЬМО К***

Пользуясь впечатлением, оставленным в вас последним посещением Кронштадта, я спешу отвечать на вопрос, сделанный вами прежде: почему я избрал себе скучный род морской службы. Я нарочно ожидал случая, чтобы доказательства мои были подкреплены собственным вашим убеждением; для меня довольно было, что вы видели военный корабль и восхищались его устройством. Вам понравилось все на этой плавающей машине; вы признались, что живое чувство неожиданно великого до сих пор наполняет еще ваши мысли приятным воспоминанием; — «Но опасности, — говорите вы, — но скука долгого плавания — вечное однообразие предметов; — молчанье страстей, красы нашей жизни, до сих пор еще не позволяет видеть в службе моряков ничего приятного!»

Послушайте меня — и если вы не согласитесь, что наша служба может быть приятна — по крайней мере, я лишний раз поговорю о ней с удовольствием.

Не стану говорить о том, судьба или наши наклонности заставляют избирать род службы; жребий мореходца делается в самой юности и в десять лет должно быть записану

в морской корпус. Надобно знать, что последние три года пред выпуском кадет посылают на кораблях в море для практики. Они, возвращаясь осенью из своих походов, рассказывают случившееся, описывают виденное — и юные слушатели, кипя от восторгов, с неизъяснимым чувством ожидают той счастливой минуты, когда успехи в науках и отличия в поведении доставит им случай самим видеть и испытать слышанное от товарищей. Таким образом, с молодых ногтей, еще не быв на море, они заранее с ним знакомы, питают и укрепляют сердце свое заблаговременными повествованиями и вместе с другими страстями их растет любовь к службе.

Первое прибытие на корабль довершает очарование, которое в сем случае идеалом своим уступает вещественности. И в самом деле, никто не вообразит того впечатления, которое производит огромный корабль, плавающий на воде, вооруженный громадою пушек в несколько этажей, снабженный мачтами, которые превосходят высочайшие деревья, перепутанный множеством веревок, из коих каждая имеет свое название и назначение, обвешанный парусами невидными, когда подобраны, и ужасными величиною, когда корабль взмахнет ими как крыльями и птицею полетит бороться с ветрами и волнами. Сотни людей наседают его; для юного сердца он кажется целым плавающим городом. — Настают бури; пучина разверзается; корабль стонет — неопытный юноша смотрит на выражение лиц начальников своих — видит спокойствие, и думает, что буре так быть надобно. Не понимая ужасов, бесечно любитесь борьбой стихий; они становятся предметом любопытства, и прежде нежели разум его постигнет меру опасности, он уже знакомится с нею, привыкает ее видеть без боязни и хладнокровно уже впоследствии встречает ее.

Таким образом, с самой юности, мореходец вменяет в ничто ужасы природы, и силою привычки он так же беззаботно пускается в море, как вы ложитесь в вашу постелю.

При таком спокойном расположении духа, — вы, конечно, поверите — можно найти удовольствие на море; но чтобы исчислить их, надобно бы описать всю нашу жизнь корабельную; не входя в подробности, я постараюсь начертать легкий ее абрис.

Не распространяюсь о том, что прежде выступления корабля в море, надобно вооружить и оснастить его, что это вооружение имеет свои приятности, потому что каждый, изготовляя корабль, заботится о нем столько же, как бы строил

себе дом, с тою только разностью, что соревнование службы и товарищества берут здесь сильное участие в самолюбии каждого. Казалось бы, что общая форма в вооружении всех кораблей должна быть одинакова: но со всем тем каждый корабль некоторым образом носит отпечаток вкуса и сведений того офицера, который его вооружает. Есть тонкости и в этом искусстве, неприметные глазу неопытному, но составляющие красоту форм вооружения, и в этих-то тонкостях заключаются удовольствия моряков, полагающих славу свою, надежды и безопасность на искусство, с которым приготавливают они корабли к походу.

С выступлением корабля на рейд каждый из офицеров заботится устроить маленькое свое жилище, в котором он располагается всем домом, — вы видели, что младшие живут внизу и днем зажигают там огонь, потому что их жилище под водою. Старшие помещены в так называемой каюте-компании или общественной, от которой парусная перегородка их отделяет; пушка стоит в каждой каюте, и при малейшем приговлении к сражению переборки поднимаются, каюты опрастываются и чистая батарея готова грянуть громом.

В этой-то каюте-компании собираются все служащие на корабле офицеры. Воспитанные в одном месте, как бы дети одной матери, с одинаковыми привычками, одинаким образом мыслей, общество офицеров морской службы отличается тою дружескою связью, тем чистосердечным прямодушием, каких не могут представить другие общества, составленные из людей, с разных сторон пришедших. Между сими людьми сердце каждого отдыхает от трудов, им повесенных, и деятельная жизнь корабельная дает полное право веселиться в минуты отдыха. Одни играют в карты, другие занимаются музыкою, иногда общая веселость уступает место вниманию при поучительных повествованиях. Рассуждения практические и тактические оживляют умы, искры противоречия освещают истину; но никогда не зажигают пламенника вражды и раздора. — Поверите ли вы, что от создания российского флота у нас между флотскими не было ни одной дуэли?

Конечно, человеку постороннему на корабле, а следовательно и праздному, жизнь наша покажется единообразна. Установленное для занятий время, положенные часы обеда, ужина и проч., число удовольствий ограниченное и самые удовольствия слишком простые, потому что заключаются не во внешних предметах, переменою своею ласкающих чувства прихотливых любимцев счастья, но в наших сердцах, в чувствованиях, не всегда и не всякому понятных. Например: как

изъяснить удовольствие сидеть за столом, где двадцать человек офицеров различных характеров и склонностей, но проникнутых каким-то общим духом, представляют семейственную картину и общими силами стремятся ко взаимному удовольствию. Живость характера одних в противоположности с флегмою других, радость надежд юности и воспоминания опытности, все это вместе действует на душу, принимающую участие в беседе тихим, но приятным образом. Конечно, математическая, точная жизнь наша делает и характер наш будто холодным и равнодушным, но поверьте мне, что человек, рожденный с пылким сердцем, силою привычки принимающий на себя равнодушие, не переменит своих чувствований, — только образ выражения их будет иной. Поверьте, что равнодушный человек не есть хладнокровный, и что между тем и другим такая же разница, как между текучею и стоячею водами, льдом покрытыми; наружный вид обеих одинаков, но одна промерзает до самого дна, другая не перестает течь и журчать под своим непроницаемым покровом. — Конечно, служба наша, требующая несмигаемого надзора за непостоянною стихиею — надзора, от которого зависит жизнь нескольких сот людей, внушая порядок в образе мыслей и поступков, не дает времени воображению подстрекать страстей наших: зато она сохраняет к случаю всю живость их и ощущение, ими производимое, неизъяснимо приятнее в наших сердцах, нежели в тех, которые, опустив узду страстей своих, несутся вскачь на поприще жизни и падают, не добежав меты. Не смотрите на скромный, иногда застенчивый вид мореходца, который делает его оригинальным и даже странным в обществе — ежели вы не судите людей по наружности, дайте ему руку и поговорите с ним. Ежели вы захотите блеснуть умом большого света — он будет отвечать здраво, но скажет мало, потому что ему редки были случаи развернуть свои дарования и сделать их блестящими в свете; но ежели разговор ваш пойдет от сердца, вы увидите человека рассудительного, который не бросится в ваши объятия с уверениями, но в продолжении времени поступками своими докажет, что недаром загорается огонь в глазах его при имени любви и дружбы. Не то железо горячо к ощущению, от которого брызжут искры, но то, которого поверхность уже темнеть начинает.

С таким расположением характера самые обязанности делаются для нас удовольствием, а это бывает очень редко. Оттого-то и удовольствия наши становятся уже не единообразны: ибо служба наша столько же имеет перемен, сколь не-

постоянно море со своими случаями; оттого-то мореходцы, разлученные со светом, с его обольщениями и веселостями, на краю гибели каждую минуту, отделенные от смерти одною доскою, умеют находить в самих себе источник радостей и привязываются к такой жизни, в которой другие видят одну только скуку. Душа человеческая всегда жаждет неизвестного; мысль наша всегда стремится вдаль; несытая, летит воображением в страны далекие — что же может быть приятнее, когда мореходец, удовлетворяя потребностям души своей, несетя по беспредельным морям и видит туго натянутые паруса, округляемые попутным ветром; когда в мечтании сидя на корме, чувствует ее содрогание от скорого хода, видит катящиеся сзади волны, от которых убегающий корабль приближает его к желанному берегу. Взоры его с удовольствием обращаются в ту страну горизонта, куда совет магнитной стрелки обратил его путь. Настают ли бури, поднимаются ли противные ветры, — его наслаждение увеличивается гордостью от победы над стихиями; не так ли обладание любимым предметом становится дороже от препятствий?..

Вам самим известны прелести воображения, известно и то, что надобно слишком быть знакомому с самим собою, слишком независиму от внешних впечатлений, чтобы наслаждаться мечтами и воспоминаниями. Это наше наслаждение — и в то время, когда другой мучается бездействием и отыскивает способы к новым удовольствиям, — мореходец, уединенный в своей каюте, при свече, которой пламень волнуется в ту и другую сторону сообразно колебанию корабля, окружает себя призраками своего воображения, переносится мысленно на родину, перебирает воспоминания и часто на походном висячем столике своем приводит мысли в порядок, в скромном журнале, который пишется не для публики, но для образования сердца и отчета собственных чувствований.

Конечно, часто море держит нас вдали от берегов целые недели и месяцы и нельзя чтоб грусть не закрадывалась в сердце, как вода пробирается в корабль, потому что на все есть мера: но во-первых, человек носит печаль и радость в собственном сердце и смотря по тому, спокойно ли оно, сам он грустит или веселится! Во-вторых, неужели вы не сочтете во что-нибудь дружбы, прелестной в самой рассеянности и драгоценнейшей в одиночестве; разделенные с людьми, имея редкий случай видеть их вблизи, мы любим их более, потому что мало знаем, и это чувство усиливается малочисленностью подобных себе творений, в корабле заключенных — дружбу можно уподобить свече, у которой чем ме-

нее круг освещения, тем сильнее светят ее лучи, тем ближе они к своему началу. Напротив, на большом пространстве лучи ее расходятся, слабеют, светятся, но не освещают. Сверх того, я похваляюсь, что дружба крепче между моряками, потому что у них друзья приобретаются в самой юности. Обманываются те, которые думают найти друзей в зрелых летах. Юноши, как воск, удобно принимают впечатления и склонности одного врезываются в другом; время утверждает мягкий состав души и в форму, образованную давним дружеством, не придется новое. Что же приятнее, когда после трудов, в теплой каюте, за чайным столиком, беседуя с другом, изливаешь ему сердце, рассчитываешь надежды и так обманываешь скуку, разделяя время между дружбой и службою. Конечно, для жизни совершенно приятной недостаточно одного дружества; человек не сотворен быть в сообществе одних мужчин,— и самой дружбе сгрустнется в отдалении от милых сердцу; но разве одиночество наше вечно? Разве откажете вы мореходцам в нежных чувствованиях, оживляющих сердце других человеков? Неужели вы думаете, что влажная стихия, по которой мы плаваем, может угасить страсти? Знаете ли, что кузнец нарочно прыщет водою на угли, чтоб увеличить жар их?.. Как часто ветрам морским вверяются вздохи, и на крыльях бури посылаются тайные обеты туда, где остались любезные наши!.. Какое обновленное ощущение несет каждый из нас после долгого плавания в свое отечество!

Это весьма естественно. Но что скажете вы, когда я, описывая удовольствия мореходца, думаю включить туда же самые бури и сражения? Конечно, ежели смотреть на то и на другое как на зло и судить по впечатлению, им производимому с первого взгляда, мое мнение покажется странно; но ежели, вооружась бесстрашием, приобретенным привычкою, хладнокровно смотреть на священные ужасы природы и чувствовать в душе своей силу противустать ее силе, тогда, поверьте мне, на все усилия ярящегося моря вы будете смотреть, как на картину, представленную для удовольствия особенного рода — не живого, но меланхолического. Есть какое-то тайное сочувствие природы с сердцем человека: чего он не боится, то уже ему нравится; есть в душе струны, которые по своенравию или по потребности отдаются как на эоловой арфе приятно при реве бурь и ветров,— и сколько ни грозят человеку гибелью бездны морей,— он только приобретает новую решительность, новые силы презирать опасности и не уважать смерть. Это презрение смерти — в самый час сражения, когда свистящие картечи и ядра рвут воздух и остав-

ляют за собою тысячи смертей и опустошение, когда со зверством человека соединяются самые стихии на пагубу, — тогда, говорю я, это высокое чувствование презрения смерти и вместе чувствование собственного достоинства, повелевающего всеми ужасами, изображает на спокойном лице мореходца гордую улыбку и наполняет душу каким-то тайным, неизъяснимым удовольствием. — Я не говорю уже о радостях победы, о упоении славы...

Не думайте однако же, чтобы все удовольствия наши были только воображаемые. Приходим ли мы к якорному месту, прелестные прогулки ожидают нас, хотим ли кататься, — свежий и ровный ветер вызывает охотников; легкие шлюпки с белыми парусами, с музыкой и песнями, рея по волнам и едва бороздя воду, гоняются одна за другою. Искусная рука управляет рулем, опытность распоряжает поворотами и ловкость оставляет других назади далеко. Здесь тоже соревнование, тоже удовольствие как на бегу, с тою разницею, что здесь искусство чаще одерживает победу, а там от достоинства лошади зависят все успехи. Хотите ли охотиться за дичиною на берегу? Идете с ружьем. Хотите ли ловить рыбу? Садитесь на борте корабля с удою и в чистой и прозрачной океанской воде видите на 10 и на 20 сажен, как резвая рыбка приближается к вероломному крючку; часто жадные камбалы хватаются одна за хвост другой, и вы до половины вытаскиваете вдруг две рыбы на уде. Редко крючок ваш закидывается понапрасну, а это не безделица для охотника.

Но есть еще удовольствия простейшие; мы знакомимся с береговыми жителями; настают праздники; мы веселимся от сердца, потому что балы нам не прискучили; — зовем новых своих друзей и к себе: корабль одушевляется и принимает новый вид. Я опишу вам один из наших праздников, данный на корабле у голландских берегов. На шканцах, т. е. на верхней палубе убираются пушки и растягивается палатка; борты украшаются флагами, зелеными ветвями и цветами, из которых вьязи, освещенные разноцветными огнями, изображают имена почетнейших наших гостей; в пушечных окошках стоят блестящие фонари; в углах подвешенные подносы отягощены закусками, плодами и прохладительными напитками; в каюте приготовлено угощение для мужчин. Музыка гремит; гости подъезжают на шлюпках к освещенному кораблю; по лестнице, покрытой коврами и увешанной флагами, они всходят и принимаются хозяевами; каждый выбирает занятие ему приятное: одни садятся за карточные столики, другие подходят к чашам, в которых ром, арак и другие на-

питки окружают синим пламенем тающие сахарные головы и распространяют благоухание в воздухе. Вино пенится и брызжется. Наконец начинаются танцы. Прохладный морской воздух освежает танцующих; каждому предоставлена свобода. Иной, утомясь от движения, идет на нос корабельный и пользуясь свежестью вечернего ветерка, безмолвно наслаждается красотой звездной ночи, моря, отражающего на верхушках легких волн блеск праздничных огней. Рассеянные чувства собираются; сердце его начинает волноваться тише, своеобразно колебанию струй, на которые он смотрит. Иногда легкая пара, ища отдыха, мелькнет подобно теням к неосвещенному корабельному борту, и во мраке облокотясь, смотрят на воду... на небо... и тщетно тяжелыми вздохами вбирают в себя прохладу — сердца их бьются сильнее, волнение чувств становится больше... и вдруг, новый посетитель мрака или стук часового прерывает их мечтания. — Порознь возвращаются они тихими шагами в шумное общество; взоры их встречаются чаще и руки в танцах расстаются не охотно...

Наконец все утомлены. Настает пора ужина. Гости, попарно с хозяевами, идут по всему кораблю из палубы в палубу, их желают занять, покуда накрывается стол — и показывают расположение корабельное, чистоту и порядок. Обошед таким образом по всему ярко освещенному кораблю, поднимаются опять наверх, где готовый стол ожидает гостей. Вы можете себе представить, что за столом присутствуют не придворный этикет и холодная учтивость, с выученными разговорами и приветствиями, но искренность людей добродушных, развязанная вниманием и поощряемая веселостью. — После ужина еще несколько легких вальсов заключают праздник и гости при звуках музыки и при повторениях громогласного ура разъезжаются на шлюбках.

Таковы наши забавы внутри корабля; но есть также приятные случаи, приходящие извне.

Хотите ли вы видеть, как встает солнце, нигде с таким великолепием не выходит оно, как на море. Представьте, что вы в должности с полночи до пятого часа утра, проходите Зундом и остановились на якоре против Гельзенера, у крепости Кронборга. Август месяц в начале; безлунная ночь темна, хотя звезды сияют во всем блеске. На корабле ударило три склянки или по-береговому половину второго часа, и мало-помалу на северо-востоке серый небосклон начинает становиться светлее. Вы начинаете различать предметы; становятся приметны крепость Кронборг, оба берега пролива, стоящие на рейде корабли; но тонкий туман как покрывало лежит на

спящих окрестностях. Ветер не шевелит флюгерами; море спит и будто дышит от колыхания легкой зыби, тихо идущей к северу. Показалась утренняя звезда; заря подвигается вправо по небосклону; туманы, понемногу поднимаясь, образуют сребристые облака и потом, будто волшебством, подобно брызгам растопленного золота, загораются они на востоке. Грянула зоревая пушка с брандвахты, и при грохоте ее отзвонков, солнце по светлому небу катится из-за мшистых камней Шведского берега. Ветерок дунул; море тронулось быстрее; нити дыма над городом потянулись к востоку; все проснулось навстречу царю светил небесных. Предметы, освещаемые мало-помалу, выходя как бы из воды, рисуются одни за другими, и великолепная картина живописного Зунда представляется глазам вашим. Налево гордый замок Кронберг возвышается на Датском берегу. Окопы с двойным рядом орудий блестят яркою зеленью. На ближнем бастионе ходит часовой — его нельзя различить, но виден отблеск лучей на светлом ружье, когда он поворачивается, расхаживая мерными шагами по валу. Подле красивый Гельзенер; высокий берег усеян садами, мельницами, веселыми и чистыми домиками. Назади высокий и ровный остров Твен, жилище и обсерватория славного Тихо Браге, перегораживает горизонт пролива. — Направо картина переменится: натура дика; серые угрюмые камни Швеции, изредка покрытые красноватым мхом и бедный Гельсинборх между ними, разительно противоположен смеющейся Дании. Расстояние не велико. Девятиверстный пролив разделяет их: но влеве роскошь природы, направо — печать ее отвержения. — Против Кронборга вдруг пролив расширяется и на светло-зеленых водах его видны окрыленные корабли; далее — высокие шведские скалы ограничивают зрение и, теряясь в синеве дали, кажутся громадами туч на горизонте.

Наконец, корабль ваш снимается с якоря, проходит Зунд. Попутный ветер прогоняет вас засветло мимо всех опасностей Каттегата. К вечеру остается вправо маяк Мальстранд подле камней Патерностера у берегов Шведских; потом проходите влеве Шкаген, предостерегающий от далеко лежащих отмелей сыпучих песков Ютланда, и вступаете в Немецкое море. Ночь стемнела; тучи сдвигаются над головою; горизонта не видно. Легко покачиваемый корабль зарывается в волнах, которые, с плеском разбегаясь, загораются мгновенным фосфорическим сиянием, бьются в корабль, брызжут светлые шары и, соединяясь за кормою в длинную струю, означают путь корабля огненной бороздою. Вдруг сияние угасает, —

вдруг загорается снова, и глаз не устает смотреть на эту игру природы.

Проходит ли корабль серединою Немецкого моря, чрез Доггер-Банку или Фиш-Банку, так называемые части моря по особенно малой глубине, и если ветер стихнет, спускают трал или большую сеть, и корабль тихо ее тащит, едва подвигаемый по зеркальной поверхности вод. Час или два наполняют сеть для обеда почти всего корабля множеством вкусной рыбы и различных чудовищ, на дне моря обитающих. Во время лова трески и сельдей вы встречаете на сих местах целые флоты рыбаков; тогда тихая ночь после солнечного заката представляет очаровательную картину. Небо, как опрокинутая чаша с золотыми звездами своими, отражается в совершенно тихой поверхности моря. Края горизонта исчезают в сумраке; воды не видно; такое же небо, такие же звезды внизу; мрак удвоает обман, и корабль, кажется, летит по воздушному пространству, усеянному бесчисленными огнями, зажженными на рыбацких лодках.

Говорить ли вам о удовольствиях плавания в страны далекие, о приятности новизны, о прелестях любопытства? — Путешественник, едущий сухим путем, постепенно переменяет свои впечатления; с каждым шагом привыкает к окружающим его предметам. Новая страна для него уже не нова, потому что он каждую минуту видел ее признаки, видел ее приближение. У нас на море не так: как бы волшебством переносимые с домами своими из страны в страну, мы не видим промежутков путешествия, и очарование новости не понемногу, но внезапно поражает взоры и чувствования наши.

Говорить ли вам о красотах морей, где незаходимый свет солнца отражается миллионы раз в зеркальных горах льдов — миру современных; где мраки продолжительной ночи рассеиваются живым блеском луны и звезд и чудным метеорным сиянием, которое беспрерывно раскидывается подобно шатру над головами плователей; где чудовища моря выходят из глубины и в неведении преследования человека режутся кругом кораблей и весело омрачают воздух брызгами своих водометов?.. Говорить ли о радости открытия земель неизвестных, — взять ли на себя смелость рисовать вам картины цветущих стран нового света, описать ли благорастворение воздуха тех краев благословенных?.. еще ли обращать внимание на великолепие и красоты беспредельного Океана?.. Нет, я не в состоянии. Могу только воскликнуть вместе с Байроном:

«Кати, кати свои лазуревые волны,
Величественный царь, безмерный Океан!
Вотще моря твои повсюду флотов полны,
Грозящих гибелью для неисчетных стран:
Но человек, прошед грозой по всей вселенной,
Рушенья у твоих берегов остановил;
И пред твоей державою священной
Он гордый дух неволею смирил.

Несытый славою и в жажде дум отважных,
Напрасно хочет он владычества печать,
На воды положив, законы начертать...
Но не приметен след его в долинах влажных,
И власть, с которой он в надменности своей
Владычествует, мер не зная, над землей,—
Негодование твое лишь возбуждает:
Взлетевши с пеною от бездн до облаков,
Он мертв близ берегов желанных упадает,
И неокликанный лежит среди песков.

«Что значат грозные морские ополченья,
Пред коими текут по целым царствам страх,
В столицы ужасы, в сердца царей смятенье?
Что значат крепости, плывущие в волнах,
Которыми гордясь напрасно человеки
Властителями быть задумали морей,—
И заключившись войной к другим людям навеки,
Победу приковать хотят у кораблей...
Что значат, Океан, они перед тобою?..
Игрушка — иль ничто — подобно пене вод
Истлеют, с горькою смешавшись волною,
Которая, равно крутя водоворот,
Поглотит гордую армаду в гнев яром,
Иль бранные щепы в битве под Трафальгаром!

«И царства целые по берегам твоим
Встают и рушатся; — лишь ты во всей вселенной
Не изменяешься! Где ныне грозный Рим?
Что случилось с Грецией, и с гордой Карфагеной?
Во дни счастливые свободы золотой,
В их берега твои плескались воды;
И ныне плещутся, когда закон чужой
Дают тираны им. Не дети той свободы,
Но жалкие рабы в невежестве, с тоской,
Влачат там бедный век презренные душой.
И царства те судьба в пустыни обратила...
Но ты, — но твой ничто не изменило вид.
Полета времени губительная сила
Лазурного чела тебе не бороздит!
Ты будешь так же юн, в часы веков скончанья,
Как видела тебя заря в день мирозданья.

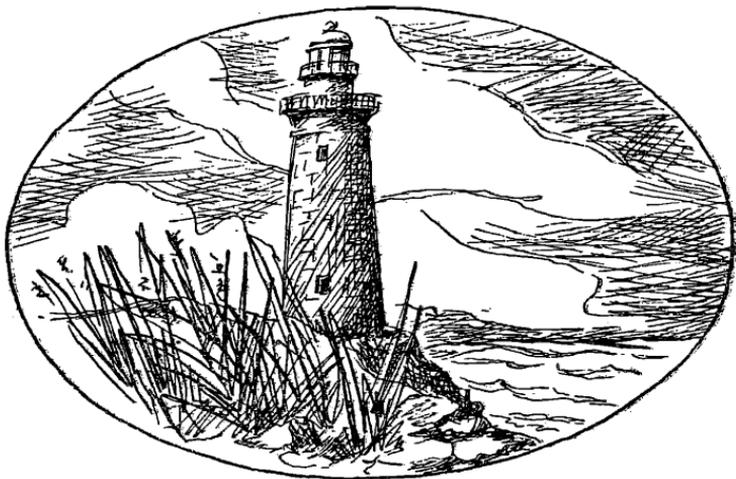
«Зерцало славы ты, в котором созерцать
Свой образ возлюбил, средь бурей, всемогущий.
Стоишь или двинешься — позволишь льдам сковать
У полюса, или кишишь под зоной жгущей:
Всегда величествен, всегда неизмерим,
Ты образ вечности, престол незримой силы.
Восхощен мир карать — течешь неумолим —
И мир преобращен в пространные могилы!»

«Но я любил тебя, суровый Океан!
И часто по водам, на произвол волненья
Переплывал моря, летел до дальних стран,
И на зыбях твоих искал я наслажденья!..
Еще с младенчества, со всплесками играть
Считал я для себя сладчайшею наградой,
И если в бурный день собою устрашать
Они могли меня — и страх сей был отрадой!..
Как сын твой, смело я, вверяясь волнам,
Со влажным гребнем их всегда играл беспечно,
И прелесть тайная носиться по водам
До сих осталась пор — и с ней умру конечно!»

Но не ошибся ли Байрон, поставив Океан выше человека? Кто же бесстрашно несется в пучины, повелевает бурями, борется со всеми силами Океана и с победою выходит из битвы? Кто, презирая ярость клокочущей бездны, похищает со дна морей корысти и целыми миллионами пленяет поданных Нептуна? Кто, обогащенный даньми, взятыми с моря, бестрепетно возвращается на утлом корабле своем в отечество и, не взирая на противоборствие стихий, несет туда сердце, полное радости?..

Кто же этот победитель Океана?..





ТОЛБУХИНСКИЙ МАЯК¹

Небо обложилось тучами, восточный ветер шумит между прибрежными камнями косы острова Ретузари. Отдаленный дождь скрывает [его] из виду; берега приближаются, и бунтующее море бросает далеко всплески свои по песчаной отлогости². Финский челн, меня ожидающий, бьется на кипящих волнах. Я обзираю небосклон: дождь стесняет круг зрения, ветер свирепеет, море усиливает ярость; но я вверяюсь буре и пускаюсь по волнам, сопутствуемый опытом.

Парус поднят; твердая рука управляет кормилом; берег удаляется; пена спешит вперед и пена гонится за ладьей. То, всходя на вал, челнок орошается брызгами, то спускаясь, едва уходит от свирепого вала; то бросаюсь выраво, подставля-

¹ Сей маяк находится в 14 верстах к западу от Кронштадта, в море, на маленьком островке. (Здесь и далее неоговоренные примечания принадлежат автору.)

² Кронштадт выстроен на острове Котлине, называемом по-шведски Ретузари; от него идет к западу коса верст на 7.

ет бок свой ударам волн; то рыскнув влево¹, грозит опрокинуться, но искусство избегает ударов и предохраняет от потопления. Верхи подводных камней, венчанные седыми всплесками, мелькают вправо, тюлени — предвестники бури, ныряют около нашей лодки и хищные чайки с писком носятся над волнами.

Мы уже близ цели пути нашего: Толбухинская башня гордо возвышается на уединенном островке, окруженном грядками камней, видна белая пена; уже слышен рев бьющихся волн, челнок летит, башня растет в глазах наших — спускаем парус, и последняя волна бросает нас на берег.

Я исполнил там свое дело²; но буря разразилась; небо пролилось ручьями. Тщетны покушения спустить лодку в обратный путь: яростное море столько же раз бросает ее на берег, сколько раз соединенные силы сталкивают оную в воду. Наступающий ветер и дождь скрывают направление пути; рев моря не дает слышать друг друга, и необходимые волны разлучают нас беспрестанно. И так я остаюсь до утра, даю отдых бесстрашным пловцам, верным моим сотоварищам.

Дерзость человеческая открыла себе дорогу чрез гибельную стихию; опыт научил справлять волнам и ветрам; предосторожность поставила днем приметные по берегам знаки и зажгла ночью условные огни, провождавшие пловцов от места к месту. Кипящая смола, пылающее дерево и дымный земляной уголь, на высоких горах и нарочных башнях возжигаемые, прокладывали светлую стезю мореплавателю к желанному берегу.

Но природа посмеивалась усилиям слабого человечества: часто бури и дожди препятствовали зажигать или погашали зажженные на открытом воздухе маяки, и корабль во мраке, реемый волнами, подвергался неизбежной гибели; часто хитничество и разбой зажигало огни не в надлежащем месте, и обманутый пловец делался жертвой своей доверенности³. Тысяча лет протекли; но маяки не изменили своего вида, и тысячи несчастных гибли у тех берегов, у коих чаяли найти пристанище.

¹ Рыскать техническое слово; обыкновенно при сильных попутных ветрах судно рыщет в обе стороны.

² Сочинитель ездил туда по должности.

³ В прежние времена маяки зависели от прибрежных обывателей. Береговое право и желание корысти заставляли часто их злодействовать, зажигая огни не в надлежащем месте. Они вводили в заблуждение мореплавателей, пользовались их товарами при кораблекрушении, и самые люди становились их невольниками.

Наконец химия и механика соединились к пользе человечества; силы природы восстали противу ней самой и маяки, не взирая на бури и дожди, вооруженные удивительными Аргантовыми лампами¹, в хитрых параболах вмещенными², протерли неизменный, светлый отличительный луч во сретение кораблям на неимоверное расстояние, и мореходцы, обнадеженные безопасностью своей, так же смело плывут ночью, сопровождаемые светом маяков, как и днем при всем блеске и величии солнца.

Я всхожу на высокую башню³, девяносто пять ступеней возводят к пространному фонарю. Шесть шагов поперечника и шесть шагов высоты образуют его пространство. На середине утверждён железный постав, обращающийся с двумя кругами, носящими двадцать четыре лампы, в стальных же реверберах утверждённые. Частые стекла окружают фонарь сей и пропускают спасительный свет лампад, увеличенный вогнутыми параболическими зеркалами⁴.

Выхожу на окружающий помост, на коем сторож во время ночи бдит орлиным оком для подаяния помощи несчастному пловцу, ежели судьба или неосторожность приведет его к подводным камням, маяк окружающим. Вечер темнеет, дождь перестал, но буря усилилась; ее порывы и протяжный рев волн подобятся отдаленному грому, кажется, башня колеблется в основании; море расстилается серою пеленою, и быстро бегущие облака, то сдвигаясь, то разрываясь, обещают продолжительную бурю.

В промежутки дождевых громад заходящее солнце разливает багровый блеск по пенящемуся морю и поглощает последними своими лучами стены отдаленного Кронштадта, главы церквей, кресты колоколен, и стекла возвышенных зданий представляяют пожар на черном небосклоне востока. Страшное зрелище!

Кругом море; Ораниенбаумский и Систербецкий берега синеют и желтеют попеременно, освещаемые прерывно красными лучами солнца, четыре корабля на белых парусах ле-

¹ Аргантовая или кинкетовая лампа изобретена в Америке художником Аргантом.

² На маяке обыкновенно кругом становятся на фонаре параболические реверберы или вогнутые зеркала, толсто серебром планированные, в фокусе коих помещена лампа. Свойство сих парабол заключается в параллельном отражении лучей на далеком расстоянии.

³ Во 100 футов каменная башня.

⁴ По Финскому и Рижскому заливам таковых маяков находится 22 и все они зависят от правительства Российского.

тят в отдаленные страны, оживляясь надеждою корысти. Как малы кажутся они! Каждая волна готова поглотить их! Как мал островок, на коем поставлена башня! Кажется, она не имеет основания! Волны бьются; — плещут; — взбегают по отлогости до самой башни и с ревом скатываются назад.

Приветствую тебя, заходящее светило! борьба стихий ужасна! Кажется, что хаос заступает место творения и я вижу тебя в последний раз. Ты уже погасло для других жителей земли, отделенных к востоку синюю далью; но ты горюшь еще для меня, ближайшего к твоему западу, вознесенного на сию высоту башни, изображающей в ночи слабое подобие света твоего, и воздвигнутой мореплавателями в утешение твоего отсутствия. Приветствую тебя, как древний Гебр; как жрец твоего храма, и ты — подобно древнему солнцу Зороастрову, в залог возвращения, возжигая само собою светильники башни, утопаешь в волнах, окруженное блеском своего величия¹.

Лампы зажжены; ослепительный блеск разливается; воздух и вода, свет и тьма сражаются между собою; дикая утка и легкокрылый кулик, захваченные в полете бурею, несутся на яркий блеск маячного огня, и ударяясь о стекла фонаря, падают бездыханны. Изумлен, оглушен и ослеплен, схожу я в молчании с высоты, и едва могу успокоиться посреди давно спящих обитателей уединенного острова².

Ясное солнце, тихое утро и легкое колебание волн наполнили сердце мое радостью при пробуждении. Я выхожу насладиться свежестью воздуха и застаю в занятиях служителей маяка: один утверждает кровельку над гнездом ласточки, дождем смытом; другой огораживал недавно посаженное деревцо на горсти земли, с трудом сюда привезенной; третий выплескивал соленую воду, затопившую колодезь; тот ловил рыбу, а этот готовил завтрак.

Восемьдесят шагов в длину и пятьдесят в ширину составляют все пространство каменного островка, населяемого шестью отшельцами. Каждая птичка, к ним ветром занесенная, каждая травка, между камней проросшая, радуется их неска-

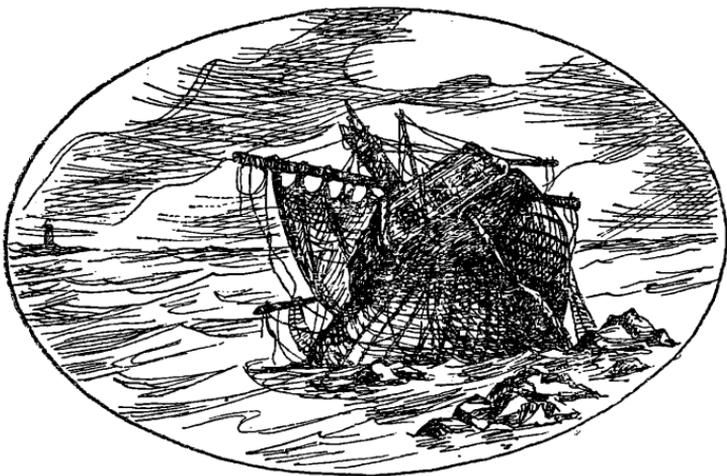
¹ Свойство параболы, отражающей параллельно лучи света, в фокусе поставленного, превращается, ежели параллельные лучи ударяют на ее поверхность: тогда они, собираясь в фокусе, зажигают в оном горючие вещества, и потому на маяках из предосторожности фонарь завешивается чехлом, иначе лампы загораются сами собою.

² При каждом маяке есть очень покойный караульный дом для служителей.

занно; они берегут их, защищают от ветров и дождя и каждый после трудов отдыхает, занимаясь своим пружиком, своим цветочком, своею ласточкою.

Прощайте, отшельцы мира! Жизнь ваша безмятежна: посреди бурь вы наслаждаетесь совершенным спокойствием, дни ваши посвящены благотворению и невинным радостям; прощайте! я отъезжаю туда, где при ясном небе свирепствуют бури, где при всех напряжениях к блаженству — мы несчастны; — прощайте, отшельцы мира!





ИЗВЕСТИЕ О РАЗБИВШЕМСЯ
РОССИЙСКОМ БРИГЕ ФАЛЬКЕ
В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ У ТОЛБУХИНА МАЯКА,
1818 ГОДА ОКТЯБРЯ 20 ДНЯ

Жизнь человеческая исполнена сама по себе опасностей; военная служба умножает их; но опасности сухопутной службы ограничиваются одними ужасами войны; в морской же, напротив, сверх военных случаев, человек подвергается часто большей погибели от стихий, устроенных природою на благо и пользу его, нежели в самых жестоких сражениях.— Я спешу представить тому разительный пример.

Целое лето нынешнего 1818 года не было жестоких ветров; первая буря случилась 20 числа октября месяца, и начавшись рано поутру от северо-запада с морозом в $3\frac{1}{2}$ градуса, продолжалась почти до полудня 21 числа. В продолжение сей бури по известиям, дошедшим доселе, разбило английский купеческий корабль *Индастри*, шедший из Бергена с сельдами, у мыса *Стирсудена*, лежащего верстах в 30 от Кронштадта по правую сторону Финского залива; люди с сего корабля с трудом спаслись на берег. Любекское судно *Гоффнунг*, ушедшее с грузом из Кронштадта, близ Гогланда брошено было на мель и едва спаслось рачением шкипера, кото-

рый со всем тем принужден был воротиться в Кронштадт по причине великой течи. — Два галиота российские потеряли мачты и один выбросило на берег на Кронштадтском рейде. — Российское судно *Магдалена*, шедшее из *Ливерпуля* с солью, кинуло на мель на Кронштадтском же рейде, сорвав оное с якорей. Сие самое, будучи снято с мели, оказало такие повреждения и течь, что принужденным нашлось войти в гавань и остаться там на зиму для починок. — Четыре лодки с зеленью и съестными припасами и один плот из бревен разбило на берегах; многие суда потеряли свои якори.

Теперь приступаю к описанию важнейшего из всех сих несчастных приключений, побудившего меня к извещению о сей буре. Все мною изочтенное до сих пор состоит из обыкновенных токмо случаев, весьма часто с мореплавателями встречающихся.

22 числа, по утишении немного сей бури и по прочищении пасмурности, с *Толбухина* маяка, отстоящего от Кронштадта верст на 14, сделан был телеграфом сигнал, что от него к западу *военное судно терпит бедствие*. Вследствие сего сигнала приказано было от военного губернатора и главного в Кронштадте командира вице-адмирала фон Моллера отправить с дальней брандвахты гребное судно с офицером, чтобы разведать, где стоит оное судно и для помощи ему. Я был послан с потребными орудиями и достаточным числом людей. Приехав уже к самому маяку, я увидел судно поблизости от него вовсе затонувшее, у коего мачты были срублены, а над водою оставалась одна только кормовая часть. Подъезжая ближе, мне казалось, что люди, на оном находящиеся, протягивали руки и просили о скорейшей помощи, и потому я поспешил перегрести расстояние ста сажень или немного более от маяка до судна, удивляясь однако же, каким образом маяк, дав знать сигналом о судне, сам не подает доселе помощи, увидя людей сих в таком положении. Но какой ужас объял меня, когда, приближаясь к судну, увидел я множество людей замерзших и обледенелых в разных положениях: одни лежали свернувшись, другие в кучах, третьи держались за борты, как бы прося о спасении. — Первый предмет, поразивший меня, был лейтенант *Щочкин*, товарищ и приятель мой с самого малолетства, коего узнал я в ту же минуту, распростертый навзничь с обмерзлыми волосами и одеждой; за руку его держался денщик и, казалось, желал согреть оную своими руками; прочие люди лежали кучами, как бы в намерении согреть друг друга взаимною теплотою; под одною кучею

лежащих людей признал я молодого офицера Абрютина, ко- его вероятно матросы хотели согреть собою; унтер-офицер подобным же образом был обложен; другой офицер, облокотясь на борт, казался спящим. Все вообще имели вид спящих, или умоляющих Небо о своем спасении; одна мертвенная оцепенелость удостоверяла меня, что люди сии уже умерли, и я едва мог опомниться от нового мне чувства — большего нежели страх и сильнейшего жалости. Крепив однако же сердце, я думал было осматривать, нет ли еще живых людей, как приехала с маяка лодка, с коей меня известили, что старания мои будут бесполезны, и что двое из сих несчастных, в живых найденные, сняты давно уже с судна. — Осмотрев однако же хорошенько, и не найдя ничего, я вышел на маяк, дабы разведать о сем приключении, и нашел там двоих спасенных: комиссара *Богданова* и унтер-офицера *Изотова*, столь слабых, что едва были в состоянии отвечать на мои вопросы. Они объявили следующее:

«Военный бриг *Фальк*, нагруженный мукою, отправился 25 числа сентября из Кронштадта в *Свеаборг* под управлением лейтенанта *Щочкина* 1-го, с мичманами *Жоховым*, *Абрютиными* 2 и 3-м, вышесказанным комиссаром *Богдановым*, штурманом *Калашниковым*, 35 человеками команды с пассажиркою, пожилою женщиною с 12-летним ее сыном. Вышед из Кронштадта с благополучным ветром, вскоре получили противный. Дувшие непрерывно западные ветры заставляли сей бриг несколько раз спускаться в разные места и останавливаться там на якоре. Дважды он стоял за *Гогландом*, дважды в *Бьорке*, раз за *Сескаром* и раз за мысом *Стирсуденом*. К сему последнему подошли они 12 или 13 сего месяца. Лейтенант *Щочкин*, желая по назначению попасть скорее в *Свеаборг*, и выполнить по всей мере долг свой, никак не хотел идти назад в Кронштадт, рассчитывая, что с первым, хотя немного благоприятным ветром, он гораздо легче может сняться с якоря от *Стирсудена*, нежели из Кронштадта, из коего не при всяком ветре удобно выходить. В сем положении он стоял около 6 или 7 дней.

«20 числа началась буря; в семь часов пополудни порыв северо-западного ветра, дувшего со снегом и морозом, столь был велик, что судно, стоявшее на одном якоре, потащило. Мичман *Жохов*, бывший на вахте, видя, что при достаточном количестве выпускаемого каната судно не перестает тащить, хотел бросить другой якорь на помощь первому, и для сего якорь сей, обыкновенно привязываемый горизонтально вдоль судового борта, был отвязан и оставлен вертикально в *висе-*

чем положении, подвешенным на кокоре, кранбалкою называемой¹.

Лейтенант *Щочкин*, о сем в ту же минуту уведомленный, вышел наверх, отменил было кидать другой якорь, но узнав, что оный висит уже на кранбалке, и зная опасность сего положения при качке, тотчас велел оный бросить.

Не напрасно было опасение *Щочкина*, вследствие коего он велел отдать якорь: обледеневшая веревка, на коей оный висел, не могла вскорости быть развязана; надлежало оную рубить и в сие время якорь, раскачиваемый жестоким волнением, ударяя беспрестанно одним из своих рогов в судно, пробил обшивку — и вода хлынула в большом количестве по всему трюму.

Спустить якорь на кранбалку, обрубить мерзлую веревку и в сие время получить от якорной лапы пролом, было дело одной минуты. Шкиперский помощник первый увидел течь и известил о том начальника. Все меры противу оной остались тщетными; наконец, после многих бесполезных усилий, решено было, отрубив якоря, спуститься прямо на *Толбухинский* маяк, видимый от *Стурсудена*, и стать там на мель, дабы по крайней мере можно было поблизости к берегу спасти людей. Отрубили канаты — распустили паруса — пошли; течь начала усиливаться — отчаяние овладело всеми. — Увещания начальника не действовали: близкая смерть и неизвестность, в состоянии ли будет судно дойти не затонув до маяка, сделала всех глухими к приказаниям. — Начали прощаться между собою; все побежали переменять на себе белье по старинному русскому обычаю². Наконец вода в судне так распространилась, что переменявшие внизу белье, иные, не успев выскочить, остались там, другие выбежали в одних рубахах, и судно, не дошед сажений ста до маяка, село на дно, так однако ж, что вода не покрывала верха судна. Со всем тем, волнение было столь жестоко, что бриг начало сносить с мели. *Щочкин*, опасаясь, чтоб судно не затонуло на глубине, велел бросить остальной якорь и верп (или якорь меньшего разбора), дабы удержаться ими на мелком месте; — велел срубить мачты, на коих незакрепленные паруса более

¹ Якорь подвешивается на сию кранбалку посредством особенной веревки, продетой сверх каната в якорное кольцо. Коль скоро веревку сию развяжут, то якорь падает в воду и тащит за собою канат, который выдают смотря по силе ветра.

² Между простым народом царствует мнение, что, переменяв пред смертью белье он совершил свою исповедь, очистился от грехов и готов предстать чистым на суд божий.

и более сдвигали судно с места. Повторяемые удары о камень отбили руль, и наконец нижняя часть судна начала разбиваться в щепы; бочки и прочие вещи выносило из люков или выходов наверх; судно погрузилось совсем, одна только задняя часть оставалась сверху воды.— Баркас или большое судно, стоявшее на верху палубы, мгновенно было оторвано стремившимися уже через верх волнами и, оными поднимаясь, перебило многих людей, собравшихся на корме. В сем положении во 100 сажнях от маяка, вблизи возможного спасения, должны они были оставаться около двенадцати часов подверженными яростным волнам. Все гребные их суда и баркас оторвало прежде, нежели могли приступить к их употреблению; спасаться вплавь, значило ускорить свою смерть.— Никакого знака не можно было подать на маяк: пушки, порох были в воде; огня достать было невозможно;— крик не помогал им; тщетны были все усилия, чтоб их услышали на маяке;— рев волн, разбиваемых о камень, маяк окружающие, и свист ветра в снасти телеграфа, при маяке стоящего, препятствовали им быть услышанными. Темнота осенней ночи, увеличиваемая снегом и светом самого маяка, препятствовали часовым с оного видеть на несколько саженей вдаль. Таким образом несчастные страдальцы принужденными нашлись из боязни быть снесенными волнами держаться друг за друга, оставаясь так без всякого движения, могшего их сколько-нибудь разогреть и избавить от холодной смерти.— С 9 часов вечера до самого рассвета оставались они в сем положении;— холод увеличивался почти до 5°; многие из них уже замерзли, многие снесены были волнами;— остальные едва дышали, оцепенев от холода. В исходе седьмого часа, лишь только можно было различать предметы, с маяка усмотрели несчастных и поспешили отправить небольшую лодку с семью человеками. Другого судна не можно было послать по чрезмерности волнения, о камни разбивающегося. Со всею предосторожностью, лодка опрокинулась на камнях и семь человек вброд едва спаслись сами; однако ж поймав лодку и исправя оную по возможности, пустились опять. Часа два или более прошло дотеле, пока лодка могла добиться до судна, так что подъехав туда, нашли уже только двоих живыми, и то без всякого движения с едва заметными знаками жизни; прочие по одиночке умирали прежде, нежели могли дожидаться спасения. Искав долго между мертвыми и не находя ни одного человека в живых, люди сии с великою трудностью возвратились на маяк, где подав возможную помощь двум несчастным, к исходу токмо дня привели их

в состоянии рассказать все обстоятельства сего пагубного случая.

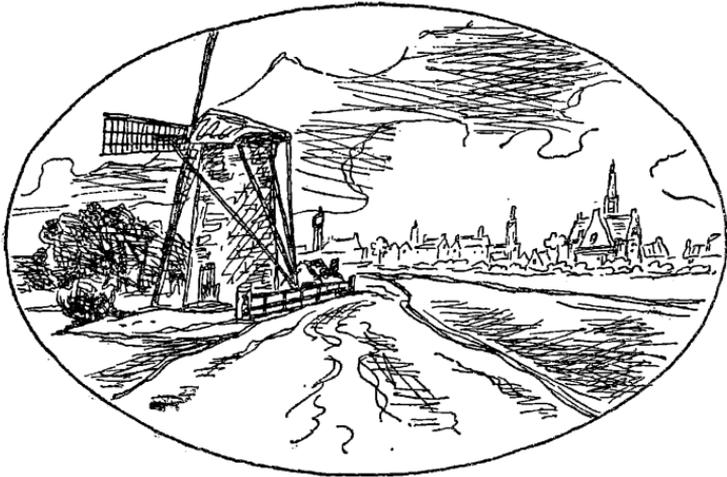
Комиссар обязан спасением своим двум пубам, а унтер-офицер был накрыт тремя матросами.— Какой пример любви к начальству в людях наших!

Люди с судна были сняты. В число всей команды неоставало 9 человек и одного офицера.— Одни остались внизу, где старая пассажирка также скончала жизнь свою с сыном; других смыло волнами.

У *Щочкина* в *Свеаборге* осталась жена; двое *Абрютиных*, с ним бывшие, ее родные братья; отец ее плац-майором в *Свеаборге*. Удар слишком жестокий для отца и матери в один раз потерять двух сыновей и зятя! Старший сын был 18, младший 17, а самому *Щочкину* было не более 30 лет.

Представляя верное описание сего происшествия, не хочу ни увеличивать ужасов, ни уменьшать их. Пусть каждый, носящий в сердце искру чувствительности, пожалеет о несчастных, и иногда в молитвах своих да попросит бога, чтоб сохранил нас, бедных мореплавателей, от подобных случаев, грозящих нам в море ежечасно.





ЗАПИСКИ О ГОЛЛАНДИИ 1815 ГОДА

ПИСЬМО 1. ГЕЛЬВЕТ-СЛЮЙС

Мы в Голландии.— Мир встретил нас,— и надежды, за которыми гнались мы сюда, исчезли, как ночные призраки с восхождением солнца. Еще в Копенгагене узнали мы, что Наполеон разбит при *Ватерлоо* и что войска наши под стенами Парижа. Пылкие чувствования юности, заставлявшей желать продолжения войны, встревоженные скорым и неожиданным переворотом, с коим опрокинулись наши замыслы, не могли быть утешены благоразумием, твердившим, что мир лучше войны; и мы, с грустью в сердце, в борьбе с бурями, в сопровождении четырехнедельной скуки пришли на своих фрегатах к туманным берегам Голландии.

Я не стану описывать своего путешествия от Копенгагена; да и что о нем сказать можно, не видев ничего в продолжение месяца, кроме неба и воды?— Если скажу, что на *Доггер-банке* во время двухдневных маловетрий мы ловили вкусную рыбу, что против *Текселя* ошибкою лоцмана едва не попали на мель, тут будет все, что случилось с нами, и что случается на море почти со всеми плователями.

Мы вошли в реку *Маас* утром и, при помощи лоцманов, часов через шесть были уже в *Гельвет-Слюйсе*, маленьком го-

родке, стоящем на одном из островов, образуемых Маасом. Здесь ожидание мое было обмануто вторично: вместо топких болот, вместо городов, висящих на сваях над морем, как я заключал из неясных описаний Голландии,—увидел море, висящее над землею, увидел корабли, плавающие выше домов, и вместо болот возделанные поля, тучные пажити, чистые и красивые городки, прекрасных мужчин, прекрасных женщин.

Нас встретил доверенный от правительства, флотский лейтенант Ван-Эсс, умный, образованный молодой человек, каких я вообще видал во флотах шведских, датских и французских. Все попечения употреблены были к спокойствию и удовольствию нашему. Свежая пища для людей; долгое время на море бывших, госпиталь на берегу для больных и усердие самого Ван-Эсса обеспечили команды наших фрегатов.

Русский флаг еще впервые развевался на водах Мааса: берег усеян был любопытными. Я съехал с фрегата с Ван-Эссом уже под вечер и радовался видом сего городка, расположенного по сторонам канала, ведущего в док адмиралтейства. Чрезвычайная чистота, дома маленькие, но красивые, с блестящими стеклами, мостовая, на которой не видно ни соринки, довольственный вид жителей, которые высыпали смотреть на небывалых гостей, удобство объясняться в сей стороне (ибо все почти говорят по-французски) — все это, после четырехнедельного заточения, веселило меня чрезвычайно.

Мы пили чай в трактире на крыльце; мне не хотелось сойти с оногo и лишиться себя удовольствия посмотреть на сей прекрасный городок. Однако любезный Ван-Эсс припомнил, что завтра рано наш экипаж выступит сухим путем в Роттердам, куда фрегаты, за малую глубиную реки, идти не могут, и что вечера остается уже немного, дабы осмотреть достоиное примечания адмиралтейство.

В довольно пространной гавани стоит гребной флот — от 60 до 70 канонирских лодок и несколько яхт. Док, оконченный в 1804 году, назначен для починки фрегатов и мелких судов; вода из оногo выбрасывается огненною машиною, строение которой, равно как и ворот дока, совершенно особенное.

В магазинах есть все нужное к вооружению кораблей, строящихся в Роттердаме и проводимых оттуда на камелях.— Река доставляет спокойный рейд, где дают им половину груза и вооружения и отправляют за остальным в Амстердам: устье Мааса не позволяет кораблям проходить в полном грузе.

В канале, ведущем в гавань и док, стоит несколько пакет-

бстов, отправляющихся по очереди, каждую среду и воскресенье, в Англию, куда, при попутном ветре, можно прийти часов за 15 с небольшим. Канал и река покрыты рыбачьими лодками, выезжающими ежедневно в море за промыслом, составляющим торговлю сего маленького городка, обитаемого 1200 жителей.

Рыболовные учреждения строго наблюдаются в Голландии; особенно сельдяной промысел имеет свои законы. Начало ловли, во время хода сельдей, определено с точностью, и со всего берега Голландии в одно время по условным знакам, после многих торжественных обрядов, промышленники выезжают в море. Изловленное количество сельдей необходимо должно быть посолено в тот же день; остальные же, сколь бы много оных ни было, выбрасываются опять в воду. Сия нежная рыба требует необходимой точности: пробыв два или три часа на воздухе, она ржавеет и в сем положении посоленная никогда не бывает хороша. Оттого англичане, шведы и норвежцы, которые в то же самое время оную ловят, соля без остатку и не разбирая свежей с сонною, никогда не имеют таких сельдей, как голландцы. Притом же последние, как сказывал мне один словоохотный промышленник за тайну, имеют обычай вырывать жабры у сельдей, что, хотя замедляет работу, но делает их гораздо вкуснее.

Адмиралтейство и сельди составляют все достопамятности сего городка. Но более всего я запомню в нем Ван-Эсса. Ласковый привет страннику в земле чуждой примиряет его с разлукою.

ПИСЬМО 2. РОТТЕРДАМ

Вы знаете, как нечаянно я вырвался из круга вашего, друзья мои, и пошел в Голландию. Фрегаты готовились давно конвоировать транспорты с провиантом для армии, но наш экипаж вдруг был назначен, сверх комплекта фрегатской команды, для препровождения сих провиантов по Рейну в главную квартиру союзников и там быть употребленным, как употреблялись прежде морские экипажи при армиях.

По прибытию в Голландию огромный конвой наш, состоявший из 70 купеческих судов, отправился прямо рекою в Роттердам, а мы, надев ранцы и оставив домашние удобства корабельной жизни, были высажены с экипажем на берег — и выступили в поход к Роттердаму, куда, по прекрасной дороге, чрез многие селения и город Брилл, пришли

в тот же день часов в 12 ночью, устав, сколько можно устать, от 18-часовой ходьбы.

Там развели нас по квартирам, а я, попавшись по билету к хозяину, у которого в минуту нашего вступления в город разрешилась жена, и не желая его беспокоить, должен был усталый тащиться на край города в трактир, где, не дождав-шись ужина, которым подчивал трактирщик, и не раздеваясь, бросился в постель.

Поутру я пошел на сборную площадь — и там, к неудоб-вольствию общему, узнал, что мы не пойдем теперь в армию: война кончена взятием Парижа, и провианты остаются здесь. Однако ж, нам сказано ждать дальнейшего повеления.

Итак, мы живем здесь праздно. Не разделяя опасностей с войсками, не будем разделять и славы. Время течет; пове-ление не приходит; отлагаемая надежда охладевает — и мы печально бродим посреди голландцев, радующихся успехам союзного оружия и собственной свободе.

Одни только чудеса земли сей развлекают нас; мы рас-сматриваем оные — удивляемся силе духа и терпения чело-веческого.

Но отчего море выше всей Голландии; откуда сей вал, удерживающий оное от низвержения?— Как возвысилось море, и как упала земля столь низко со всеми городами и оби-тателями?

Сего чудесного явления нельзя иначе объяснить, как ска-зав нечто из истории голландской, тесно связанной с созда-нием царства, сотворенного не природою, но руками челове-ческими.

Батты, народ германского поколения, еще за 100 лет до Р. Х., наскучив властью Гессов или Гессенов, отложились от них и основали Батавию на острове, образуемом реками Ваалом и Рейном. Здесь начальники уделов, выбираемые об-щими голосами, более властвовали советами, нежели силою над сим воинственным народом, готовым всегда к собствен-ной защите. Каждое семейство образовало часть войска и под-чинялось своему старейшине.

Цезарь, перешед Альпы, победил гельветов, многих наро-дов галльских, бельгов, германцев: все покорялось чудесному оружию победителя — и многие народы, боясь рабства, иска-ли покровительства Цезарева. Батты также предложили свой союз, с тем однако же условием, чтоб остаться при всех сво-их правах и чтоб единственная их подать состояла во вспо-могательстве римлянам военными силами. Вскоре Цезарь отличил баттов от прочих данников римских, и когда, отвер-

женный Римом, но сопутствуемый славою, воевал он против гишпанцев, итальянцев, простирал свои завоевания в Азии, то батты, оружие коих он обязан был большею частию своих побед, получили славное имя *друзей и братьев народа римского*.

Вместе с падением империи, вместе с ослаблением ее нравственных и физических сил, варвары, подвигнутые к северу страхом оружия римлян, восприняли бодрость свою, наводнили снова юг и захватили многие провинции римские. Франки похитили Галлию, и Батавия досталась в удел обширному государству, основанному сими завоевателями в пятом веке.

Новая монархия претерпела многие перемены: беспрестанные войны вне государства, частые возмущения внутри, приобретение чужих земель, а чаще вторжение неприятеля в собственную, слабость многих королей, злоупотребления их любимцев, попрание законов и религии распутными прелатами, безначалие и деспотизм потрясали попеременно государство.

Наконец, при всех усилиях Пепина и сына его Карла Великого утвердить престол Франкской монархии, она разделилась между внуками последнего. Один из них вместе с Германией наследовал Батавию, которую после норманны в набегах своих назвали Голландиею.

Отрасль Карла в Германии пресеклась в середине IX столетия. Германцы свергли чуждое иго и избрали себе начальника или императора из среды правителей, властвовавших пятью областями. Не употребляя во зло власти, данной сими людьми, императоры ограничились феодализмом.

Графы голландские, воспользовавшись сим переворотом и присвоив себе также власть, подобную власти удельных владетелей Германии, посягнули противу свободы народа, но твердые голландцы уничтожили их замыслы. Они продолжали управляться графами, дворянами и гражданами и сохранили свою независимость. В сие время, с прекращением мужской линии, судьба вручила участь Голландии, с рукою Жанобины Брабантской, Филиппу Бургундскому, по прозванию Доброму.

Мужское наследие прервалось и в самом доме: Мария, единственная дочь и наследница последнего Бургундского герцога Карла Дерзновенного, в 1477 году принесла Голландию в приданое австрийскому императору Максимилиану.

В сие время, столь славное в истории, Голландия или Нидерланды разделялась на 17 провинций, управляемых каждая

своими законами, своими постановлениями, отдельными властителями. Не было единства, нужного к благоденствию республики; народ, привыкший к сему роду правления, не почитал нужным перемениать оное, а Максимилиан, Филипп и Карл, первые австрийские государи, убеждаемые предрассудками, торжественно клялись не вводить никакой новизны в последние бургундского дома.

Однако же, голландцы, управляемые тремя властями, а следственно тревожимые и частыми несогласиями, многократно бывали жертвою междоусобных бражей и неприятельского оружия. Необходимость заставила их, наконец, соединить сии власти в одну и учредить верховного правителя под именем штатгалтера.

Но уже приготавливался в Европе важный переворот. Возрождение наук, распространение торговли, изобретение книгопечатания и компаса приблизили эпоху, в которую разум человеческий долженствовал свергнуть иго предрассудков, положенное на него временами варварства. Уже переставали верить безгрешности пап; открыто жаловались на злоупотребление их власти, на продажу отпущения грехов, а наиболее на притеснения их, преступавшие меры.

Обиженный папами монах буйным красноречием, достойным тех времен, воздвиг северные народы. Из европейских государей одни приняли сторону реформации, другие Рима. Одни примером своим увлекли подданных за собою, другие всею властью едва могли удержать своих от последования новым мнениям. Строгость мер породила фанатизм, а сей истребил саксонцев, албигойцев и гусситов. Эшафоты воздвигались и костры пылали всюду.

Император Карл V был внук Максимилиана и Марии, отец всемирной монархии и Филиппа II, коему Голландия досталась в наследство. Сей превзошел своих современников в тиранстве и гонениях противу реформатов. Обширная его монархия страдала от изуверства; Нидерланды наиболее дымилась кровию и пеплом своих граждан.

Филипп поручил управление Голландии Вильгельму Нассау, принцу Оранскому. Будучи только графом Голландии, Филипп захотел быть самовластным правителем оной: испроверг законы, постановил епископов, учредил инквизицию, — и жестокость сей последней, поощряемой Филиппом, сделала больше протестантов, нежели все учение Лютера и Кальвина. — Начался ропот; послали просить Филиппа об удалении кардинала Гпанвеллы, первого министра — он отправил к ним герцога Альбу с войсками, дабы наказать мятеж-

тником. Последняя капля тирании преисполнила сосуд терпения голландцев, и возмущение разлилось повсюду. Нассау первый поднял знамя свободы и, с оцененною головою, бежав во Францию и Германию, набрав там преследуемых протестантов, вступил с войском в Голландию. Пожертвование имуществ доставило ему способы к продолжению войны. Революция началась с прекраснейших провинций твердой земли: Брабанта, Фландрии и Гейнау, но зависть графов сих земель к Оранскому дому заставила их отложиться от союза и сохранила десять лучших провинций власти Филиппа. Уменьшенные в силах своих в числе семи беднейших провинций¹, но твердые духом голландцы, стоя, так сказать, одной ногою в воде, теснимые войсками Филиппа, должны были избирать или пламень костров, или море. Нечего было делать: надлежало искать убежища в последнем; надобно было победить природу, дабы противостать людям — и голландцы повели с берега в море огромные насыпи, отрезали себе часть оною и, осушив отделенные сими насыпями пространства, сделались обитателями дна морского. Здесь-то, согнанные с лица земли, голландцы показали свету, к чему способно человечество и до какой степени может вознестися дух людей свободных, — показали, как уголок земли, почти затопленный морем и едва существовавший рыбным промыслом, отразив Филиппа, победив его преемников, наконец, сделался их покровителем.

Вот происхождение сего подводного царства, которое после, будучи руководимо кроткими законами умеренности, строгости нравов и терпимости вер, стало на ряду сильнейших держав Европы.

ПИСЬМО 3. РОТТЕРДАМ

Идучи морем вдоль берегов Голландии, не видишь ничего, кроме непрерывного вала, из-за коего выставляются частые мельницы и шпили церковные. Вал сей простирается во всю длину северной части Голландии и держит на себе всю тягость моря. В тех местах, кои очень низки от поверности оною, есть двойные валы на случай, ежели бы чрезмерная тягость воды прорвала первый оплот. Осушенное пространство перекопано каналами, в кои скопляется вода, проникающая плотины и при излишестве выбрасываемая опять в море бесчисленными мельницами. Содержание пло-

¹ В 1579.

тин, шлюзов, находящихся во многих местах, и мельниц стоит ежегодно около 5 000 000 гульденов. Каналы служат также для внутреннего сообщения всей Голландии и наполнены судами, перевозящими товары, почтовыми ботами и проч.

Реки, долженствовавшие бы давно исчезнуть в море, если б не было Голландии, продолжены в своем течении искусственными берегами, которые, проводя реку часто верст на 15 и более, доставляют сладкую воду жителям сей земли. В низкие места речная вода спускается посредством шлюзов, и часто случается видеть два канала в близком между собою расстоянии, один с пресною, другой с соленою водою.

Высокие валы, удерживающие иногда 35 футов воды в высоту и на коих строятся домны, представляют странный вид: дом, стоящий на вале и обращенный к морю или к реке, имеет с сей стороны два или три этажа, с другой же, спускающейся до самой подошвы вала, часто бывает в пять или шесть этажей. И так беспрестанно почти случается видеть корабли плавающими по одну сторону дома против третьего или четвертого этажа, а по другую против нижнего.

Роттердам примыкает к плотине правого берега реки Мааса и называется по имени *Роты*, маленькой речки, впадающей в Маас выше города; невелик в окружности, однако населен 54 000 жителей и не имеет никаких укреплений. Город сей, второй по Амстердаме торговлею, считается самым красивым во всей Голландии. Улицы довольно широки, хорошо вымощены; каналы, выложенные камнем и обсаженные густыми деревьями, пересекают город во всех направлениях; одни идут из Мааса между искусственными берегами, другие простираются понизу, те и другие покрыты судами. Из судов в верхних каналах выгружают в нижние; из нижних передают вверх; колониальные товары замешаются туземными; промышленность кипит на воде и на суше.

Строение города все каменное и красивое; дома небольшие, но высокие; полированный и немазанный кирпич, смещение старой архитектуры с новою, местами дикий камень, коим выкладывают углы и окна домов, красивые лестницы составляют какое-то приятное разнообразие. Не совсем прямые улицы, часто пересекаемые площадями, беспрестанно новые виды на каналы для меня гораздо приятнее, нежели улицы в правильно построенных городах, утомляющие взор своею прямочертною длиною. Особенный вид придают городу деревья.

Деревья сии отнимают, однако же, солнце у жителей,

живущих в вечном сумраке, усугубляемом вечно опущенными до половины окон шторами.

Но эти же деревья очищают воздух, зараженный от нездоровых испарений низменной земли, от стоячих каналов, торфяного дыму и множества жителей.

Прекрасное место! Вы видите вдруг город, висячие сады в море со всеми чудесами и со всеми сокровищами.

ПИСЬМО 4. РОТТЕРДАМ

Пора осмотреть город.—

Пойдемте от Бриллиантовых ворот, в которые мы вступили. Видите ли на площади подвижной рынок, на котором торгуют женщины живностью, рыбою, зеленью? Посмотрите, как забавно дерутся эти две бабы за несколько копеек, переданных покупщиком; обе рыбные торговки, у каждой в руках по живому угрю, которыми они друг друга бичуют. Угорь скользок; однако же, они умеют этому помочь, схватив его рукою, натертою песком... Угри и лица окровавлены — пойдемте далее. Повернув направо, вы приходите к каналу, через который надобно переехать в пароме и заплатить за то дойту. Есть ли у вас сия монета? — Вы еще не знаете голландских денег? Их только пять разборов: червонец, талер, гульден, штивер и дойта. В червонце два талера; в талере два с половиною гульдена; в гульдене двадцать штиверов; в штивере шестнадцать дойт: следственно сия дойта составит почти три полушки наших.

Эта набережная называется испанскою. Видите ли здесь под крышею складываемый провиант с наших транспортов? — Здесь самая лучшая часть города. Маас величественно катит волны свои в море; корабли окружают берег лесом мачт своих и спорят тенью с густыми тополями, по краю широкой набережной стоящими; бриллиантовые окна в красивых домах, с выставленными зеркалами¹, повторяют в тысяче видов жизнь и деятельность сей набережной, волнуемой бедною народом.

Вот трактир с прекрасными банями. Вот жидовская си-нагога; вот шесть пушек, стоящих здесь на углу, но не для убийств — для возвещения городу достопамятных дней.

На сию набережную вступили французы в 1794 году, де-

¹ В чужих краях за окна выставляют зеркала, дабы в комнатах видеть происходящее на улице.

кабря 19 н. с., перешед чрез Маас, покрывшийся льдом; с сего места распространили они владычество свое, продолжавшееся почти 20 лет. Голландцы с ужасом воспоминают оное и благославляют российское оружие, избавившее всю Европу от деспотизма Наполеонова.

Переправимтесь опять чрез канал — и вы увидите Гойдские ворота, откуда направляются дилижансы в Париж чрез Гойду и Утрехт. В 36 часов спокойной езды вы можете быть в Париже.— Выглянем за ворота и посмотрим на сей ряд фабрик, окружающих город за каналом. Вот сахарная фабрика моего приятеля Бейера-Топа; вот белильная; там игольная и булавочная. Посмотрите вдоль дороги: там, на правой стороне, стеклянные заводы, налево кожевня и фабрика крепкой водки: тяжелый запах чувствителен даже здесь — пойдемте назад.

Здесь на набережной стоит Grot Schippers Huis¹ — трактир, в коем я жил сначала, и коего трактирщик с самою безобразною фигурою, какую только может создать природа, имеет самый острый ум. Его присловица, столь приличная трактирщику: *c'est clair comme du chocolat à l'eau*² заставляла меня много смеяться сначала.— Поклонитесь в этом доме сим двум девицам, дочерям здешнего натариуса, первым в городе красавицам, — а потом поворотим направо в адмиралтейство. В оном вы видите три заложенных к постройке фрегата, несколько старых галер, канонирских лодок и шлюбок — кораблей нет; камели стоят в Маасе. Посмотрите, как нашли голландцы тайну сохранять долговременно свои здания и доки; видите ли, что они подновляют пазы между кирпичами, вымазанные алебастром. Как скоро паз начнет крошиться, тотчас вычищают старую мазку и кладут новую.

Теперь мы пройдем жидовскою слободою, которая не запирается здесь по вечерам так, как в других старинных голландских и немецких городах; улица чиста не по-жидовски и одна из лучших в городе; направо Дельфтские ворота — и ежели вы хотите спокойно и дешево доехать до Амстердама, то садитесь в любой из сих пакетбогов, отправляющихся каждые три часа с почтою и путешественниками. На оных есть места разной цены: ежели хотите быть в добром сообществе, то несколько лишних копеек доставляют вам оное, и вы в 18 часов в Амстердаме. Здесь вы видите огромное

¹ Дословно «Большой дом моряков» (гол. — Сост.).

² Это ясно как шоколад (фр. — Сост.).

здание ученого общества, подле дом призрения. Проберем-
тесь теперь мимо газетного клуба на площадь пред биржею.

Какое движение кругом, в каналах и на улицах! — Подъ-
емные мосты беспрестанно пропускают корабли; деревянный
башмак, привязанный к веревке на палке, беспрестанно
наполняется в руках мостовщика дойтами, платимыми за
пропуск. — Подъемные лошади тянутся одна за другой бес-
прерывно и стучат по мостовой огромными подковами. Дея-
тельная промышленность изобретает все средства заменять
недостаток силы искусством: вы видите одного человека,
удобно вскатывающего тяжелую бочку на дровни посредст-
вом двух отлогих клиньев, к оным приставляемых. Высокая
лошадь для увеличения силы подковывается высокими тре-
ножниками и тащит дровни по камням. Вы удивляетесь и
думаете, что это тяжело; но загляните вперед дровней и уви-
дите в заголовке оных бочонок с водою, повернутый против
полозьев двумя дырочками, из коих беспрестанно изливается
вода на мостовую, и от сего дровни весьма легко едут по
скользкой струе. — Телега с овощами, носилки с зеленью, —
колясочки, запряженные козами и собаками, мелькают пред
глазами, не перемежаясь. Биржевые крикуны с колоколом
в руках, с печатными листами на груди и за спиною, возве-
щают таксу новым товарам; толпы народа следуют за ними
и увлекают нас до биржи. — Туда привезли партию нового
чаю: купцы собираются оценить оный, — посмотрим, как бу-
дут пробовать?

Вдруг расстанавливается множество маленьких фаянсо-
вых чайничков, подобных детским игрушкам; развешива-
ются на аптекарских весах золотники чаю и кладутся в сии
игрушки; мера горячей воды наливается; часы у всех выну-
ты, — считают секунды, и, по истечении срочного времени,
все купцы, непременно с тощими желудками и свежим вку-
сом, пробуют на языке китайскую жидкость, — бракуют —
откладывают — и назначают цену.

Вы подумаете, может быть, что чай, который они пробу-
ют — ханский, цветочный, разных сортов? — Нет: вся эта
мелочная внимательность для одного только простого чаю.
Русский купец возьмет на ладонь, разжует несколько лист-
ков — и определит вам цену и доброту чаю, но голландец,
который морем получает только самый обыкновенный чай,
непренеменно должен так поступать, дабы в самомалейшей
разнице доброты определить ему цену.

Здесь на бирже голландец — в государственном совете:
ничего нельзя сделать слегка, сказать, не обдумав, приняться

за товар без общего мнения,— проба чаю служит вам образчиком дел на бирже.

Посмотрите, каким прекрасным портиком мраморных колонн окружен сей пространный двор. Широкий помост и обширные переходы стонут от множества людей; эхо сводов сливается в один невнятный шум голоса аукционистов, оценщиков и крикунов.— Не занимает ли вас сия картина оживающей торговли голландской?

Но год тому назад биржа сия не наполнялась таким множеством народа; одни только подозрительные служители Наполеоновой таможни расхаживали по портикам и косо смотрели на купечество, лишенное почти всех своих выгод. Не гордые республиканцы — но данники Бонапарте с трепетом внимали таксе товаров и вспоминали с горестию протекшее время величия республики.

Но благотворное действие мира и возвращенной свободы не замедлило в продолжение одного года оказать своего влияния.— Уже деятельность пробудилась,— уже каналы полны кораблей, и доверенность прочих народов к характеру голландцев довершит остальное.

Теперь протеснимся до этой великолепной лестницы и пройдем на верх сего прекрасного здания — там кунсткамера. В ней нет уже ничего любопытного; мумии, редкие окаменелости, восковые кабинеты, коими славилась Голландия, украшают теперь Парижские музеумы. Все сии электрические машины, банки с уродами, камер-обскуры не заслуживают большого внимания.— Посмотрите только на сии семьдесят разборов писчей бумаги из всех веществ, на коей некогда писали и пишут теперь — и выйдем из сего жилища уродов подышать свежим воздухом.

Налево площадь Эразмова, так называемая по бронзовой статуе известного ученого Эразма. Подойдем к оной ближе: несчастный Эразм, отягощенный толстою книгою, закутанный в священническую тех времен одежду, к бесславию художника похож более на соляной столб, нежели на монумент славе Эразмовой.— Рассказать ли вам что-нибудь об Эразме?

Он родился здесь в Роттердаме в 1467 году, девяти лет он уже удивлял всех соотечественников своих; 14 лет писал самым лучшим языком латинским; 17 был принят в духовное звание — и столько прославился своею ученостию и острою по всей Европе, что, вызванный в Англию, в короткое время заслужил знатный пожизненный пансион. После сего он путешествовал по всей Европе и, возвратясь опять

в Англию, был принят с великою честью от короля Генриха VIII. Пришел однажды к знаменитому канцлеру Томасу Морусу и не давая о себе знать, столько обворожил Томаса своею любезностию и умом, что сей, поговорив с ним часа полтора, вскричал в восторге: *«ты или Эразм, или сам дьявол!»* Из его творений известнейшие суть: Похвала дурачеству и Сатирические сочинения. Он умер в 1536 году.

Хотите ли войти в сию кирку? — Еще обедня не кончилась. Посмотрите на добрых протестантов, сидящих в шляпах: они снимают оные тогда, как пастор читает Отче наш и благословляет их. — Высокие и узкие окна, мелкие стекла, инде граненные, инде расцвеченные разными красками, разливают какой-то благоговейный свет по сей мрачной церкви. Нехотя берешься за шляпу при входе, но голландцы привыкли к сим впечатлениям и, следуя своему обряду, не скидают шляп своих. — В прошедшую субботу был я в жидовской синагоге: там мне не позволили снять шляпы, и после попросили выйти вон, когда надобно было им читать священные скрижали Моисеевы.

Здесь есть церкви всех вер; Голландия покровительствует терпимости, но господствующие исповедания суть католическое и протестантское.

Вы устали? — Вот славный трактир Тюреня — войдемте отдохнуть — мы обошли весь город.

ПИСЬМО 5. РОТТЕРДАМ

Здесь, как и везде в чужих краях, ежели войска стоят в городе, каждому офицеру и солдату чрез три дня перемениют билет на квартиру, чтобы не обременять жителей.

Желая видеть домашнюю жизнь голландцев, я решился терпеть лучше беспокойство, нежели жить в трактире. Однако, вместо трех дней, у первого моего хозяина я прожил три недели, у второго месяца, а у третьего полтора.

Вот как живут голландцы.

Расположение домов везде одинаково: снизу устроены или кладовые или лавки, в коих передняя стена вся стекольчатая; во втором этаже чистые, или жилые покои; вверху спальня и детские. На лестницу из красного дерева или из мрамора идешь по ковру, заложенному бронзовыми задвижками; коридоры, находящиеся посредине этажей, выложены обыкновенно мрамором по полу и изразцами по стенам; на обе стороны расположены покси, устланные дорогами ков-

рами; мраморные каминны, зеркало во всю стену, штофные обои и занавесы, прекрасная мебель и бронза составляют принадлежность всех вообще покоев. В середине коридора кухня, пленяющая глаза чистотою. В ней вы видите маленький мраморный очаг, с медною решеткою и маленьким тревожником, под которым горит плитка турфу.— На этом очаге готовится все кушанье — и хозяин дому часто приглашает вас завтракать или пить чай в кухню, где вы поджариваете сами тосты, или смотрите, с какою чистотою, возбуждающею аппетит, вам хозяйка готовит завтрак. Мраморный пол и изразцы на стенах блестят как стекло; посуда горит как жар. Подле очага приделана ручка от помпы: стоит только качнуть три или четыре раза — и хрустальная вода побежит в мраморную чашу, имеющую отверстие в трубу, для стоку нечистоты из кухни.— Каналы на улицах имеют сообщение с бассейнами, находящимися под домами для воды, которая в некоторых домах пробирается в бассейн сквозь цедильный камень.

Маленькая узенькая лесенка ведет из среднего этажа наверх, где вы видите, большею частию, особенно для детей, вместо кроватей шкафы с постелями, запирающимися на день. Белье чистое, тонкое и перемениется дважды в неделю, что необходимо для здоровья в здешнем климате.

Для больших постели с шелковыми занавесками; три или четыре перины, два или три одеяла и, наконец, пуховик еще вместо одеяла. Сырой климат, а часто и холод, противу коего голландцы не имеют ни двойных рам, ни печей, заставляют их так кутаться. Фарфоровый или фаянсовый умывальник, с чистым каждый день полотенцем и с жидким мылом, готовы для вашей услуги. Мыло это, впрочем добротное, пахнет очень нехорошо, так что белье, вымытое недавно, всегда имеет запах. Снурки к колокольчику проведены из всех комнат.

Голландцы для себя живут хорошо, но только для себя: ибо отец, пришедши к сыну, порознь с ним живущему, во время обеда, остановится в дверях, скажет свою надобность и уйдет, не будучи приглашен сесть за стол. Три или четыре блюда, из коих большая половина овощей, всегдашний десерт и доброе вино составляют обед. Жаркое едят с картофелем, салат идет за особенное блюдо, а десерт, как-то: ягоды или плоды, пересыпав сахаром, едят с хлебом, маслом намазанным. Садясь за стол и вставая, до сердца трогаешься благочестием голландцев: один из детей читает вслух молит-

ву, и все, сложив руки и потупя глаза, молятся весьма благоговейно.

Мелочная точность голландская видна на каждом их шаге; иногда она хороша, иногда смешна. Например: мясник не рубит костей, а пилит их, чтобы не пропал для него вес в бесчисленных крошках, летящих из-под топора, чтобы фигура мяса была лучше, и чтобы в супе не оставалось костяных крошек, часто производящих дурные последствия — и это хорошо; но то для меня весьма забавно, что голландцы чай пьют с толченым сахаром, чтоб вернее меру сахару положить ложкою.

Вечер соединяет за работу или за чтение все семейство около стола или около камина. В холодные осенние вечера женщины ставят себе под ноги горшок с разожженным турфом. Такие ящики употребляются везде: услужливость предлагает оные за две или три дойты в театре и в церкви.

Так проходит вечер и оканчивается в 10 часов ужином — и так проходит вся неделя. Суббота назначена посещению родственников, воскресенье молитве поутру и гулянию за городом после обеда.

Одни женщины, можно сказать, ведут домашнюю жизнь. Мужчины бывают дома только ночью.

Голландец поутру бывает в своей лавке или конторе и сидит там до обеда; биржа занимает у него все послеобеденное время до пяти часов, а тут он, напившись дома чаю, идет в свой клуб, где сидит до 10 часов, читая газеты, куря табак и рассуждая о политических новостях, до которых голландцы великие охотники. Если пойти по домам в шесть часов после обеда, можно подумать, что город населен одними женщинами и детьми. Каждый мужчина, будучи непременно членом какого-либо клуба, повседневно присутствует в оном. Клубы состоят из людей разных свойств и состояний, что можно видеть из названий: мещанского, купеческого, стрелецкого и горного, клуба для чтения и проч. Иногда в клубах играют в вист, бостон, пикет, употребляя невозможную точность в счислении фишек. Мы в помножении игры бостонной отбрасываем от десятков единицы, не превышающие пяти: голландцы не пренебрегают ничем. Азартные же игры не только в клубах, но и нигде не в обыкновении.

Здесь любят также театр: многие ищут там своего развлечения. Для сего из Гаги приезжают королевские актеры и два раза в неделю голландские, а один раз французские представления. Военные офицеры за вход платят половину.

В субботу, назначенную для родственников, голландцы,

в кругу женщин, за трубкою табаку и за рюмкою вина оживляют понемногу воображение свое, удрученное расчетами купеческими в продолжение целой недели; и в такой беседе обыкновенно подают на стол вино, рюмки, ящик с новыми трубками, табак и медный сосуд с горящею плиткою турффу.

В домах, не строго следующих предрассудкам старины, собираются иногда приятельские общества и не по субботам. Бывают ужины, за которыми голландцы предаются всей веселости, какой они только способны, и здесь-то царствует непринужденное удовольствие. Французы остры на словах, голландцы в мыслях.— Одно заставляет более смеяться, другое делает более впечатления. Часто круговой бокал ходит по гостям, каждый, приняв его, должен петь что-нибудь, и гитара или фортепиано аккомпанируют голосу поющего.

Вставая из-за стола, каждый оставляет подле своего прибора по серебряной монете, штиверов пяти ценою — для слуги, который, впрочем, заслуживает всякое награждение за свою деятельность и расторопность.

Здесь по большей части девушки отправляют все домашние должности и проворство их превосходит всякое вероятие. В доме нет более никого, кроме кухарки и служанки, которые, сверх обыкновенных ежедневных работ, обязаны каждую субботу мыть полы, стекла, стены, посуду, серебро, словом: все, что мыть можно. Даже снаружи дома обливаются водою из ручных насосов, даже мостовую моют пред домом. Стулья, софы, перины, тюфяки, ковры чистятся и выбиваются. Такая чистота необходима, потому что сырой воздух и вредные испарения заражают все вещи гниlostью и плесенью, ежели их не держать в опрятности.

Кто бы поверил, что иногда бывает по улицам непроходимая грязь — от чистоты.

ПИСЬМО 6. РОТТЕРДАМ

В провинциях, лежащих к границам французским, голландцы становятся полуфранцузами; к границам немецким они изменяют также свой характер. Только здесь, в сердце Голландии, несмотря на беспрестанное обращение с иностранцами, они сохраняют еще в довольно степени оригинальность свою.

Может быть, продолжительная зависимость много переменяла их нравы, может быть, нынешнее бессилие изменит их еще более, и потому простите меня, друзья мои, что я в записках сих, сучая вам мелочами, до жизни голландцев

относящимися, хочу оставить память характера их в нынешнем состоянии. Каждая безделица, каждая подробность прибавляет нечто к абрису той картины, которую изобразить вам намерен.

Действие внешних обстоятельств необходимо образует характер человеческий, а для голландцев было довольно важных случаев долженствовавших дать направление их правам.

Некогда, в разговорах моих с одним благомыслящим голландцем, я ужасался тем жестокостям, которые Филипп II употреблял для достижения своих намерений, — я проклинал его, но приятель мой остановил меня. — Удержитесь, — сказал он, — проклинать того человека, который заслуживает, чтобы мы воздвигнули ему монументы. Он причиною нашего существования, причиною величия и благоденствия республики; без него мы остались бы до сих пор безвестным наследством какого-нибудь графа, или переходили из рук в руки по владетельным князьям Франции и Германии с приданным выморочных наследниц. Если он тиранством над нами хотел удручить нас под железным скиптром своим — мы от сего узнали себе цену; ежели преследовал — мы получили твердость духа и непреоборимое терпение; ежели бесчисленными войсками думал покорить нас — мы научились воевать и побеждать своих неприятелей. Ежели он хотел пресечь нам с моря всякое сообщение и уничтожить единственную подпору нашу, торговлю — мы завели свои флоты, истребили гишпанские — и обе Индии сделались наградою наших бедствий. Ежели он, следуя своим честолюбивым замыслам, издерживал сначала бесчисленные миллионы на свои войска во Фландрии и Брабанте — это послужило первым поводом к обогащению нашему. Словом, Филиппу мы всем обязаны, но более всего характером, сохранившим нас при всех усилиях судьбы и природы, которые вооружались противу нас в продолжение двух с половиной столетий.

В самом деле: от важного переворота, основавшего свободу голландцев, они в первые сорок лет своего существования совершенно сходились со Спартою — нравами, простотою, равенством и необычайною умеренностию. Патриархальные времена, казалось, снова появились в Европе. Замки и запоры неизвестны были жителям Голландии в то время; они, имея только необходимое и простое, не имели надобности и бояться соотечественников своих, соединенных вместе к сбережению от неприятелей общих стад и магазинов. Уб-

ранство и великолешие хижин состояло в одной чистоте, и роскошь всего менее была известна голландцам тогдашнего времени.

Беспрестанные сражения с неприятелями и бурною стихиею, которую им преодолеть надлежало, приучили их ко внимательности, непрерывной деятельности и терпению. Ежели можно было надеяться на счастье с одной стороны, то с другой надлежало совершенно ожидать всего только от терпения. Общее несчастье научило единодушию; немощные труды, поднятые для создания себе отечества — любви к оному.

В сей степени характеристики голландцы быстро переступили за предел бедности к изобилию. Они прежде сделались богаты, нежели могли потерять нравы; богатство сделалось для них общею целию к благоденствию республики, а не средством счастья частных лиц, и голландцы, богатые, изобильные, наводненные золотом и серебром, сохранили прежнюю простоту нравов, златую умеренность, а следовательно и твердость души, исчезающую по большей части с негою и роскошью.

Таково было состояние нравов при благоденствии республики. Но когда частные междоусобия начали раздирать государство, когда каждый гражданин, для обеспечения приобретенного трудами, начал считать свою собственность отделенною от собственности республики, единодушие исчезло, общественная доверенность истребилась, и эгоизм мало-помалу заступил место сих добродетелей. В республиках политические перевороты действуют на всех членов оной вообще, и потому в голландском характере вдруг увидели смещение пороков и добродетелей. Суровость, медленность, недоверчивость и скупость, соединенные с верностью, честностью и прямотою, делали голландцев каким-то феноменом посреди европейских народов.

Иго французов, удручавшее их в продолжение 20 лет, и беспрестанное обращение с ними изменило много наружность характера голландцев. Они остались по-прежнему добры, миролюбивы, терпеливы и хладнокровны, но научились из принуждения принимать на себя несвойственный вид: сделались предупредительны, надмеру услужливы, слишком внимательны; присвоили себе ветренность и легкомыслие французов и, не имея их любезности, стали отягочительны сими качествами. Ежели они кажутся иногда любопытными, энтузиастами, то чувствования сии перепли к ним от французов — они не настоящие, — они не свойственны.

Настоящая флегма голландская не терпит видимого энтузиазма, и, чтоб возбудить оную до восторга, то надлежит употребить столько же труда, как и разжечь турф, загорающийся весьма медленно, но зато после тот и другой горят неугасимым и продолжительным пламенем.

Со всем тем, ежели недоверчивость голландская, подавленная продолжительным рабством, удвоила свой эгоизм; ежели народная гордость молчала; ежели голландцы сделались скупее и корыстливее, то они, в самом деле, не были таковыми — они были только несчастны.

ПИСЬМО 7. РОТТЕРДАМ

Летом, когда все жители разъезжаются по дачам, частных и публичных увеселений весьма немного, но теперь ярмарка в городе, и увеселения мало-помалу начинаются. На сей раз, по уверению жителей, ярмарка открылась более для забавы, нежели для торговли. Военные обстоятельства помешали транзиту, и лавки наполнены были безделушками, а не товарами. Однако же, каналы, окруженные опрятными палатками, множество красивых вещей и красивых продавщиц, наполняющих оные; множество людей, толпящихся около тех и других; толпы площадных комедиантов и музыкантов; лубочные театры; крик арлекинов, марионеток; шум музыки; волны народа разных наций — делают ярмарку весьма занимательною.

Третий мой хозяин, полковник национальной гвардии С. Жакоб, бывший также подполковником Наполеонова почетного легиона, и в котором моя счастливая судьба подарила мне любезного друга, приятнейшего товарища и умного человека, доставлял мне несказанное удовольствие, разделяя прогулки мои. С утра до вечера я бродил по ярмарке; усердие С. Жакоба не отставало от моего любопытства; мы вмешивались во всякую толпу, вслушивались в новости, или подходили к красавице, торгующей перчатками, снурочками, ленточками. Я покушал ненужную ленточку к часам, или лишнюю пару перчаток, дабы иметь удовольствие поговорить с нею, или потрепать ее по румяной щечке. Устав, садились мы у дверей какого-нибудь клуба (в каждый почти я был введен моим хозяином), — и тут являлись пред нами фигляры и музыканты показывать за несколько копеек искусство свое. Веселье изображалось на всех лицах, и оно было непритворное. Кто веселится, не имея определенного вре-

мени своему веселью, никогда не чувствует насоящего удовольствия, наполняющего сердца тех, которые целые месяцы трудятся для приобретения в год двух недель веселых.

Это народный праздник; и хотя дела на бирже продолжают, но прочее все отложено; весь город с утра до вечера живет на улице — и хладнокровные голландцы, можно сказать, во всей силе слов веселятся на ярмарке.

Театр открыт каждый день: французские и голландские спектакли даются попеременно. В шесть часов идешь в театр, в 9 представление кончится и воксалы уже готовы на перемену удовольствия. Обширный сад иллюминирован по всем дорожкам, деревьям; огненные и цветочные гирлянды висят на воздухе; музыка гремит во всех углах сада; в беседках, в залах, на нарочно устроенных под открытым небом площадках танцуют; маленькие театры забавляют своими фарсами.

Однако на одном из сих театров я видел представление, которое возмутило мои чувства: жид представлял чрезвычайно сходственно Бонапарта и, подражая его телодвижениям и голосу, рассказывал о своих великих предприятиях, собирався исполнять оные; но толпа мальчишек, одетых во французские мундиры, после рабского повиновения отказывались слушать его, начинали издеваться и шутить над ним самым непристойным образом. Ненависть голландцев к французам и Наполеону заставляла их смеяться этим фарсам, но шутки сии низки. Лежачего не бьют, говорит наша пословица, а голландцы давно отвыкли от сражений — и не знают сего правила.

В два часа все утихает на улицах и в воксалах, один только стук деревянной шелкушки в руках ночного стража (Klabeg-man) нарушает мертвую тишину, царствующую в городе.

К осени все загородные жители съезжаются и частные увеселения принимают начало; между мещанством и купечеством начинаются вечера и балы — вскладчину. Некоторые, и особенно дворяне, живут открытым образом, но число их невелико. Однако ж, они имеют также, как и везде, лакомый стол, прихотливых супруг, щегольские экипажи, званных и незванных обедал и живут, как говорится, умеючи, но у них, также, как и везде, дружелюбие, искренность и веселость потеряны: место оных заступают холодная учтивость, застольная острога — и скука. Часто за сими обедами предлагали мне смешные вопросы: как мы пишем, как одеваются женщины наши; даже, есть ли у нас воскресенье? —

Странно, что все европейцы имеют особенные понятия о нас, русских, с тою разницею, что одни думают страннее других. Иные удивлялись чистоте выговора нашего и приятности наречия, воображая прежде, что русский язык есть не что иное как варварское лепетанье. Мы, русские, знаем даже, что в Гишпании едят Олду-потриду и пляшут саробанду, что турки запирают жен своих, что караибы убивают отцов, что голландцы скупы и хорошо солят сельдей, что французы скоры и легкомысленны, — а каждый из европейцев глядит на нас до сих пор как на чудо: голландец удивляется, что у нас нет такой бороды, как у казаков, по коим он судил о целой нации; француз думает сделать вам чрезвычайную учтивость, сказав, что вы похожи на француза, а, кажется, оружие русских довольно показало характер и обычаи наши всей Европе.

Забава молодых людей состоит в охоте; летом Маас, окруженный болотистыми берегами и травою, поросшею выше человека, изобилует всякой дичиною. Осенью травят зайцов. Удивительное множество уток заставило некогда Вольтера в досаде на голландских книгопродавцев при отъезде его в Англию сказать: *Adieu canaux, adieu canards, adieu canailles*¹, но ему отвечал некто: *Les canaux et les canards sont restés; la canaille est partie seulement*².

ПИСЬМО 8. РОТТЕРДАМ

Скажу нечто и о простом народе, но только мимоходом; к сожалению, я не знаю языка голландского, и потому не могу войти в подробности их жизни.

Увеселения народные прсты и невинны; толпы молодых мужчин, женщин, ребят ходят по улицам и распевают песни, но пьянства и убийства не видал я ни однажды во все продолжение пятимесячного пребывания нашего в Голландии, несмотря на то, что в каждом почти доме шинки изобилуют джином, дешевым продуктом здешним. Есть, впрочем, род кулачных драк, увеселяющих чернь, особенно во время ярмарок: двое бойцов раздеваются до пояса, в каждый сжатый кулак, между пальцев снаружи всовывают по штиверу, истершемуся в листок от употребления и так начинают сражение.

¹ Прощайте, каналы, прощайте, утки, прощайте, каналы (фр.— *Сост.*).

² Каналы и утки остались, а каналья уехала (фр.— *Сост.*).

Здесь искусство состоит не в том, чтоб наносить удары, но чтоб окровавить, исцарапать сколь можно более своего противника и тем принудить его к сдаче.

Одежда простого народа состоит из куртки, коротких штанов, деревянных башмаков и широкой шляпы; женщины убирают головы странным образом: полоса червонного золота в три пальца шириною огибает затылок и выходит вперед ушей завитками; уши обременены огромными серьгами того же металла; шея украшена несколькими цепочками также из золота. Странную противоположность составляет все сие убранство с коротенькими, не много ниже колен юбками и деревянными башмаками.

Между простым народом ведется еще обычай держать в домах кубышки, имеющие одно только отверстие, в которое опускаются деньги каждым членом семейства по произволу от избытка. Крайняя нужда заставляет разбивать кубышку и находить в ней посильное вспоможение. Оные обыкновенно или stanовятся в углу или вешают их на цепях, и каждый посторонний посетитель может невозбранно класть туда, что ему угодно.

Наши матросы весьма скоро подружились с добрыми голландцами, и можно было удивляться их разговорам. Бог знает на каком языке, который, однако же, был понятен тем и другим. Сначала русские, не привыкнув к обычаям радушных своих хозяев, сердились очень, что сии хотели их кормить травою, давали мало хлеба и оделяли так ими называемым дыравым сыром, оставляя для себя тот, который плотнее. Но когда мы растолковали, что спаржа и другие травы суть лакомства, коими хотели их подчивать, как любезных гостей — они помирились, но все лучше желали какой-нибудь похлебки и больше хлеба, нежели картофеля и зелени. Что же до сыру, то они никак не могли убедиться, чтоб сыр с дырочками был лучше плотного, которого, по словам их, один фунт стоил двух.

Здесь мало употребляют хлеба; картофель заступает большею частию место оного, и потому хлеб вообще нехорош, особенно ржаной, который пекут из худо перемолотой ржи.

Съестные припасы все дешевы чрезвычайно. В трактире за общим столом за 18 штиверов можно иметь обед, из четырех блюд состоящий, десерт из стольких же разборов плодов и полбутылки вина. За два гульдена можно иметь ночлег, чай поутру и вечеру, и обед.

Такая дешевизна и промышленность народная суть единственные причины, что здесь нет бедных, даже в городах нет

нищих, иногда встречающихся за городом, да и там мальчики и девочки, отправляющие это ремесло, просят милостыню более из шалости, нежели из нужды. Очень забавны эти толпы мальчишек: ежели им дадите две или три дойты, они отстанут, не сказав спасибо, если же откажете, они преследуют вас полверсты, превознося до небес щедрость, хваля великодушные и прося бога о ниспослании вам здоровья и долголетней жизни.

Простой народ чрезвычайно любопытен. Сначала несколько дней бегали за нами толпами, чтоб разглядеть хорошенько русских, — и теперь, когда уже прошло несколько месяцев нашему пребыванию, они окружают того из нас, кто остановится на улице.

Нравственность народная до сих пор мало уклонилась от законов целомудрия, честности и праводушия. Введенный французами разврат гнездится, как необходимое зло, в двух или в трех улицах. Правительство принужденным нашлось дозволить для своих гостей лучше небольшое количество жертв разврата, нежели запрещением одного развить соблазн повсюду. Ранние женитбы, строгие законы противу соблазнительей и соблазненных, а более всего деятельная жизнь, которою здесь каждый обязан и природная флегма делают весьма редкими проступки сего рода.

Воровство и другие пороки чрезвычайно редки по тем же причинам. Важные преступления наказываются ссылкой в колонии, но здесь нет бедных, нет нищих — судопроизводство коротко — тюрьмы не образуют злодеев, и оттого здесь мало сих важных преступлений.

Казалось бы, несчастьям должно было опустошить Голландию, но, напротив того, оные удвоили ее население. Каждое неприятное происшествие, усиливая терпение голландцев, умножало их промышленность и сим самым увеличивало размножение народное. Притом же кроткая терпимость и строгие законы, обеспечивающие граждан в своих правах, привлекали сюда непрерывно новых поселенцев. Нантский эдикт Людвига XIV противу гугенотов прибавил к сей земле знатную часть поселения. Пространство 1164 квадр. миль, несмотря на нездоровый климат, обитаемо 5 126 400 жителей, и потому превосходит население всех в Европе государств. Однако же, сырой воздух, дым турфу и каменных угольев, делаю голландцев флегматиками, заставляет их стариться прежде времени. Вы видите множество молодых стариков, безволосых, беззубых, кривых, хромоногих, горбатых от действия климата, переменчивого и непостоянного. К сим есте-

ственным причинам присоединяются и случайные от построения домов, в коих вообще покой, детям назначенные, располагаются вверху. Дети, за коими присмотр не велик по недостаточной услуге, бегая часто по крутым и узеньким лестницам, часто падают и ушибаются — и остаются на всю жизнь уродами.

Странная одежда большей части голландцев, держащихся еще старины, множество несчастных, обиженных природою и случаем, и особенный характер делают землю сию совершенно странною оригиналов.

Мужчины вообще в молодости красивы собою, но мало-рослы и бессильны; редко вы увидите высокого человека. Бледный цвет лица и преждевременная старость встречаются вас повсюду. Однако же, воздержание и трудолюбие продолжают жизнь, предохраняя от болезней. Примеры долголетнего существования здесь нередки. Женщины статны, вообще хороши собою; но я не видал в Голландии ни хороших рук, ни ног, ни зубов, главного преимуществва красоты.

Из простого народа набирается регулярное войско, из граждан составляется временное ополчение, называемое национальною гвардиею, для предупреждения по городам беспокойств в военное время.

Забавно видеть такое ополчение: полковники и солдаты, оставляя фронт, превращаются вдруг в табачных и чайных продавцев, спорят между собою на бирже и повелевают друг другом на сборном месте.

Вест-Индия истребляет много регулярного войска. Желтые лихорадки, невоздержность и худой присмотр заставляют комплектовать каждое пятилетие посылаемые туда полки. Возвращаются оттуда весьма немногие; но желание прибыли, хорошее жалованье и, как рассказывают, свобода — приманивают туда беспрестанно новых охотников. При нас возвратился один из бывших там полков и не мог похвалиться ни своею дисциплиною, ни нравственностью.

Здесь все употреблено, дабы облегчить участь солдата. В отечестве совсем он не заботится ни о содержании, ни об одежде. Город дает ему первое изобильно, казна второе даже с избытком. Офицеры обеспечены также насчет содержания совершенно. Служба солдата продолжается только десять лет.

Голландцы столько тщеславятся участием 18-ти тысяч своего войска в сражении под Ватерлоо, что едва не называют себя избавителями Европы. Принц Фридрих, начальствовавший войсками, был ранен в левое плечо.

На сих днях мы трое были в Амстердаме. Дилижансы и пакетботы отправляются туда непрерывно; однако же, мы предпочли взять особенную коляску, дабы более воспользоваться кратковременным позволением нашего путешествия, и лучше видеть окрестности.

Выехав из Дельфтских ворот и миновав прекрасные предместия, многочисленные фабрики и загородные дома, очутились мы на равнине, на которой, как на плане, рисовались маленькие городки, деревеньки, местечки, соединенные между собою каналами, по коим под парусами и лошадьми тянулись бесчисленные суда. Все промежутки усеяны были скотом, пасшимся на тучных пажитях. Дорога бежала по высокой насыпи и потому глаз мог обнимать весьма обширное пространство. По обе стороны дороги целыми стенами стоял турф и отражал свое изображение в ямах, из коих достают оный. Болтливый почтальон, разумевший по-французски, объяснил нам, как делается турф. Режут дерн в сих болотистых ямах, рассекают плитками, сушат и обжигают, ибо без сего предварительного действия он не годится к употреблению. Это благодетельное вещество греет всю безлесную Голландию, где вязанка хворосту стоит гульдена и более. Долго надобно разжигать турф; долго, пока не пройдет пламень и дым, пахнет оный очень дурно; зато после плитка горит часов шесть без всякого уже запаха. Ямы зарастают опять чрез два года, и трудолюбивые голландцы, невзирая на притеснения их махечи — природы, не имеют недостатка в тепле. Угля каменного здесь много, но турф употребительнее.

На море, в отдалении нескольких миль от сей земли, случается часто при ветрах, дующих с берега, чувствовать сильный турфяной запах:

Скот, оставляемый на день без присмотра, к вечеру загоняется домой, прежде падения росы, которая здесь так сильна, что ввечеру ложится густым слоем тумана и промачивает насквозь одежду. Действие оной вредно как для людей, так и для скота, выгоняемого на паству — не прежде утра она поднимется. Странно видеть за городом росу сию — идучи по дороге, видишь одни головы у встречающихся с тобою, даже не видать иногда собственных ног.

На пастбищах поставлены китовые ребра, около которых скотина трется для защищения себя от насекомых. Во многих селениях есть ворота, сделанные из челюстей и ребер китовых, кои суть памятники ловли, процветавшей некогда

у голландцев и подорванной англичанами. Сельдяной промысел, который прежде первые имели право производить у самых берегов Англии, остался единственным, коего властители морей перебить у голландцев не могут.

Ветряные мельницы около плотин находятся в беспрестанном движении и, так как голландцы механике мельниц обязаны своим существованием, то оные, можно сказать, устроены превосходно. Сделанные в прежние времена обращаются на своем основании. Другие же, в новейшие времена поставленные, неподвижны, кроме мельничной головы с крыльями и шестернею, цепляющею за матичное колесо. Многие мельницы крыты соломою сверху донизу, точно так, как кроют в Эстляндии корчмы, и солома, таким образом положенная, держится по несколько сот лет. На одной мельнице я видел надпись: Anno¹ 1682, которая, возбудив мое любопытство, заставила меня спросить хозяев, была ли хотя однажды перестроена или возобновлена мельница? По ответу я должен был удивляться крепости постройки и прочности соломенной покрывки, ибо с самого построения мельница не требовала никаких поправок, кроме необходимых перемен в механизме.

Таким образом, выходя беспрестанно из коляски, распранивая и любопытствуя, — мы доехали до Дельфта.

Я не сказал бы ни слова о нашем здесь завтраке, ежели бы он не был тесно связан с достопамятностями сего города: Дельфт славится белым хлебом — и действительно — я нигде и никогда не едал лучшего. Хлеб сей запрещают вывозить из Дельфта, и для того на нем есть штемпель города.

Дельфт построен еще в 1075 году герцогом Готфридом Лотарингским и отправляет значительную торговлю по Маасу; здания оного красивы, пороховой и литейный заводы с отменной высоты стенами, висящими над большим каналом, имеют нечто важное. Проезжая Дельфт в воскресенье, не могу ничего сказать об артиллерийском и инженерном училищах, кроме того, что виденный нами физический кабинет богат машинами и моделями. Знаменитой фаянсовой фабрики также не видали, но зато посетили соборную церковь, в коей поклонились праху Вильгельма Нассау, принца Оранского, освободителя Голландии. Сей великий человек был тех твердых характеров, кои воспламеняются препятствиями. Скитаясь по Германии и набирая войско, не мог никого более вооружить против гонителей отечества, кроме протестантов, но, чтоб согласить их, надлежало самому быть тем же: и он, рожден-

¹ Год (лат. — Сост.).

ный лютеранином, крещенный Карлом V, коего он был любимцем, в римско-католическую веру, по необходимости сделался протестантом. Разбитый и торжествующий попеременно, он занимает провинцию за провинцией и объявляется, наконец, штатгалтером от народа, быв прежде оным от короля Гишпании. Семь провинций соединяются Утрехтским союзом и наносят страх Филиппу. Посылаются новые губернаторы, новые штатгалтеры — и славный Александр Фарнезе, герцог Пармский, начинает войну с Вильгельмом, оценив голову сего последнего по приказанию Филиппа, как бунтовщика и государственного преступника, в 25 000 талеров.

Уведомленный Вильгельм велит сказать Филиппу, что он мог бы поступить сам подобно ему, но презирает столь подлое мщение, и только от меча и правого дела надеется своей безопасностью.

Убийцы стекаются со всех сторон отмщевать Филиппа. Испанец Николо Сальцедо и итальянец Франческо База ищут его смерти, но оба пойманы, и один, в Париже разорванный четырьмя лошадьми, другой от самоубийства, оканчивают дни свои. Испанец Жориньи ранит его из пистолета и, наконец, Балтазар Жерард, уроженец Франшкомте, убивает его в Дельфте, в глазах супруги, лишившейся также подкупленным убийством первого мужа, равно как и отца своего, адмирала Колиньи. Однако ж убийство совершено было не из жадности к корысти, обещанной Филиппом, но по внушению фанатизма. Жерард клялся, что был руководим верою и вдохновением.

Вильгельм умер как герой. Последние слова его были: «Боже, в руки твои предаю дух мой и народ мой!»

Памятник сделан из черного мрамора, на коем под богатым навесом лежит белое мраморное изображение Вильгельма в полном вооружении тех времен.

Здесь также погребен знаменитый Гуго Гроций, которым славилась Голландия, и который, подобно всем великим талантам, был преследуем при жизни, почтен по смерти; дважды изгнан из отечества и принят в других государствах с почестями. Франции и Швеции он посвятил службу свою; Гишпания, Дания и Польша искали его дружбы. Наскучив, наконец, жизнью вдали от родины, отправляется он из Швеции морем, но, застигнутый бурей, на дороге к Росток умирует, благословляя отечество. Прах его перевезен сюда уже из Ростка.

Осужденный на вечное заточение в замке Левенштейне, он был избавлен чудесным образом своею супругою, кото-

рая, подвергая жизнь свою опасности, вынесла его из замка в сундуке с книгами.

Будучи глубокомысленным ученым, истинным философом, мудрым политиком и соединяя в себе все качества славнейшего министра и благомыслящего гражданина, мог ли он не возбуждать зависти?

Мавзолей прост, но память великого мужа украшает оный.

Высокие окна церкви расписаны историческими происшествиями из революции. Искусство живописи по стеклу, потерянное в наши времена, видно в сей церкви во всем совершенстве. Краски, втравленные в стекло, не изменились, живы и рисунок чрезвычайно хорош: фигуры сделаны во весь рост, жаль только, что переплет окончин пересекает их бесчисленными квадратами.

Высокие своды, мрачность огромной готической церкви, гул шагов, памятники великих мужей и великих событий внушали какой-то благоговейный ужас. Той мысли, тому понятию, какое мы созидаем в душе нашей о величии бога, приличествуют сии исполинские храмы, в коих человек невольно чувствует ничтожность свою.

ПИСЬМО 10. ГАГА

Выехав в полдень из Дельфта, в 2 часа мы были уже в Гаге, старинном наследии графов голландских, нынешней резиденции короля.

Город сей расположен за приморским валом при Норд-Зее совершенно по новейшему плану; нет готических строений; улицы широки и прямы; каналы не крестят города; площади часты и правильны — и даже жители не имеют на себе отпечатка голландской оригинальности, отличающей народ сей от других народов.

Королевский дворец невелик, и даже я воображал более о богатстве и великолепии оного. Может быть, долгое отсутствие хозяев было тому причиною. При нем один только миц-кабинет и собрание редкостей натуральной истории заслуживают некоторое внимание. Из дворца можно пройти в залу Генеральных Штатов, которая при нас отделялась по новейшему вкусу. Дом Штатов старинной архитектуры и украшен многими картинами голландской школы и истории, между коими я заметил одну только, Рембрантовой работы, величины чрезвычайной, известную под названием *Голландской стражи*. Тридцать шесть фигур во весь рост изобража-

ют происшествие из революции и освещены двойным светом луны и факелов. Эффект удивителен, но Рембрант не был историческим живописцем — он сделал только тридцать шесть верных портретов — а не картину.

В сих-то домах две власти попеременно одерживали верх одна над другою. Республика желала удержать свободу; тут штатгалтеры искали неограниченной власти. Но защита самых жарчайших патриотов не помогла, и республика преклонила колена перед самодержавием. Голландцы бедные, коих единственным сокровищем была свобода, действовали сильно противу Филиппа, но когда богатство привязало их к сей жизни, когда страх потеряния вольности разделялся со страхом потери богатств, — они слабо защищали права свои, действовали нерешительно, и властолюбивый, предприимчивый дух одного человека превозмог медлительность многих.

Вот славные северные ворота, ведущие во дворец, чрез кои самовластие вступило в Голландию.

Я вам расскажу, каким образом: правление народное состояло тогда из представителей провинций; представители избирались из депутатов городских, сии же назначались из депутатов малых городков и деревень и состояли из низших классов народа.

Штатгалтеры должны были заседать во всех трех собраниях, дабы сила народная везде равновесила единовластие. Но когда последнее преступило границу, когда штатгалтеры начали домогаться самодержавия, им надлежало иметь постоянную подпору, надлежало восходить до первоначальных источников противоречащей власти — искать приверженности народной. И как могли они полагаться на высших членов правления, переменяемых периодически, тогда как народ оставался тот же и усиливал или ослаблял управление выбором представителей?

Следственно, все было употреблено для обольщения буйной черни. Многие благомыслящие граждане сделались жертвами своей приверженности к республике. Народ, стоглавое, но слепое чудовище, растерзал де Виттов и других граждан и готов был на всякое новое злодеяние.

Вильгельм V не опускал из рук сего способа к поддержанию власти своей, и лаская народу, оскорбляя граждан, готовил рабство республике. Показываясь во всем блеске самодержавца, требовал исключительных прав его, заменил гербы республики своими, наконец, запретил въезд в северные дворцовые ворота прочим гражданам, предоставляя оные одному себе. Умы были в волнении; штатгалтер, поджигаемый

английского политиком в лице посланного Гарриса, более и более показывал пренебрежения к гражданам — но патриоты еще не репались, а меры были необходимы — как одно неожиданное приключение решило судьбу штатгалтера и республики.

Гизелер, молодой, пылкий человек и жарчайший патриот, решился пожертвовать жизнью своею за отечество и возбудить нерешительность республиканцев. Едва не убитый в одной из своих прогулок злобною чернью, он не утратился верной смерти и отважился 17 марта 1787 въехать в штатгалтерские ворота, в коих неистовствующий народ бросился на его карету толпами, и уже Гизелер висел над глубоким рвом, чрез который по мосту должно было проезжать в ворота — как отряд конницы выхватил его из челюстей смерти.

Смятение сделалось всеобщим; нельзя было долее допускать штатгалтерской власти. Гизелер приобрел доверенность патриотов — и штатгалтер был унижен и отрешен.

Но Фридрих Вильгельм III, король Прусский, коего сестра была штатгалтеровой супругою, возбужденный также политиком английскою, вступился за обиду, нанесенную голландцами его родственнику, — двинул войска свои — и завоеванная республика пала снова под стопы Вильгельма V.

Увеселительный королевский замок, называемый *Схевенинг*, лежит на берегу моря, в трех верстах от Гаги. Плоское местоположение за валом украшено по возможности, сад расположен со вкусом. Загородное публичное гулянье состоит из трех или четырех каштановых и липовых аллей довольно длины, по коим вдруг и пешие и конные прогуливаются. Примыкающий к сему гулянью лесок носит имя зверинца, но это дворянин, которому титла достались по наследству.

Мы пробежали библиотеку, заглянули на пушечный двор, прошли мимо театра и поехали далее.

Мне не нравится Гага. Это эстамп с картины фламандской школы, вставленный в красивые рамы. Он не имеет ни красок, ни живописи своего оригинала.

ПИСЬМО 11. ГАРЛЕМ

Нет земли, столь обильной происшествиями исторически, характерностию народа и достойными внимания путешественников предметами, как Голландия. Каждый уголок действовал и оставил по себе или разительные черты для воспоминаний, или памятники наук и художеств. То и другое

приятно; первое, действуя на воображение наше, заставляет благоговеть к последнему. С каким удовольствием ищешь, рассматриваешь достойное любопытства в тех стенах, кои оснащены какими-нибудь важными деяниями народными! Гарлем также наводнялся кровию граждан и противников их свободы: Филипповы войска преследовали здесь укрывавшихся республиканцев. Когда гишпанцы, осаждавшие Гарлем, перекинули в оный голову одного из пленников голландских, гарлемцы в тот же час выбросили одиннадцать голов гишпанских с надписью: *десять голов в заплату долгу и однанадцатая для проценту.*

Гарлем известен всем любителям естественной истории. Все знают, что в нем есть прекрасные цветы, что гарлемские капли славятся всеобщим употреблением во многих болезнях, но редкие, думаю, слышали, что Гарлем был отцом распространения наук в Европе. Уроженец оного, Лаврентий Кистер, первый изобрел искусство книгопечатания, вырезывая на досках целые страницы. Иоанн Гуттенберг был только последователем Кистера, изобретши после него подвижные буквы.

Ботанический сад достоин всякого внимания; библиотека многочисленна, анатомические кабинеты весьма занимательны; органы соборной церкви огромны, 8000 органных труб, из коих средняя в 40 футов вышиною, весьма удивительны, — но для меня всего любопытнее был дом Лаврентия Кистера.

Счастливая мысль озаряет одного человека, но действие оной простирается в бесконечность. Так камень, брошенный в тихую воду, упадет на одну точку и, распространяя круги около оной далее и далее — наконец, заставляет двигаться всю стихию. — Благословление памяти Кистеровой!

Видали ль вы когда-нибудь золотых рыбок, которых сажают у нас за редкость в прозрачный хрусталь и веселятся блеском их прекрасной пурпурно-золотой чешуйки? Здесь, в Голландии, а особливо в Гарлеме этими рыбками наполнены целые пруды. Голландцы вообще любят всех животных; у каждого есть особенно любимое — и на прогулках вы увидите почти каждого с собачкою на ленточке или на шнурке из предосторожности. За городом во всех каналах плавают лебеди, содержимые на государственном иждивении. Птица сия почитается у них священною, равно как и аисты, которых гнезда вы увидите по деревьям почти на каждой трубе. Убить аиста или лебедя значит совершить государственное преступление.

Дорога от Гарлема до Амстердама была весьма скучна для нас. На каждой станции мы останавливались, чтоб платить подорожные деньги или давать кучерам не на водку, но на хлеб лошадям, который они дают им с солью.

Солнце уже село, луна едва светила сквозь облака, туман проницал нас, дремавших под усыпительное колебание коляски, но стук колес под сводами ворот и гром цепей подъемной решетки пробудили нас: мы приехали в Амстердам.

ПИСЬМО 12. АМСТЕРДАМ

Целый день посвятили мы любопытству; ходили по городу, осматривали достойные примечания и, наконец, взбежали на самый верх башни, поставленной на ратуше, бывшей некогда дворцом Людовиковым. Величественная панорама открылась тогда взорам нашим, и мы увидели то в целом, что осматривали порознь. Обширный Амстердам, более 20 верст в окружности, разделялся высокою плотиною надвое: одна половина стояла на земле, другая на море. Публичные здания гордо возвышались свои верхи; там залив Зюдерзейский с обширную гаванью, в коей тысячи кораблей меняли свои товары; здесь великолепная биржа, загроможденная всесветными произведениями, тут адмиралтейство, в котором устройство, превосходство магазинов и удобство работ удивительны. В оном один корабль спущен на воду; два корабля и четыре фрегата заложены; маленькая яхта на старинный образец голландский отделяется для государя нашего. В сих магазинах хранятся модели батарей, некогда предположенных Наполеоном для высадки своих десантов в Англию. Оные совершенно имеют фигуру полевых редутов с полиссадами и амбразурами и довольно обширным пространством для помещения значительного количества войск. Так желание владычества ослепляло Наполеона! Он предполагал, что море не смеет ничего сделать противу честолюбивых замыслов неумеренного счастья, не думал, что одна минута может истребить все бесчисленные жертвы необдуманного предприятия.

Медленность работы в сем адмиралтействе вознаграждается удобством оной: один человек ворочает огромные дубовые брусья, подымает великие тяжести.

Здесь открывается заднею своею стеною один арсенал, — там другой, третий — всех шесть. Их много числом, но мало в них вооружения. Вот дом Ост-Индийской Компании; тут большая госпиталь; эта и несколько других содержатся на го-

сударственном иждивении: чистота удивительна, присмотр отличный, и больные за малую плату лечатся очень хорошо. В правой стороне простирается жидовская слобода, подверженная доселе старинным законам, запираемая с вечернею и отворяемая с утреннею зарею, нечиста, неопрятна, потому что жида здесь в презрении. Народ сей со всем несчастьем, поражающим оный уже близ 2000 лет, не изменил своего характера, будучи рассеян по всему свету. В Гишпании, в Турции, в России вы найдете еврея с теми же привычками, пороками, страстями. Терпимость вер доселе еще не совершенно примиряет нас с евреями.

Вот банк Амстердамский, учрежденный в 1609 году; четыре флигеля примыкают к нему, каждый окружен пристройками. Было время, когда главный корпус не вмещал сокровищ государственных, и для того эти многочисленные пристройки лепятся около банка. Но сокровища уже не существуют; они или пожрали сами себя, или послужили жертвою обману, или сделались добычею хищничества.

Голландцы, притесненные Гишпаниею с суши и моря, завели свой флоты; соперничество с одной стороны, желание мщения с другой искали друг друга на всех морях и, мало-помалу, завоевания и приобретения Гишпании и Португалии перешли в руки деятельных, неутомимых голландцев, поддерживаемых умеренностию и мудрым правительством. Наконец, богатства всего света полились в недра Голландии. Процветающая торговля, покровительствуемая сильными флотами, сделала Голландию всесветным магазином. Амстердамский банк возрос до той степени богатства, что перестал принимать капиталы или не платил уже процентов, и народное богатство, возрастая беспрерывно, не имея способов к обращению, превратилось в роскошь. Серебро, золото начали изменяться на тысячи видов: домашняя посуда, туалеты, кровати, шины на колесах, даже лошадиные подковы делались из сих драгоценных металлов; и Голландия была волшебною странною, какою описывают нам в сказках царство феи Морганы.

Это был тахітит ее величия. Отсюда она начала склоняться к своему падению по общим законам природы.

Республика пала от излишества богатств своих и от политики. Первое было *причиною*, второе *действием* зависти англичан.

Разберем сперва политические причины.

Желание самодержавия было всегдашним камнем преткновения слабости человеческой. Штатгалтеры Голландии бы-

ли также люди, и потому могли ль они довольствоваться ограниченным своим состоянием? Ревностные патриоты, видя возвышающуюся власть, уничтожали штатгалтерство и снова учреждали оное, когда того требовали нужды республики.

Республиканцы любили отечество, штатгалтеры имели друзей, и потому государство необходимо должно было разделиться на две партии.

Англичане, не могшие равнодушно смотреть на счастье своей соперницы, всеми мерами старались поселить раздор между обеими сторонами. Зная, что для утверждения неограниченной власти нужны войска, они поддерживали штатгалтеров, дабы с умножением войск ослабить флоты Голландии. В сем случае они пользовались двойною выгодкою: первая, что флоты, вредные для них, приходили в упадок, а вторая, что с увеличением сухопутной силы Англия больше могла иметь действия на враждебную ей Францию.

От Франции также не могли укрыться хитрые замыслы английской политики. Она всячески поддерживала республиканцев, и Голландия, в сих смятениях не могшая обойтись без штатгалтера, сделалась полем междоусобных браней и кровопролитий; вовлеченная в частые войны то с Франциею, то с Англиею, слабела и истощалась; и, наконец, принужденная интригами последней к раздору с Пруссиею, пала и тем открыла Англии полное владычество над морями.

Теперь следуют причины интереса, шедшие рядом с политическими переворотами.

Связи штатгалтеров с Англиею, возрастающая торговля сей державы и желание выгод заставили голландцев обратить туда свои капиталы, остававшиеся без движения в отечестве. Амстердамский банк не давал никогда более полупроцента. Англия давала два, другие давали более. Франция, Австрия, Польша занимали деньги — и богатства Голландии потекли быстрым потоком вон из государства. Англия, получив силу, отняла у голландцев китовую ловлю, заключила сельдяной их промысел в тесные пределы, овладела колониями в Индиях и, подорвав тем самым все отрасли торговли, обанкрутилась сама. Французская революция, польская война также дешево расквитались долгами своими, — и, наконец, Наполеон овладел самим банком Амстердамским.

Так исчезло богатство государственное, но Наполеону скоро не достало сокровищ ограбленного банка. На все вещи, сделанные из золота и серебра, наложена была пошлина; позволение иметь вещь из сих металлов стоило того же, что она сама, и так голландцы решились снова переделывать вещи

на деньги. Но тем удобнее было перевести оные в руки Наполеоновы: бесчисленные контрибуции доставляли к тому способ и, наконец, континентальная система, война с Англиею, монополия Наполеона, сделавшегося откупщиком табаку, главного продукта Голландии, довершили упадок торговли, а следственно и благосостояния государственного.

При Наполеоне позволено было иметь серебряную ложку и вилку беспрошленно, но за серебряный черен на ноже надобно было платить деньги. Бесчисленные шпионы наблюдали, чтобы никто не смел искрошить сам себе на трубку табаку, и малейшее подозрение стоило состояния несчастливцу, оное возбудившему. Однако же, сколько ни высасывал Бонапарте Голландию в продолжение 20 лет, богатство народное не совсем истощилось.

Там вдали, к нагорной стороне, вокруг города изгибаются высокие валы; красивые каштаны осеняют бульвары, на них расположенные, и пестрые толпы жителей весело расхаживают. Между раскинутыми палатками, где ярмарка, за коей мы сюда вслед приехали, купцы раскладывают свои товары. Какая противоположность удовольствия с ужасными орудиями смерти, по зубчатому валу часто размещенными! Не для того ли везде прогулки бывают на городских валах, чтоб ознакомить жителей с собственною защитою — исподволь приучить к мысли о войне?

Сии-то валы окружались неоднократно водою, затопляшею окрестности Амстердама, от них-то испанцы при Филиппе и французы при Людовике XIV отступили со стыдом, не могли перелететь за оные чрез воду, подобно голубям, которых осажденные посылали с нужными известиями.

Но эти же валы, те же наводнения и все предосторожности не спасли Амстердама от французов, которые в 1794 году, несмотря на затопленные поля, соутствующие счастьем и жестокою зимою, впервые там бывшею, вошли по льду в Амстердам.

Внизу башни, на фронтоне ратуши, стоит Атлант, держащий на своих плечах шар земной — эмблема гордой республики! Некогда шар сей обращался около своей оси, показывал течение времени — теперь он стоит неподвижно, — теперь время показывает на нем течение свое.

Я не скажу ничего о бесчисленных фабриках, об академиях, училищах, институтах, ни даже об этом доме, назначенном для воспитания 4000 детей, — я пробежал весь город в несколько часов.

Бедны те путешественники, коим назначен короткий срок

путешествия — им не остается тогда ничего более, кроме панорамы!

Однако мы видели в Амстердаме более, нежели двое англичан, живущих с нами в одном трактире и приехавших туда из любопытства уже близ полутора месяца.

Мы сошли вниз.

Ратуша сия воздвигнута из прекрасного мрамора и украшена многими статуями и барельефами. В верхнем этаже расположены редкости, восковые анатомические препараты, дорогие картины и минц-кабинет. В последнем я видел две медали, обратившие мое внимание: первая сделана была в 1672 году на смерть двух братьев, Иоанна и Корнилия де Виттов, из которых старший убедил голландцев уничтожить штатгалтерство во время малолетства Вильгельма III и тем заслужил благодарность народную, но когда Людовик XIV внес войну и опустошения за наследство испанское в сердце Голландии, когда принуждены были восстановить Вильгельма III, — де Витты были преданы казни от того же самого народа, который незадолго называл их защитниками отечества. Они изображены на медали привешенными за ноги к позорному столбу. Другая медаль есть не что иное, как талер голландский, выбитый Вильгельмом III в 1677 году в унижение патриотов. Обыкновенно на талерах изображается рыцарь с пуком стрел и поднятым кверху мечом: на этом же талере рыцарь изображен с мечом, опущенным книзу. Голландцы старались истребить все талеры и только минц-кабинеты сохраняют их.

Во втором этаже сверху жилые покои; в третьем присутственные места; в нижнем службы; в погребах кладовые. Здание утверждено на 13 тысячах свай. Весь Амстердам есть единственный город, построенный в Голландии на сваях; вы видите дома и улицы и не воображаете, что под ногами ваши — бездна.

Насчет таковой постройки города учреждена особенная комиссия, свидетельствующая каждые три месяца свай под всем городом, под всеми домами. Негодные заменяются новыми, но если каким-либо случаем повреждение оных может быть опасно дому, комиссия предупреждает хозяев и жильцов и, заставляя их заблаговременно выбираться, вспомоществует перестройке дома суммами из кассы, при комиссии имеющейся. Для сего с оценки дома платится некоторое положенное количество, равно как и в страховую контору. Здесь страхуют дома от огня и воды.

Несмотря на то, что Амстердам погружен, так сказать, в

воду — здесь нуждаются водою. Амстель, протекающий по одной только половине города, стоящей за плотиною, и который можно назвать более ручьем, нежели рекою, ниже моря, и не протекает. Воды его стоячи, нездоровы и смешаны с соленою, проникающую сквозь искусственные берега водою; в прочих каналах морская вода также горька и, застаиваясь, причиняет смрадный запах, несмотря на густые деревья, посаженные по берегам и много способствующие к очищению воздуха. От сего водяной откуп один из богатейших торговых компаний в городе. Воду привозят издалека и продают дорого. На крышке каждого дома сделаны хранилища для дождевой воды, которой ни одна капля не упадет даром, но иногда целые месяцы нет дождя, одной росы недостаточно для хранилищ — тогда компания торжествует.

Вот изображение Амстердама, бывшего сначала своего существования бедным рыбацким местечком; в 18 столетии первым на свете торговым городом; после порабощенным и изнуренным, но славным еще и доселе своими заведениями и торговлею!

ПИСЬМО 13. САРДАМ

На другой день мы были в Сардаме. Дорога туда идет вдоль берега, по насыпи, удерживающей море, грозящее каждую минуту поглотить всю Голландию. По правую сторону дороги, до синей дали, взор не может отдохнуть ни на каком предмете: бесконечная плоская равнина, рассеченная каналами, костры турфу, изредка рассеянные мельницы, едва приметные по горизонту городки — вот все, что утомленное единообразием зрение могло встретить. Напротив того, по левую сторону веселые воды Зюдерзейского залива, объятые в полкруга насыпью и покрытого кораблями, плывущими во все стороны, рыбацьи лодки, а более всего начинающийся прилив, делали картину моря гораздо занимательнее. Каждые двенадцать часов море возвышается у берегов голландских от 10 до 18 футов, смотря по положению места, и здесь, в продолжение пути нашего, черные воды Океана видимою грядю и не мешаясь с желтыми водами Зюдерзейскими приближались к берегу. Вода прибывала, волны становились мельче, толпились, толкались, остроконечные верхушки оных прыгали на значительную выпшину, рев спорного течения слышен был издалека; — наконец, опененная гряда сия, гоня пред собою скачущие волны, с яростию ударилась в насыпь. Мелкие

брызги соленой воды окропили нас, на верху вала едущих, и, казалось, будто вал дрогнул от удара. Всплески бросались на стену, вода кружилась, пенилась, мутила песок, но, ослабевающая мало-помалу, чрез четверть часа утихла совершенно. Пучина оставалась несколько времени в возвышении как бы надутую, но вдруг, с тем же ревом, с тою же быстротою понеслась прочь от берега и вода пошла на убыль.

Верстах в 15 от Амстердама я видел русские укрепления, сделанные генералом Германом в 1799 году. Оные состоят из двух брустверов, находящихся по обе стороны дороги и обороняющих шлюз, коим можно наводнить все окрестности в случае надобности. Таковые шлюзы находятся во многих местах и наблюдаются весьма рачительно потому, что если оставить шлюзы и плотины без присмотра только два года, но нельзя будет приметить и места, на коем была Голландия.

Каких неимоверных трудов, неумолимого терпения и чрезвычайных издержек стоили сии плотины! И каковы должны быть чувствования, побудившие голландцев к сим исполинским подвигам! Осмнадцать тысяч жертв, принесенных фанатизму одним только Альбою, преследования инквизиции, новые повеления Филиппа противу протестантов возбудили сей народ, рожденный кротким и послушным. Филипп думал оправдать себя пред судом света, объявив грамотою, в коей обрек смерти Вильгельма Нассау, что гонения и притеснения позволены Папою, освободившим также и от клятвы, обязавшей его спокойствием Голландии¹. Это подействовало мало на католиков, но тем сильнее раздражило протестантов. Всего опаснее нападать на мнения людские, какого бы роду оные ни были: оставь их в покое — они исчезнут сами собою. Лютер, Кальвин и прочие законоучители сначала не многих имели последователей, но гонения начались, — и половина Европы сделалась протестантами. В сей стране тиранство и фанатизм действовали к собственной своей пагубе: голландцы ожесточились и, совокупясь духом свободы, отразили врагов с одной стороны, с другой, отдвинув море, заставили оное быть послушным, как для существования своей земли, так и для поражения Филиппа. Вскоре поработенный Океан восстал под бесчисленными флотами, — республика воздвиглась — и сперва богатством общих сил, после богатством на-

¹ Все владетели, коим доставалась Голландия, должны были клясться: никаким насилием, никакою хитростью не переменять постановлений народных; если же государь поступит против сей обязанности, то государство свободно от клятвы верности, и может действовать так, как найдет приличнее.

родным, дала урок величия первейшим державам в Европе. Вот почему у сего народа исключительно наш Петр захотел учиться быть великим; вот почему в платье простого, незнаемого ремесленника в маленьком Сардаме искал он оснований к будущему своему величию.

В Сардам приехали мы за полночь — и хотя никто из нас не думал о обеде, но надобно было необходимо остановиться у трактирщика, купившего для своих выгод землю и домик, в коем жил Петр — и отобедать у него. Нам дали окуней, в морской воде приготовленных, и прекрасный десерт, взяли прекрасную плату — и повели к домику.

С чувствованиями благоговения приблизились мы к сей хижине, в которой Великий Преобразователь Отечества, под скромным именем *Петра-баса*, посвящал вечности и потомству дни, проведенные в учении.

Домик, окруженный канавкою, обсаженный миртовыми и ореховыми кустарниками и состоящий только из двух покоев, почти совсем обвалился. В одной, бывшей спальнею Петра, полу уже нет; в другой стоит кровать, стул и стол собственной его работы. Направо, над камином, вмазана руками императора Александра, бывшего здесь в 1814 году, мраморная дощечка с латинскою надписью: *Petro Magno Alexander*¹; на столе лежат книги, в кои вписываются имена путешественников, посещающих сей городок, и кружка для вклада к поддержанию домика. Против самых дверей висит большая овальная доска, на которой русскими буквами написано: *ничего главному человеку мало!!!* — Надпись сия переменяла благочестивые чувствования наши на негодование — сделала еще более: заставила смеяться в сем храме величия. Вероятно, какой-нибудь шкипер, бывший в России, сделал сей отличный перевод прекрасному голландскому эпитафю: *Nit is te groote man te klein*, внизу русской надписи помещенному. Я утешился, однако же, мыслию, что желание голландцев было сделать непременно русскую надпись — и они сделали, как умели, думая выразить ею смысл свой, означающий: *Великий человек ничем не пренебрегает*.

Наш проводник рассказал нам анекдот о последнем дне пребывания Петрова в здешнем месте. Посланнику его Головину, оставленному в Амстердаме со всею царскою свитою, поручено было купить яхту, спущенную на воду в Сардаме, около которой Петр Великий работал сам, и которая была отправлена в Амстердам для оснастки. Петр, окончив учение

¹ Петру Великому Александр (лат.—Сост.).

свое в Сардаме, дождался с минуты на минуту яхты, чтоб отправиться на ней морем. Наконец, Головин уведомляет, что совет Амстердамский отдает оную в подарок российскому царю, и что она завтрашний день прибудет в Сардам. Петр на другой день, приготовясь проститься с сим городком, идет, однако же, на работу, но, увидев вдруг яхту, бросившую якорь против сего места и идущую с оной шлюбку — останавливается; радость заставляет его плакать; он забывает свою роль, в которой не имеет уже никакой надобности; медлит — и мастер его, удивленный, что *Питер-бас* неподвижно стоит на одном месте, тогда как прочие его товарищи уже принялись за работу, стал выговаривать, но, видя, что он не отвечает и даже не слушает, начал толкать его грубым образом. Петр, растроганный исполнением своих надежд, не могши выговорить ни слова, расстегивает безмолвно кафтан свой, является в звездах и царских отличиях. В сие время Головин со всею свитою, вышед из шлюбки, повергается на колени пред царем; изумленный мастер падает в ноги Петру и просит его о помиловании. Царь, подымая его, целует, успокоивает и, наконец, упрасивает ехать с собою в Россию.

Я умолчу об известных уже анекдотах, рассказанных нам вслед за сим с удивительными прибавлениями, относящимися или к славе Петра, или к чести голландцев.

Каждый из них смотрит на нас с гордостью, как учитель на учеников. Мы благоговеем к памяти Петра, они — его энтузиасты.

Посвятив часа полтора домику сему, положив вкладу в кружку и записав имена свои в книгу, куда я не забыл включить также настоящего перевода надписи, оставили мы место сие, освященное жизнью великого гения.

Теперь скажу нечто о городе.

Он не велик и строением совершенно отличен от больших голландских городов: дома все в один этаж, с садами. Ни одна дверь, ни одно окошко никогда не отворяются на улицу. Двери заколочены — окна закрыты ставнями: таков обычай здешних жителей. Только для свадьбы или похорон ставни и двери отперты и вновь запираются по окончании праздника. Комнаты на улицу нежилые и убраны всеми возможными драгоценностями: редкие ковры, дорогие занавесы, картины, бронза и зеркала закрывают пол и стены; фарфор китайский, японский; серебро, золото, жемчуг наполняют углы комнат сих. Мы были введены в один из домов, и ласковый хозяин, сняв с себя башмаки и не допусая нас сделать того же, хотя оное у них и в обыкновении, водил по всем комнатам. Жилые

из них обращены на двор, в запертые же ставнями ходят только для рачительного присмотра. Где ж принимают они своих гостей — спросите вы. Они не принимают их и сами не ходят в гости, одно воскресенье только сводит всех жителей вместе в церковь или на гулянье за город.

Здесьние сады чуднее домов: прекрасные кустарники, обретенные разными фигурами и обсаженные еще прекраснейшими цветами, пересекаются правильно расположенными и бестенными дорожками, которые усыпаны песком разных цветов и уложены геометрическими фигурами из редких раковин. Цветы, звезды, треугольники и квадраты искусно расположены по дорожкам, кои, по сему самому, не чувствуют на себе никогда следа человеческого. Каждый сад имеет на улице решетку, сквозь которую видно сие убранство, и потому каждый житель города столько ж пользуется садом, сколько и хозяин оного.

Сказывают, что во многих городах южной Голландии сохраняется еще сей странный обычай строить нежилые дома, и разводить непроходимые сады, в коих можно прогуливаться только взорами.

Если прибавлю, что в сем городе чрезвычайно много буажных мельниц, и что он называется *Сандамом*, а не *Сардамом*, как мы его разумеем, что жители, несмотря на богатство свое, чрезвычайно умеренны, то я уже все сказал о сем городке, славном пребыванием великого государя и посещениями во множестве иностранцев.

Вечеру, по захождении солнца, мы простились с Сардамом и поехали обратно домой. Вечер был так мрачен, как день в домах сардамских; спутники мои молчали, море шумело под ногами нашими, — а я размышлял о виденном и сравнивал прошедшее с настоящим.

Где же та Голландия, владычествовавшая во всех странах света? — Где ее флоты, покрывавшие океаны? — Где Рюйтеры и Тромпы, вознесшие ее славу? — Где банки, в кои скоплялось золото всего света? — Где важные республиканцы, гордо принимавшие послов чужеземных? — Где сии Магистры, бравшие участие в делах других народов, где их величие, где их слава? — Исчезло все, подобно цветущему здоровью юности, вовлеченному в томительную болезнь, низведшую его на край гроба.

Теперь голландские флоты развозят сыр; Рюйтеры и Тромпы почивают спокойно в их гробницах; неблагодарное золото возвышает чуждую славу; голландцы принимают у себя фигляров на ярмарках и с важностию говорят о доброте полу-

ченной партии табаку, а в делах Европы берут участие — только по газетам.

Однако голландцы питают еще любовь к своему отечеству; любят нового своего государя; кипят духом при вестях о славных подвигах; они набожны; они энтузиасты — но потому только, что чувства сии ничего им не стоят.

Чудно! Они ненавидят французов и любят англичан, а за приобретение сих чувствований заплатили всем своим благосостоянием.

ПИСЬМО 14. РОТТЕРДАМ

Вчера, по приезде из Амстердама, я ходил с С. Жакобом смотреть короля, ехавшего из Брюсселя чрез Роттердам.

Мы вышли из Дельфтских ворот по дороге, обсаженной густыми липами, где вообще бывает загородное гулянье голландцев по воскресеньям; просека налево к Маасу, оба берега и дорога к Скидаму, славящемуся *Джином*, усеяны были жителями Роттердама. Народ волновался в ожидании короля, который в первый еще раз должен был проехать сим городом. Наконец, на другой стороне Мааса показалась королевская карета. Вмиг отпрягли лошадей: схватились за постромки, повезли короля на себе, переправили его в шлюбке на другой берег, карету на пароме также, и хотели снова везти на себе, но король сел в другую карету — и ускакал. Громкое *гузе!* раздавалось в воздухе; бежали, теснились, падали, кидали шапки кверху и едва чрез полчаса могли успокоиться. Сколько голландцы любят своего короля!

Он не старше сорока пяти лет, среднего роста и приятной физиогномии. С ним был наследный принц, белокурый, пригожий 18-ти летний юноша. Его называют принцем-героем после полученной им раны.

Нассавский дом призван опять к царствованию. Отец ныне владеющего короля, по восстановлении штатгалтерства, вступил в управление Голландиею, должен был по связям с прусским двором и Англиею пристать к союзу против Франции, заключенному между Австриею, всею Германиею, Пруссиею, Великобританиею, Испаниею, Португалиею, Церковною областью и Сардиниею, вследствие коего, по особенному договору, постановленному в Гаге в 1794 году, апреля 19, Голландия еще теснее совокупилась с Англиею и Пруссиею.

Французы не медлили долго — и 26 того же месяца республиканские войска под командою Пишегрю заняли всю

Голландию, объявили старинную конституцию — и штатгалтер, сложив свои титулы, принужден был бежать в Англию, где и умер в 1806 году, оставив по себе сына, нынешнего короля Голландии.

По заключении мира 16 мая того же года в Гаге между республикою Французскою и Соединенными Нидерландами, штатгалтерство было вовсе уничтожено.

В 1798 году по Кампоформийскому миру Голландия вместе с присоединенными австрийскими или испанскими Нидерландами названа Батавскою республикою, в 1807 году королевством, в коем Людовик Бонапарте был вице-королем, после же, когда он сложил с себя сие титулы, Голландия присоединена была к Франции, как провинция, и под сими разными именами равным образом бедствовала в продолжение 20 лет владычества французов.

Наконец, в 1815 году после славного Ватерлооского поражения Наполеона, полагавшего Голландию снова в руках своих, по Венскому конгрессу она неизбежно утверждена королевством.

Страдание голландцев под игом французским напоминало им услуги, оказанные Оранскими принцами. С умножением несчастий умножились приверженцы к сему дому, и в феврале 1813 года сделан был заговор: возмутить народ, свергнуть господство Наполеона и призвать Насаау, но начинщики были открыты и казнены. Однако ноября 16 союзные войска, вытеснив французов, заняли Голландию, и 30 того же месяца принц Оранский, приехав из Англии прямо в Гагу, был принят торжественно 2 декабря в Амстердаме и объявлен верховным властителем Соединенных Нидерланд под именем Вильгельма I.

Оранский дом владеет по наследству и по праву представления. С прекращением мужеской линии наследует женская, равно как и та по первородству. Конституция ограничивает короля, который не может переносить места правления в другое государство, ни носить иной короны, кроме своей и получает жалованья 2 400 000 гульд. из государственной казны. Совершеннолетие короля полагается в 18 лет: до сего же времени назначается опекунство из членов королевской фамилии, вместе с некоторыми из значущих граждан, и власть королевская до срочных лет остается в руках опекунов.

Король имеет право назначать и отставлять членов государственного совета и министров, управлять колониями вне Европы, объявлять мир и войну, вооружать флот и армию, на-

бирать и исключать офицеров и, наконец, распоряжение финансов в его власти.

Генеральные штаты разделяются на две камеры, из коих в первой не менее 40, но не более 60 человек, избираемых на всю жизнь от короля; во второй, состоящей из 110 членов, заседают представители народные, избираемые на три года. Для того, чтоб быть членом второй камеры, должно иметь не менее 30 лет и какую-либо собственность в провинциях государства.

Король, имея исполнительную власть в руках своих, вспомоществуем пятью министрами, как-то: юстиции, внешних, внутренних дел, морским и финансов. Каждое министерство имеет статс-секретаря, и члены оного составляют кабинет королевский. Министры имеют право заседать в обеих камерах Генеральных штатов.

Провинциальные штаты составляются также из дворян, граждан и поселян 17 провинций.

Государственный совет есть второе место после так называемого верховного совета Нидерландов.

Для водяных коммуникаций, строений, военных дел и воспитания учреждены особенные комитеты, которые имеют своих генерал-комиссаров.

Военные силы государства состоят из 35 000 чел. Включая также нассавские и швейцарские войска, до 60 тыс. человек, флот из 10 линейных кораблей и 8 фрегатов.

Баланс доходов на 1816 год был до 82 миллионов гульденов. Государственные долги простирались в 1810 году до 1300 миллионов гульденов, но треть оных, по договору с Франциею, уничтожилась, и Голландия должна теперь не более 795 милл. большею частию внутри государства.

ПИСЬМО 15. РОТТЕРДАМ

«Земля, нами обитаемая, есть закрытая книга; путешествие развертывает в оной листы; и сии листы суть государства, в коих внимательному оку представляются люди и народы, как буквы, слоги и строки». Так говорил Великий Петр: раскроем же книгу сию и прочтем некоторые соображения о Голландии.

Голландия, обязанная бытием своим океану, им необходимо должна и существовать. Чрезвычайное народонаселение, бедность почвы заставляют голландцев искать в торговле и флотах способов к своему усилению, а всякая другая дер-

жава твердой земли, обеспеченная слабостию Голландии на суше, охотно будет способствовать ее возвышению.

Возьмем два государства, от коих непосредственно может зависеть Голландия, как по соседству, так и по торговле, особенно по Рейну, оба сии государства разделяющему.

Германия, снабжающая Голландию почти всем нужным для жизни: лесами для постройки, материалами для бесчисленных фабрик и заимствующая изделия и деньги голландские¹, не сделает ничего к нарушению ее благосостояния; Франция, богатая собственными продуктами, обязанная Голландии коммерческими оборотами, обменом товаров и знатною торговлею по Рейну, может быть только ей полезна, поддерживая оную против англичан, и никогда не будет ее соперницею, тем более, что политические виды той и другой не могут никогда встретиться между собою. Есть круг действий, назначенный каждому государству: одно может быть сильно на море, другое на суше, и ежели которое либо преступит сей закон природы, то покушения и успехи в противность оному не могут продолжаться постоянно и вскоре все должно прийти опять в естественные границы. Так, покушения Франции противу голландцев были только злом случайным, и предприимчивый Наполеон, овладев ими, неслыханным только счастьем мог удержаться в продолжение стольких лет обладателем Голландии; и французы, всегда благоприятствовавшие последней, можно сказать, противу желания стали ее врагами. Жестокие поступки Наполеона, внушавшие к нему ненависть народную, распространяли оную на исполнителей его воли, и 20 лет бедствий отвратили совершенно голландцев от Франции.

Но совсем не так с Англиею. Она, будучи сама морскою державою, по необходимости соперничествует Голландии. Запрещение ввоза изделий чужестранным кораблям и позволение ввозить одни сырые товары каждому своей земли в первом их виде, затворило голландцам английские порты, ибо голландцы, бедные произведениями земными, основывают торговлю на перевозке товаров и изделий других народов, или чужих произведений, перерабатываемых у себя дома, и в сем отношении их торговля, сходствуя совершенно с английскою, возбуждает ее действовать или открытым образом неприязненно, или скрытно ухищрениями политик к пагубе Голландии.

¹ Долг Австрии заплачен уступкою Нидерланд по Вейскому конгрессу.

Голландцы могут сколько угодно вывозить товаров из Англии, могут производить там денежные обороты, но то и другое, при сем распоряжении коммерции, благоприятствует только Англии.

Я разделяю торговлю голландцев на три ветви: первая — колониальными товарами, вторая — рыбным промыслом и третья — банковыми оборотами.

Мы уже видели, каким образом англичане, обессиливая республику, овладевали мало-помалу в смутное время колониями, промыслами и деньгами голландскими.

Следственно, голландцам, во всяком случае, в споре ли они с Англиею, или, что хуже того, в дружбе, вредны всякие сношения с сею державою.

Однако же, англичане умели сделаться для них во многих отношениях необходимыми: оказываемая ими дружба, бедствия голландцев, воспоминания о протекших временах величия, на которое они были возведены Оранским домом, благодарность к оному и к англичанам, сохранявшим дом сей, в коем голландцы видели надежду к новому благоденствию, преклонили сердца последних к Англии, и Голландия ныне наводнена, так сказать, английскою торговлею.

И так Голландия находится в превратном положении: любит англичан, которые были корнем всего зла, причиною всех несчастий — ненавидит французов, которые были с нею случайно худы.

Надеются, что Голландия вскоре возвысится на прежнюю степень могущества и обширности торговли, но я думаю, что доколе чувствования голландцев не переменят своего направления к обоим соседям. Голландия более и более будет приходить в упадок.

ПИСЬМО 16. РОТТЕРДАМ

На сих днях торжествовали здесь рождение короля. Войска были собраны в парад, после которого все бургомистры, первые чиновники городские и некоторые из граждан были приглашены на военный завтрак — мы также. И, в самом деле, в раскинутой палатке мы нашли водку, хлеб, сыр, салат и несколько плодов — слишком по военному!

День тезоименитства нашего государя также приближался; мы согласились, хотя нас было только 15 человек, сделать в сей день для голландцев завтрак и бал. Русские не жалеют денег там, где надобно показать народное хлебосольство. Сто

человек было приглашено из города — и вместо завтрака нашли великолепный обед, во время коего, при ружейной пальбе, при громких восклицаниях пили за здоровье Александра. Музыка и песни русские не умолкали целый день. Скупые голландцы были вне себя.

Вечеру жены и дочери наших гостей собрались разделить праздник наш — и мы протанцовали целую ночь. Все дома, где жили русские офицеры, были иллюминированы; улица, в коей давали бал, освещалась из конца в конец, стечение народу было чрезвычайное. На каждое наше *ура* голландцы отвечали тысячью повторений. Целый город, казалось, участвовал в нашем празднике.

Здесь мы были свидетелями энтузиазма голландцев к нашему государю, коего они видели в прошлом году — и любовь их к русским. *In vino veritas*¹, говорит пословица — и молчаливые голландцы излились в сей день пред нами.

Но этот праздник был прощальный: мы получили повеление сесть на фрегаты наши, находящиеся еще в Гельвет-Слюйсе и отправиться в Россию.

Мой хозяин, С. Жакоб, сделал также для меня прощальный ужин, созвав всех моих знакомых голландцев. Дети С. Жакоба прощались и плакали; мать увещевала детей — и плакала; С. Жакоб уговаривал их не плакать — со слезами, а я, растроганный, подвигнутый благодарностию, мог ли остаться равнодушным?

Судьба играет нами — сводит людей в отдаленности, дружит их — и разлучает. Не советую вам, любезные мои, дружитья в чужих краях, разлука там тяжелее, потому что безнадежна.

Р. S. *Гельвет-Слюйс*. Удерживаю письмо для того, чтоб известить вас отсюда о нашем отправлении. Мы выступили из Роттердама, сопровождаемые целым почти городом: добрые русские привязали к себе всех жителей. Три женщины провожали нас даже до сего места, и одна из них неотменно хотела следовать в Россию за пригожим 24 летним молодцом моей роты. Она плакала, рвалась, просилась с нами, убеждала своею любовью, но ей отвечали, что у нас на корабли запрещено брать женщин. Тем лучше, твердила она, дайте же мне мундир, я иду в российскую службу — и вам не должно более считать меня женщиною! С сожалением, что не могли привезти в Россию сего образца любви героической, отказа-

¹ Истина в вине (лат.— Сост.).

ли ей еще раз — и она, в отчаянии, уведена была с берега своими подругами.

Закрываю обращением к вам, друзья мои! Вы требовали описания Голландии — и вот мои письма! В них я сказал все то, что знаю и что могу сказать о ней. Ежели в сих письмах не найдете глубоких мыслей, вспомните, что я должен был все видеть мимоходом, ежели не найдете цветов, — подумайте, что я говорю не об Италии. Там природа сделала все для неблагодарного человека — здесь человек сделал все из неблагодарной природы; там все вдохновение, здесь — строгая точность.





ГИБРАЛТАР

ПИСЬМО 1

... **Ч**увствуешь приближение к испанским и португальским берегам: в 20 милях от земли утренний ветер наносит уже благовоние померанцевых и апельсинных деревьев. Неизъяснимо чувство, пробуждаемое вдохновением этих ароматов, зрелищем безоблачного неба и ощущением живительной теплоты, после туманов Англии, заважу каменного угля и непрерывных непогод, царствующих около Англинского канала.

Друзья мои, весело в море, когда благоприятствует погода; и посреди самого Океана, где беспредельность воды ограничивается только беспредельностью неба; где человек не замечает ничего, кроме пустоты, которая еще ощутительнее, когда прозрачные небеса здешней стороны кажутся гораздо отдаленнее — и в этой пустыне, говорю я, сердце наполняется радостью, если попутный ветер гонит корабль к желаемому пристанищу. Тогда заботы прекращены, по всему кораблю слышны песни или громкий смех добрых моряков, меняющихся шутками за веселыми играми, которые они мгновенно оставляют, бросаясь смотреть на стадо резвых касаток, быстро выпрыгивающих из воды, ныряющих и гонящихся одна

за другою.— Иногда явления важного кита, его кувьрки и фонтаны, его старание определить корабль, забавляет долго неозабоченных плавателей.— Ясная ночь еще лучше: звезды и луна населяют эфирное пространство; пределы зрения ближе, человек и корабль его не кажутся так малы, так ничтожны, как днем, и сам он становится важнее. Тогда место шумной веселости заступает тихое удовольствие; половина команды спит, другая, на стороже, смирно и внимательно расположена по своим местам; только где-нибудь протяжная вполголоса песня, мешаясь с шумом пены, прерывает торжественное молчание.

От самого Англинского канала мы шли попутным ветром и приблизились к Гибралтару в 12-ть дней. Это было счастливое плавание. Спускаясь к проливу, пришли на вид Кадикса; средней высоты берег пересекался вдали горами; с правой стороны довольно высокая гора оканчивала славный мыс Трафалгар; еще правее виден был высокий Африканский берег. Прежде, нежели поравнялись с проливом, стемнело, и мы, не решаясь идти ночью в узкость, где течения так переменчивы, поворотили от берега в море, в намерении вступить в пролив не прежде рассвета. Ясный и жаркий день сменился темною, туманною и холодною ночью, которую мы провели в близости Африканского берега, поворачивая к нему и отходя прочь, как скоро по счислению полагали его близко.

Рассвет был также туманен: мы легли прямо в берег, подошли к нему, но густая мрачность скрывала возвышения и потому невозможно было судить о его положении. Дождавшись солнечного восхода, рассеявшего туман и давшего способ опознать берег, мы поворотили вдоль одного; ветр следовал за всеми изворотами нашими — и мы, обогнув мыс Спартель, от которого начинается узкость, вступили в пролив между столпов Геркулесовых.

Путь наш был подле самого Африканского берега, в виду Испании и Африки, потому что самая большая ширина пролива только 12-ть морских миль, а есть места, где он не шире 7-ми. Утреннее солнце не совсем рассеяло туман: высокие горы обоих берегов имели вид величественный, задернутые прозрачным покрывалом испарений, которые, разносясь ветром и опять задерживаясь горами, переменяли фигуру их бесчисленными образами, или спускаясь нитями по бокам их наподобие бахромы, или венчая возвышенные вершины белыми кудрями.

Мы прошли в правой стороне Тангер; видели белые стены домов, минареты мечетей, вытасченные лодки; шли к берегу так близко, что казалось, будто слышался прибой волнения о прибрежные камни.

Вскоре открылась влеве Тари́фа и ее башня, служащая для плавателей маяком; потом увидели французский фрегат перед островком у Тари́фы; услышали выстрелы с фрегата и крепости — и, зная, что перед нами из Бреста вышла французская эскадра к Кади́ксу для крейсирования — мы не обратили на это внимания.

Наконец показалась гора Гибралтар и мало-помалу отделилась от Испанского берега. Она возвышалась наподобие сахарной головы; за нею синелось Средиземное море; на правой стороне, совершенно против Гибралтара, пролив оканчивался обезьянною горою (Абилла), почти такой же фигуры. Течение и ветер быстро несли нас, и в 2 часа пополудни мы уже бросили якорь в губе, вдающейся в берег между мысом Карnero и горою Гибралтара.

Еще не улеглись волны, вспрыгнувшие от брошенного якоря, к нам пристали с обеих сторон шлюбки, одна с офицером, посланным для поздравления от капитана небольшого английского шлюпа, и другая с самим капитаном порта, г. Свитландом (Sweetland). Англичане в своих портах очень спесивы с иностранцами; кто бы ни явился под их крепостями, они отвечают на пушечную салютацию менее двумя выстрелами. Мы не хотели салютовать; но Свитланд уверил, что здесь в вольном городе (Porto-franco) они отвечают учтивостью за учтивость. Мы сделали 17-ть выстрелов, и вдруг на вершине горы блеснула молния, показалось облако, другое, третье, а за ними раскаты и грохот гор повторили 17-ть громовых ударов. Когда уже пронесло дым, мы увидели незамеченную сначала под облаками батарею, с которой нам отвечали.

С Свитландом познакомились очень скоро: он пригласил капитана и меня к себе обедать; — мы поехали на шлюбке вдоль всех укреплений с приморской стороны, возвышающихся бастионами сажень на 7-мь от поверхности воды. Каменная высокая гора в 1200 футов (200 сажень) отвесной высоты соединяется весьма низким песчаным перешейком с испанским берегом. Три холма ее теряются иногда в легких облаках, собирающихся сребристою дымкою около вершины; красновато-желтый цвет Гибралтара противоположит вечной зелени гор Испанских. Редко промелькивающие кустики и деревья на камне еще более выказывают наготу природы в этом месте.

Вид города с рейда прекрасный: чистые домики с плос-

кими крышами возносились одни над другими амфитеатром почти до трети высоты горы, которая с этой стороны имеет такую отлогость, что можно прилеплять к ней строения. В самом деле, в некоторых местах есть дома, приставленные к горе боком. На рейде стояло до 400 судов разной величины и между ними множество тартан, шебек, каюк и других мелких судов Средиземного моря; у пристани едва можно было проехать, на ней самой едва пройти, потому что шлюбки и грузовые суда затыкали пристань с одной, а толпа народу и телег, выгружающих или принимающих товары, не давали проходу с другой стороны.

По ясному зноку, еще сильнее отражавшемуся от скалы, мы прошли несколько улиц между домами, всячески защищенными от жара. Окна закрыты жалюзиями, марокезами; над плоскими крышами поставлены палатки — везде ходит сквозной ветер. Наконец добрались до дому г. Свитланда, обращенному на рейд и стоящему на самом берегу; мы были представлены жене хозяина, очень любезной и весьма образованной англичанке.

За семейным обедом говорили о Гибралтаре.

Гибралтар построен маврами; еще в 714 году по Р. Х. Тариф Абензакка дал свое имя городу и горе, которая с сих пор стала называться *Гибель-аль-Тариф* или скала Тарифа. Испанцы, выгнав мавров, завладели сим местом и имя его превратили в Гибралтар. В 1704 году англичане отняли его у испанцев и укрепили как только было можно, хотя и при тех он считался уже неприступным. Обстроившийся у новых хозяев город объявлен свободным (*porto-franco*) и сделан складочным магазином меновой торговли. Купцы Германии, Франции, Италии, Греции и всего Средиземного моря не имеют никакой надобности везти свои товары далее Гибралтара, потому что, сбывая их там без пошлины, беспошлинно же получают все произведения северных морей. Оттого в прошлом 1823 году здесь было до 12 000 кораблей, из коих большая часть назначена была в Гибралтар, где живут консулы всех наций. — В мирное время в нем содержится пять полков, что составляет 3000 чел. (считая по 600 чел. в полку), в военное — гарнизон удваивается, и тогда все содержание крепости восходит до 200 т. пиастров (1 000 000 руб.).

Теперь понимаю, подумал я, почему англичанам надобна эта голая скала. — Англия оперлась на нее локтем, простирая руку в Средиземное море за Левантскою торговлею.

Солнце уже было близко заката, когда мы с хозяевами поехали в коляске осматривать город. Что можно сказать

о нем, — я уже сказал. Загородные дороги, высеченные в камне, очень хороши и с обеих сторон обсажены деревьями: тополь и кактус, похожий на лопаточный алой, составляют живые ограды дорог.

Уступы дороги вывели нас до $\frac{1}{3}$ части высоты горы, т. е. почти на 70 саж. над поверхностью моря. Внизу под нами виден был на скате город, подле него сад, далее испанский берег, объемлющий полукругом Гибралтарский рейд, на котором корабли казались маленькими мошками. Заходящее солнце, бросая из-за гор последние свои лучи, рассыпало их по морю, которое подобно ковру, затканному золотом, развертывалось под ногами нашими. Проезжая далее, подвинулись мы к утесистому отрубю южной оконечности горы, названному мысом Европы. Дорога, идущая по западную сторону утеса, круто поворачивается на этом мысе на восточную его сторону и вдруг открывает обширность Средиземного моря и теряющийся в горизонте Африканский берег. По восточной дороге, в версте от поворота, стоит летний дом губернатора с прелестным садиком. Здесь светит только утреннее солнце: в 11-ть часов утра оно переходит гору, которая закрывает сама себя тенью на весь остаток дня. Но это одно только место, где можно найти прохладу в Гибралтаре: дорога оканчивается домом губернатора и далее гора неприступна.

Солнце садится здесь очень скоро и не оставляет за собою зари, так что переход от света к темноте почти без сумерек. Покуда мы выходили из коляски и сделали несколько шагов к утесу, чтобы посмотреть на море и ступить на самую южную точку Европы в этом месте, день сменился ночью, как театральная декорация, — мы поехали обратно. В самом деле, вся картина переменилась, город заблестал бесчисленными огнями по всей горе; Испанский берег во всем протяжении освещался различными фигурами и в разных направлениях от горящей для удобрения земли; огни на судах и все это освещение кругом залива отражалось в тихой поверхности моря, и переливаясь в легкой зыби, идущей от прилива, представляло какую-то волшебную иллюминацию. К довершению очарования, на краю бездны, не видя ничего под ногами и обманываемый колебаньем коляски, я воображал, что лечу под самым небом, на котором звезды, озаренные ярким блеском, невиданным в наших странах, казались от того вдвое больше и ближе над самую голову. То было совсем другое небо, другие созвездия! Наша Медведица двигалась медленно по самому горизонту — а ваша Полярная звезда, друзья мои, не много ее выше.

Из-под небес мы приехали домой пить чаю.

Здесь мы должны были в свою очередь рассказывать хозяевам наши русские обычаи, жизнь общества и прочее. Хозяйке более всего было занимательно описание костюмов наших дам; в особенности понравился ей русский простонародный наряд. Она обещалась нынешнею зимою наряжаться в маскарады в русское платье: для этого я нарисовал ей полную пару, начиная от кокошника до черевичков.

Мы хотели уехать на фрегат, но опоздали; городские ворота, запираемые с закатом солнца, хотя и были исключительно для русских отперты до десяти часов, но мы не видали времени; пролетевшего далеко за полночь; и так мы ночевали в трактире.

ПИСЬМО 2

Редкостей в городе, кроме самого города нет;— зато он один стоит которого-нибудь из семи чудес. Не хочу входить в подробности, что за городом есть сад, где стоит несколько бюстов, напоминающих англичанам великих людей и их деяния; что в городе есть две библиотеки, одна для гарнизона, другая для купечества; что есть плохой театр, где изрядные певицы, приехавшие из Лиссабона, сердятся вместе со слушателями на дурную музыку; не стану говорить о том, что на этом голом камне местами, в ущелинах есть садики и деревья; что жители воду пьют дождевую, а свежую привозят туда на ослах из Испании, что говядину им продает по контракту марокский владелец — все это вещь обыкновенная: скажу нечто о крепости.

Гора имеет отлогость только с одной стороны, где стоит город: с востока к Средиземному морю и с севера к песчаному перешейку она возвышается совершенно отвесно. К отлогой стороне с моря изгибаются каменные укрепления, а к перешейку, в вертикальной 200-саженной стене, вырваны порохов казематы, служащие крепостью для обороны на Испанскую сторону.

Эту крепость и пошли мы смотреть. Мы взбирались туда по крутой улице, которая вела в старый мавританский замок, служащий входом в казематы. Во времена испанцев в нем существовала инквизиция; ныне толстые стены его сделались домами многих семейств, во внутренности их живущих, и весь он вообще превратился, с помощью нескольких новейших укреплений, в цитадель. Слишком тысячу лет башня и трой-

ные стены замка стоят почти невредимы; кроме верхних частей и осыпавшихся углов в некоторых местах, камни слились в один состав, и ни время, ни испанские ядра, испестрившие стены сии, ни многочисленные переделки снаружи и в самой толстоте стен для жилья, не могут отнять величественного вида, с которым возвышается замок над городом. Это Велизарий в слепоте и нищенстве, но в котором узнает каждый бывшего защитника отечества.

Из замка крутая дорога, высеченная извилинами в скале, привела нас к входу в казематы. После несносного жара охватил нас холодный и сырой воздух. Галереи, образующие эту подземную крепость, идут коленами в высоту постепенно; каждая из них пробита беспрестанными амбразурами, из которых торчат пушки. Толщина наружной стены галереи будет около четырех сажен; амбразуры, в ней пробитые, образуют около каждой пушки каземат, в котором люди удобно могут действовать орудием; ширина галереи и высота ее около 18-ти фут, иногда более, иногда менее.

Если скажу, что сих галерей, высеченных в камне, шесть, и они вооружены 700-ми пушек, что на каждом уступе горы лепится наружная батарея, что каждый ее уступ имеет фланговую оборону: тогда вы можете представить, награждены ли труды создания крепости, защищающей каменную непроницаемую стену? Напрасно испанская артиллерия гремела против сих невероятных укреплений: бессильные бомбы и ядра скатывались обломками к подножию скалы; невредимые батареи гибралтарские беспрестанно зажигали деревянные редуты испанцев, и пять тысяч англичан, под команду Эллиота, целые пять лет противустояли всем усилиям соединенных армий и флотов испанских и французских.

Посреди галерей есть две круглые залы, называемые св. Георгия и Корнваллис, куда часто жители собираются на пикники, избегая жаров лета; но признаюсь, надобно быть очень привычну, чтоб переносить быструю перемену из жара в чувствительный холод и сырость, а иногда и сквозной ветер.

Один из выступов скалы, образованной самою природою наподобие башни, называется Мавританскою башнею, потому что мавры первые сделали в ней галереи с бойницами. Недалеко от выхода из третьей галереи, сквозь просеченную в горе арку, есть выход на площадку над Средиземным морем: мы вышли туда. Восточный ветер гнал волны прямо на скалу, и единообразное море то бросалось белою полоскою пены, наступая на острые камни у подошвы, то окраивалось черною лентою при отступлении, обнажая камни, почерневшие от на-

падений все вы и времени. Мы остались тут недолго; неприятный сквозняк ветер заставил нас воротиться и тем скорее, что видеть более было нечего: оба берега, Испанский и Африканский, были покрыты туманом, обыкновенно лежащимся на землю при восточных ветрах.

По узкой, крутой лестнице, называемой *чертовой*, мы взобрались на самый гребень скалы, оканчивавшейся трехпущечною батареею. Эта часть горы выше всех прочих ее вершин, с нее видно во все стороны и слышно во все шесть галерей посредством отверстия, просеченного сквозь камень, наподобие слуховой трубы. Отсюда под ногами нашими у самой подошвы к перешейку видны еще укрепления со рвами, наполняющимися водою посредством шлюзов, далее по перешейку кордонные домики, разграничивающие владения англичан и испанцев, за ними видны укрепления последних, пришедшие в упадок; справа к этому песчаному языку примыкает Испанский берег и виден даже до Малаги; влево белеются на прелестном возвышении домики С. Роха; с этой стороны берег заворачивается и образует рейд, в котором на противной стороне виден в лощине между живописных гор красивый Алгезира; подле — развалины замка, называемого старым Гибралтаром; еще далее — мыс Карнеро, за которым берег в самом проливе виден до Тарифы. Тут сквозь пролив синется небольшой промежуток Атлантического океана и тотчас подле возвышаются Африканские горы и оканчиваются против Гибралтара Абилюю и Цейтою; вид их дик и суров, густая атмосфера давит их, опоясывает облаками и закрывает вдали какую-то фиолетовую полосу. Я прежде полагал, что расстояние между берегов Африки и Европы гораздо более; теперь, от высоты берегов, оно кажется не много более расстояния Кронштадта от Ораниенбаума.

Нам хотелось побывать на всех трех вершинах Гибралтара; но как проводник сказал, что надобно идти вниз и взбираться туда особыми дорогами, то мы, несмотря на его убеждения, предпочли карабкаться прямо по горе, скользить по серебристой пыли и мелкой душистой мяте, до обсерватории, устроенной на среднем холме. Горные куропатки и дикие козы попадались нам во множестве; в некоторых оврагах видели обезьян, которые с криком разбегались и из-за выступов швыряли в нас камнями. Это довольно опасно, и хотя жители жалуются на дерзость этих животных, кидающихся на гуляющих и обкрадывающих их фруктовые садики, но им жаль истреблять обезьян, потому что голая скала Гибралтара есть единственный пункт в Европе, где они водятся. Притом

же природа так скупа в этом месте, что и последний из ее даров кажется здесь бесценным. Для сего запрещено делать какой-либо вред обезьянам, козам и куропаткам.

С трудом добрались мы до обсерватории, где нас встретил смотритель и предложил освежиться плодами; когда же мы собирались спускаться, он просил вписать имена наши в книгу, в которой многие путешественники были прежде нас записаны; против имени каждого он сам выставил чин; а бывшего с нами слугу одного из товарищей он почел натуралистом, потому что этот человек держал в руке несколько трав и камешков, собранных им на вершине.

Спускаясь, набрали мы на кладбище мавров: разрушенные памятники с чалмами, высеченными из камней, и полуистертые арабские надписи свидетельствовали о именах погребенных. Сказывают, что находили во многих местах кости человеческие в самих камнях. Это возможно потому, что известковое свойство камня наполняло могилы капельником и кости заплывали каменной массой. Доказательством тому служат многие известковые накипи в галереях и целая сталактитовая пещера немного ниже кладбища, называемая гротом св. Михаила, где капельники образовали множество столбов, странные фигуры зверей, человеков и проч. Глубина этой пещеры, говорят, ниже горизонта воды; мы не смели опуститься туда без проводника, без свечей и веревок, и отложили посещение оной до другого дня,— но это нам не удалось, равно как и видеть две огромные в горе ямы, сделанные испанцами наподобие мортир, из которых они намерены были выстрелить камнями в англичан во время приступа; но эту опасность отвратил нечаянный случай, доставивший Гибралтар в руки последних.

На третьей вершине мы видели башню, построенную для телеграфа, но разбитую громом, который каждый раз бьет в это место. Полюбовавшись еще прекрасною панорамой, мы спустились вниз утомленные чрезвычайно и поехали на свой фрегат отдохнуть.

ПИСЬМО 3

Сегодня мы были с визитом у губернатора, который, как я сказал, живет в своем загородном доме. Старик лорд Чатам, старший брат славного Питта, принял нас очень ласково; говорил с нами слегка о разных материях, но его нездоровье

сократило наш визит. Ему по виду около 80 лет, хотя англичане и уверяют, будто он не старше 70.

Мы ездили туда поутру; солнце пекло нестерпимо, маленькие мушки (mosquitoes) беспокоили чрезвычайно. Часовые на валу стоят под нарочно устроенными из циновок зонтиками; иначе оставаться на открытом месте невозможно. Здесь несносно жарко в продолжение короткого дня; но зато росистые ночи очень холодны. Говорят, что климат довольно здоров и одни только восточные ветры приносят с собою жаркую, удушливую и сырую погоду, которая, расслабляя человека, причиняет простуды, головные боли и другие припадки. Уверяют, будто при этом ветре ничего не должно запасать впрок, разливать вина, солить мяса и проч.; иначе все будет вскорости испорчено.

Я сказывал уже, что испанская граница недалеко от Гибралтара: чрез $\frac{1}{4}$ часа вы уже в Испании. В Алгезирас можно доехать не с большим в 2 часа, заливом же расстоянию не более часовой езды — и при таком близком расстоянии мы не могли быть там по причине беспокойства от инсургентов. Весь испанский берег от Кадикса был в движении во все то время, пока мы были в Гибралтаре. Идучи проливами, мы видели лежавший у Тарифы французский фрегат и слышали с него и с крепости выстрелы, но не могли догадаться о причине; наконец, по прибытии в Гибралтар, это объяснилось следующим образом.

Остатки конституционных испанцев, в числе 700 человек, преследуемые во всех направлениях, собрались под начальство подполковника Вальдеса (Waldez), бросились в Тарифу, имевшую маловажный гарнизон, овладели городом и затворились в нем, в твердом намерении не сдаваться без обороны.

Покуда французские войска, рассеянные в окрестностях, могли собраться в довольном числе, из Алгезираса вышел стоявший там французский фрегат и подошел к лежащему против города островку Тарифе, начал канонаду, полагая принудить к сдаче находящийся на этом островке замок. Не сделав ничего и получив большое повреждение в мачтах, он должен был уйти того же вечера, обитый, в Алгезирас. Эту самую перестрелку мы и слышали, проходя Тарифу.

В продолжение суток под городом собралось до 3000 чел. французских войск; другим партиям дан был приказ двинуться к берегу, по которому стали заметны большие движения между испанцами, ободренными примером инсургентов в Тарифе. — Они начали собираться толпами; везде показалось оружие; раздались песни вольности; смтение становилось

всеобщим; беспорядки начались; личная безопасность была нарушена; тайные убийства сопровождалась явными угрозами — и только военная сила удерживала народ от совершенного возмущения.

В самый день прибытия нашего, для удержания этих беспорядков, расстреляны были четверо самых пылких революционеров. В долине перед Алгезирасом выведены были войска и при стечении множества народу была совершена казнь. Один из инсургентов не хотел завязывать глаз; но увидя генерала О'Донеля в числе зрителей, схватил с нетерпением платок и сказал: «Не хочу осквернять последних минут жизни моей видом человека, предавшего отечество и пришедшего любоваться кровью сограждан». — С этими словами он был расстрелян.

Инсургенты, узнав в Тарифе казнь четырех своих братьев, выставили на другое утро с городских стен головы двух монахов и двух французов напоказ войскам.

На другой день в Алгезирасе опять были расстреляны четыре испанца — и мена сия продолжалась бы ежедневно, если бы участь Тарифы не решилась формальным приступом. Французские войска разделились на три части и атаковали город с трех сторон. Многие граждане приняли конституционных; многие были против них; сражение происходило внутри и вне стен города; инсургенты сражались отчаянно, наконец город был занят войсками. Множество граждан побито и почти весь корпус революционеров истреблен; только пятьдесят человек с самим Вальдесом в живых могли спастись в замок на островок Тарифу.

Лишенные всей надежды, инсургенты могли бы долго защищаться в крепком и почти неприступном замке, если бы недостаток воды, которой не могли заготовить в продолжение короткого владычества над городом, не заставил их поколебаться. Мнения разделились; увещания Вальдеса не действовали, страх томительной смерти поселил уныние в сердцах малочисленного гарнизона; раздался ропот; начали говорить о том, чтобы отворить ворота; наконец повинование к начальнику исчезло. Вальдес, видя такое расположение умов, воспользовался темнотою ночи и уехал на маленькой лодке с шестерыми в Гибралтар; еще несколько человек бежали на Африканский берег, а остальные, отворив на другое утро крепость, были взяты и перевешаны французами. — Так рассказывали об этом в Гибралтаре.

Истребление этой партии, последней надежды инсургентов, восстановило спокойствие в народе. Осада, взятие Тари-

фы, завладение замком происходили в продолжение пяти дней нашей бытности в Гибралтаре; с высоты горы можно было в трубу видеть дым сражения. Вальдес приехал ночью накануне нашего отъезда.

В Гибралтаре безопасен всякий, пришедший укрыться под защиту английских законов; таким образом многие из испанских конституционных министров, как-то: Лопес-Баньос, Наварро, Эспиноза и много других укрываются до сих пор в Гибралтаре, но положение их, впрочем, самое жалкое. Англинское правительство, давая им убежище, позволяет только жить на рейде, но не вступать в город. Одна безопасность составляет все их выгоды, потому что они едва имеют насущный хлеб для своего пропитания, и то частные люди дают некоторым из них по $\frac{1}{4}$ испанского пиастра (по 1 руб. 25 коп.). Лопес-Баньос, Наварро, Алава, Квируга, Мина и другие, все вместе не имели более 100 пиастров, когда приехали в Гибралтар.

ПИСЬМО 4

Гибралтар, как и вообще вольные торговые города на юге Европы, представляет удивительное разнообразие в жителях и посетителях. Кроме всех почти наций нашей части света, видишь жидов, индейцев, турок, мавров, варварийцев, в их костюмах, с их обычаями.— Всего удивительнее, что португальцев гораздо более в Гибралтаре, нежели испанцев: португалец там настоящий жилец, испанец только привозит на продажу свои продукты, или приезжает покупать товары, которые после перепродает тайным образом в Испании. Контрабандисты составляют особый класс людей и особливые даже селения по берегу и горам. Решительность, мужество, верность в слове, самая честность в их бесчестных поступках, а более всего наличные деньги, заставляют их уважать в Гибралтаре. В городе, где торговля отправляется беспопылинно, всякий тот честен, кто платит исправно деньги; но в Испании законы противу непозволенной торговли весьма строги. Однако, несмотря на преследования, эта торговля очень значительна; местное положение, туманы, темные ночи, совершенное познание берегов и их опасностей, куда ни одна душа не отважится следовать за контрабандистами, избавляют их от весьма бдительного, впрочем, надзора.

Одежда испанского простолюдина очень красива, особенно если она побогаче. Мне показали одного контрабандиста,

который, вероятно, имел способ хорошо одеться. Соломенная шляпа с круглой тульей и весьма широкими полями, около которых висят шелковые кисточки, куртка с наплечниками, обшитыми позументом, большие пуговицы, оплетенные золотом, шелковый пояс, бархатные штаны, вышитые золотыми шнурами по швам и застегнутые во всю высоту сбоку на крючки, башмаки и штиблеты из белой кожи, выстроченные узорами и обхватывающие статную ногу — составляют одежду. Небрежно накинутая на левое плечо короткая епанча оканчивает наряд.

Испанок, перевозимых всеми путешественниками, я не видал; малое число их в Гибралтаре состояло из низшего класса женщин, по которым не можно судить о всем поле их. Однако же блестящие, живые глаза, одни только видные из-за покрывала, кинутого фатою на голову и схваченного впереди или рукою или булавкой перед самым носом, чрезвычайно маленькая нога и прекрасная поступь, даже в этом классе людей, заставляли нас думать, что мы лишились большого удовольствия, не видав красавиц Андалузии, и особенно славящихся красотой женщин Кадикса.

Нас принимали в Гибралтаре как нельзя лучше; флотских здесь не было; зато мы подружились с офицерами полков, составляющих гарнизон, особенно с 43-м полком. Отлично воспитанные, прекрасные собою молодые люди не разлучались с нами во все пребывание наше. Красивые шлюбки, на которых сами офицеры в щеголеватых матросских платьях сидели вместо гребцов и полные любопытствующими дамами, беспрестанно приставали к нашему фрегату. Нам едва доставало времени, чтоб обегать Гибралтар: мы или принимали посещения, или должны были ездить с своими гостями на обеды и вечера. Общество офицеров имеет общий стол; женатые живут своим хозяйством, но часто холостые беседы оживляются присутствием дам; здесь в Гибралтаре дамы не выходят из-за стола по окончании обеда; здесь изгнаны из обществ продолжительные послеобеденные возлияния в честь Бахуса.

Задул попутный ветер от востока; нам нельзя было терять его: должно было сниматься с якоря. — Все наши знакомцы приехали проводить нас; мы благодарили за гостеприимство: — «Не за что, — отвечал Свитланд; — кроме того, что любим русских, мы рады видеть чужестранцев, с которыми можно поговорить: здесь видим много людей и мало таких, с которыми бы можно было возобновить свои идеи. Все новости наши состоят в газетах; которые возвещают здесь уже то, что состарилось для других частей Европы, и теперь единст-

венный для нас источник новостей — война инсургентов — иссяк со взятием Тарифы. Необходимость иметь что-нибудь новое заставляет газетчиков выдумывать свое; так например о вашем прибытии сюда в нашей газете стоит следующее: «Сюда прибыл российский фрегат, которого назначение неизвестно; офицеры на вопросы отвечают таинственно и двусмысленно, что дает причину полагать в этой экспедиции какое-нибудь скрытое и важное намерение. Но кажется, это намерение разгадано и состоит в завладении *Порт-Магоном*. Офицеры говорят, что останутся здесь несколько дней для отдыха команде; но, как кажется, они ожидают своей эскадры, вышедшей в море вместе с ними и прошедшей в океан севернее Англии, для лучшего скрытия своих намерений».

Как же удивится г. газетчик, вскричали мы, когда увидит, что вместо востока мы пойдем к западу! — Прощайте, любезные наши хозяева! С сими словами паруса наши развернулись, якорь был поднят, и мы при пушечном громе с фрегата и с крепости, при громких восклицаниях ура, с плюбок нас провожавших, с ветром и с теченьем понесли в отечество.

Прощай, благословенная Андалузия! Желание возвращения на родину смешивается с грустью при мысли, что взоры наши, уставшие видом моря, неба, туманов и камней, не отдохнули на вечнозеленых твоих виноградниках.

Прощай! Синяя полоса твоих берегов уже исчезла; одна только морская ласточка вьется за кормою и щебетаньем напоминает близость земли — скоро и та оставит нас!..





14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

С абля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. — Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились; ура солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек.

Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился без успеха; Сухозанету, который, подъехав, показал нам артиллерию, громогласно прокричали подлеца — и это были последние порывы, последние усилия нашей независимости.

Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронесли над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не заметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алая, замерзала.

За нами двинули эскадрон конной гвардии, и когда при входе в узкую Галерную улицу бегущие столпились вместе, я достиг до лейб-гренадеров, следовавших сзади, и сошелся с братом Александром; здесь мы остановили несколько десятков человек, чтобы, в случае натиска конницы, сделать отпор и защитить отступление, но император предпочел продолжать стрельбу по длинной и узкой улице.

Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся. Мертвые тела солдат и народа валялись и валялись на каждом шагу; солдаты забегали в дома, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щадили ни одного закоулка. Таким образом, толпы достигли до первого перекрестка и здесь были встречены новым огнем Павловского гренадерского полка.

Не видав, куда исчез брат мой, я повернул в полуотворенные ворота направо и сошелся с самим хозяином дома; двое порядочно одетых людей бросились также в ворота, и в ту минуту, как первый пригласил нас войти, картечь порази-

ла одного из последних, и он, упав, загородил нам дорогу. Прежде, нежели я успел нагнуться, чтобы приподнять его, он закрыл глаза навеки, кровь брызгала в обе стороны из груди и спины, пуля пробила его насквозь.

— Боже мой! Нельзя ли ему помочь! — воскликнул хозяин.

Шинель молодого человека свалилась с плеч при падении.

Я безмолвно указал ему на рану, которая начиналась немногим ниже левого соска и оканчивалась против самого хребта.

— Да будет воля божия! — сказал хозяин. — Пойдемте ко мне, иначе еще кто-нибудь из нас убудет.

Итак, мы трое, перешед двор, остановились на крыльце; хозяин постучался в дверь; громкий лай собаки, раздавшийся, как гром, в пустых покоях, отвечивал ему.

О росте собаки можно было судить по необыкновенному ее голосу.

— Позвольте мне теперь спросить, господа, кого я имею честь у себя принимать, — говорил хозяин, пока слышался голос слуги, начавшего унимать собаку, отпирать дверь и отодвигать запоры.

Я распахнул шинель, и как полная форма мундира, штаб-офицерские эполеты и крест могли служить достаточным ответом, хозяин учтиво мне поклонился.

— А вы?..

Молодой человек очень приятной физиономии сказал ему свою фамилию и место службы — я жалею, что не помню ни того ни другого.

В эту минуту замок, запор и несколько задвижек были отодвинуты, дверь приотворилась и слуга высунул голову.

— Я не один, поддержи собаку, пока мы пройдем, — сказал хозяин и, подав нам обоим руки, пригласил войти в дом; предосторожность его была необходима, потому что датская собака чудовищной величины рвалась из рук слуги, едва могшего удерживать ее за ошейник.

Мы вошли в комнату нижнего этажа, и когда подали свечу, хозяин приказал запереть снова двери, закрыть ставни на набережную и на двор и не сказывать его дома.

Пушечные выстрелы гремели по улице и на Неве, ружейная пальба не переставала по обе стороны дома; все, что я сказал, едва ли продолжалось десять минут, потом пушки замолкли, ружейные выстрелы слышались изредка, наконец, и те перестали.

Подали чай без сливок, потому что хозяин постился. Раз-

говор наш, хотя и относился до ужасных происшествий сего дня, был сух и холоден. Все трое были незнакомы друг другу, недоверчивость связывала каждому язык, принуждение каждого светилось сквозь светскую учтивость, когда мы остались друг с другом.

Тут я рассмотрел хозяина: он был с меня ростом и по виду лет 45 мужчина, но с цветущим здоровьем, с приятным и красивым лицом. Постоянные черные глаза ручались за твердость его характера, в черных волосах не было ни одной седины, которая бы обнаружила излишество внутреннего огня. На сером фраке, шитом столько по моде, чтоб не отстать от ней и не проходить на бульварных щеголей, надета была неаполитанская звезда.

Наконец, на обеих сторонах дома все утихло; слуга, выходявший несколько раз за ворота, сказывал, что по улицам и набережной разъезжают одни патрули.

Тогда молодой человек встал, поблагодарил хозяина за гостеприимство, повторил свою фамилию и был выпущен слугою на безлюдную набережную. Пределы приличия не позволяли мне оставаться долее; но я считал еще опасным выйти на улицу и, когда хозяин, проводя своего гостя, подошел ко мне с таким видом, будто желал и моего ухода, я ему сказал:

— Вы сделали великодушное дело, укрыв нас от картечей, и теперь, когда их нечего бояться, молодой мой товарищ ушел; по законам учтивости должно бы уйти и мне, но ваши поступки внушают мне доверенность: я должен сказать причину, почему прошу у вас гостеприимства еще на час или на два,— я один из приведших на площадь войска, не присягнувшие Николаю.

Хозяин мой побледнел, сомнение выразилось на его лице.

— Теперь дело сделано,— продолжал я, заметив перемону,— вы властны располагать мною: или выдать, как бунтовщика, или укрыть, как преследуемого несчастливца.

Он протянул руку.

— Вы остаетесь у меня, сколько нужно для вашей безопасности,— сказал он.

— Рассудите, на что вы решаетесь: сверх мною сказанного, вы обязаны объявить, кого вы укрываете... я...

— Не нужно... мне довольно одного вашего несчастья,— сказал он, торопливо взяв меня за руку и сажая с участием на стул.

— Вы великодушный человек,— отвечал я,— в таком случае я не употреблю во зло вашего снисхождения, за которое да заплатит вам бог.

— Мы начнем с того, что перейдем отсюда в другую комнату, потому что я занимаю обыкновенно эту, а ко мне может кто-нибудь зайти, увидя сквозь ставни огонь.

Сказав это, он вывел меня в комнату, похожую на кабинет, но заставленную разными мебелью.

— Жена моя в деревне, — продолжал он, — я собираюсь также на днях ехать, и потому весь дом пуст, кроме моих двух комнат и третьей, где живет мой сын, служащий адъютантом у***.

Мы сели, и разговор наш сделался откровеннее. Речь была о расположении войск. Хозяин мой был любопытным свидетелем на площади и видел, желали ли нового государя, и когда по сцеплению мыслей мы дошли до того, кто привел неприсягнувшие полки, я упомянул свою фамилию.

Хозяин мой остановил меня.

— Не сын ли вы Александра Бестужева, бывшего капитаном в инженерном кадетском корпусе?

Я отвечал утвердительно.

— В таком случае рад, — продолжал он, — что могу оказать услугу сыну моего благодетеля. Я воспитывался под его начальством, а потом, могу сказать, был его другом, пока обстоятельства не разлучили нас.

Здесь он рассказал мне свою жизнь, не богатую занимательными происшествиями; самое замечательное было то, что он коротко был известен покойному императору, переписывался с ним и имел несколько от него поручений в чужих краях, будучи употребляем также и как корреспондент ученого артиллерийского комитета; рассказывая свои сношения с Александром и любовь к нему, он дал волю чувствам и, когда кончил похвалы, вынул висевший на груди его портрет государя, поцеловал его с благоговейными слезами и прибавил, что это был подарок самого государя, потому данный, что он не хотел принять никогда никакой награды.

Ласки моего хозяина, которого я узнал имя и фамилию, обворожили меня; я не замечал, как проходило время; было уже около 8 часов вечера, вдруг собака залаяла, у дверей поднялся страшный стук, наконец, разговоры в комнатах, хозяин немного смутился, но когда он увидел вошедшего к нам молодого человека в адъютантском мундире, он мне шепнул, что это — его сын.

Красивый молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, рассказал отцу, что он едва мог урваться из дворца, чтобы переодеться, и что должен немедленно опять ехать туда же.

Молодой человек столько был занят происшествиями этого дня, что почти вовсе не заметил меня, не спрашивал отца о том, что с ним случилось, и с жаром рассказывал о действиях государя, войск и артиллерии.

— Чем же все это кончилось? — сказал мой хозяин. — Я ушел с площади, только что начали стрелять, и потому не знаю остального.

— Одним словом, батюшка, эту толпу мерзавцев разогнали, несколько человек офицеров, с ними бывших, захватили; теперь открывается, что зачинщики всего — братья Бестужевы; их тут без счету, и ни одного из этих подлецов не могли поймать.

Я сжал руки и стиснул зубы, но здесь не место было вступаться за свою обиженную честь. Хозяин мой вздрогнул, взглянув при сих словах на меня, и начал:

— Не брани, любезный друг, так легкомысленно людей, не рассудив хорошенько о их поступках. Ты смотришь на них с одной стороны, видишь их глазами придворного, но если бы ты; подобно мне, был на площади между ними, тогда бы ты согласился, что требования их были очень справедливы.

Здесь хозяин рассказал, на чем основывалось недоверие солдат, сколько могло быть законно отречение Константина, не известное никому и которому не дано было никакого последствия, и как можно было положиться на новую записку его, писанную из Варшавы. Одним словом, говорил благоразумно, так что молодой человек должен был с ним согласиться и с сим убеждением уехал.

— Вы видите, — продолжал хозяин, — что вам небезопасно оставаться в моем доме, имея сына моего с сими мыслями отъявленным неприятелем вашим.

— Я и не намерен оставаться долее, — сказал я, — и хочу, поблагодаря вас, проститься.

— Нет, еще рано, мы поужинаем, дадим еще успокоиться городу и потом расстанемся...





ТРАКТИРНАЯ ЛЕСТНИЦА

I had baried one and all
Who loved me in a human shape;
And the whole carth would hencefort be
A wider prison unto me:
No child — ne sire — no kin had I,
No partner in my misery;

• • • • • Byron

Все, что знал, все, что любил,
Я не возвратно схоронил,
И в области веселой дня
Никто уж не жил для меня!
Без места на пиру земном,
Я... лишний гость на нем.

Жуковский

Я путешествовал довольно по свету, и если обстоятельства не всегда были благоприятны для наблюдений над целыми странами, по крайней мере я не пропускал случаев рассматривать людей в частности, и редко проходило, чтоб наблюдение человека не было для меня поучительно. Таким образом, в одно из моих путешествий, я узнал замечательного старика, историю которого постараюсь рассказать здесь, как умею.

В 1815 году, когда ехал я морем в чужие края, мне надобно было остановиться на несколько дней в Копенгагене, который хотя и был мне известен, но за всем тем привлекал еще мое любопытство. Ничем незанятый, с утра до вечера бродил я по городу; или гулял по живописным окрестностям и любовался видом прекрасного Зунда. В королевский трактир, где была моя квартира, приходил я только для обеда и почлега; за общим столом занимали меня путешественники всех наций, которые большею частью останавливались в сей столице для отдыха после морского пути, совершаемого ими в который-нибудь из портов Балтики, или оттуда в прочие части Европы; ввечеру я приводил в порядок в своем журнале мысли и замечания, сделанные в продолжение дневных моих бродяжничеств.

Комната моя была прямо против большой лестницы; рядом со мною жил дряхлый старик, которого каждое утро трактирный слуга вывозил в креслах с колесами к лестнице, увозил в комнату для обеда и после снова вывозил до вечера. Слуга, которого спросил я о нем, мог только сказать, что он знает его очень давно, и что всякое утро ходит смотреть, не умер ли этот скучный старик, который, несмотря на то, что платит хорошо за услуги, надоел всем в трактире своим единообразным поведением и молчаливостью. Хозяин знал не более; он сказал мне его имя, сосчитал богатство, говорил много; но со всем тем я ничего не узнал, ни кто он, ни почему избрал такой странный род жизни.

Этого однако же довольно было, чтобы возбудить любопытство: я начал наблюдать за стариком. Проживши несколько дней в трактире, я считал себя некоторым образом вправе с ним кланяться, как со знакомым; иногда сказать ему: доброе утро, или похвалить погоду, и с удовольствием заметил, что участие живого существа ему было приятно. Датчане, как и все северные германские народы, не очень общежительны, и любопытство нельзя поставить им в порок. Скупость, эгоизм и жизнь каждого про себя делают то, что сосед боится поклониться соседу, чтобы не ознакомиться с ним короче, и часто люди, живущие друг подле друга всю свою жизнь, не только не знакомы, но даже не знают один другого по имени. По этому самому я был, может, единственный человек, приветствовавший учтиво старика, который, время от времени, привыкал ко мне более и более. Ему приятно было внимание чужестранца; кланяясь мне, он снимал теплый свой картуз и долго смотрел за мною вслед, не покрывая своей головы,

с которой остатки белых волос вились редкими кудрями по плечам.

Физиономия его была приятна, но чрезвычайно печальна; часто по целым дням сидел он у лестницы, не примечая прохожих; но иногда какой-то признак улыбки сгонял туман с бледного лица, и большие голубые глаза его оживлялись любопытством. Видно было, что он с особенным удовольствием смотрел на молодых людей; но при виде женщины черты его переменили выражение. Он смотрел в ту сторону, куда она проходила; взоры его останавливались в этом положении; голова склонялась на руку, и я часто, из своей комнаты, сквозь полурастворенную дверь видал, как он отирал слезы.

Наконец я принял в нем самое живое участие; начал чаще говорить с ним, даже сидеть вместе у лестницы. Со всем тем заметил, что он охотнее спрашивал, нежели отвечал на мои вопросы. В разговоре его много было ума и образования; и хотя он берег слова, но короткие вопросы и еще кратчайшие ответы имели в себе удивительную силу опыта и здравого рассудка. Понемногу он привык ко мне, любил слушать мои рассказы, любил спрашивать о моем отечестве; подсмотрев, что я веду журнал, любил, чтоб я прочитывал ему свои замечания: для меня это было незатруднительно, потому что, готовясь жить в Германии, я писал для практики журнал свой на немецком языке. Таким образом я доверялся, не требуя взаимной доверенности, и это был лучший способ выиграть ее.

Однажды, возвратясь с утренней прогулки, остался я после обеда, за дурною погодою, дома и, записав виденное мною в тот день, вышел к своему старику и сел с ним у лестницы.

— Вы писали?— спросил он меня.— Желал бы очень слышать сегодняшние ваши случаи.

— Охотно прочитаю,— сказал я,— сегодня для меня была приятная прогулка.— С этими словами я развернул тетрадку своего журнала и начал:

«Сентября 15 погода поутру прекрасная. Надобно было посетить академию художеств, где мне хотелось посмотреть работы славного Торвальдсена. Я обежал все залы и нашел только одно его ученическое произведение: Амура и Психею. Оно изрядно. Чего же более для ученика? Другого ничего нет замечательного.

Я вышел за город по дороге, ведущей к королевскому зверинцу. С левой стороны рассеяны были прекрасные загородные домики, с правой Зунд катил свои светлозеленые волны. Песчаная дорога вскоре утомила меня, и я, не дошед до зверинца, сел на камень подле самой воды. Легкие набегии струй

спокойного моря взливались почти до ног моих и образовали во всю длину отлогого песчаного берега узкую черту прибитой травы, вымываемых камешков и раковин. Черта сердитого моря была выше на берегу и далеко за мною; видна была граница, до которой докатывались бурные волны; тут они оставляли обломки, обрывки снастей и пену своей ярости. Трава не смела расти на месте, подверженном их нападению; но далее за границей расцветали в безопасности и подорожник, и цикорий, и серебристая мать и мачиха. В проливе светлела вода, как зеркало; корабли, при западном ветре, бежали в обе стороны на юг и на север. Множество лодочек, покачиваясь под парусами, бороздили воду во всех направлениях, будто гонаясь за тенью легких облаков, летевших по ветру и отражавших образ свой в гладкой поверхности моря, на которое изредка набегала мелкая рябь от ветра, временно вырвавшегося из-за берега.

Каменистые холмы шведского берега и на нем Карлскрона были прямо предо мной и под золотыми утренними испарениями живописали всю картину. Облака летели над моею головою к востоку и скрывались за серым шведским берегом; я провожал их взорами, и мысли мои неслись вместе с ними к родине моей. Шелест волн, ласкавшихся к прибережным камешкам, прелесть ландшафта, воспоминания, возбужденные мыслями об отечестве, погрузили меня в мечты; память перелетала от случая к случаю и с грустью остановилась на обстоятельстве, побудившем меня к путешествию. Я вспомнил и ласки надежды и вероломные обманы счастья.

Мои мысли были печальны; я отвернулся от моря и увидел другую картину: по ту сторону дороги, сквозь ворота низенькой изгороди, увидел я подле опрятного домика на скамейке безногого, но еще не старого солдата. Двое здоровых мальчиков прибывали к стене домика грушевое дерево; двое других катали обручем; пятого инвалид, посадив на деревянную ногу свою верхом, качал, припевая веселую песню. Я подошел к нему и попросил напиток. «Сию минуту, сударь», — сказал он, приложив руку к фуражке, и закричал жене своей в окошко, чтоб она вынесла пива. «Не угодно ли вам присесть, пока она нацедит», — продолжал он. Я сел с ним на каменную скамейку и, похвалив детей, спросил с участием, где он потерял ногу?

Он рассказал мне об осаде Копенгагена англичанами, при которой пушечное ядро лишило его возможности продолжать службу; каким образом после сего он женился и живет не-

большую пенсию, счастлив и благополучен, посреди своего семейства с милою женою.

Рассказ его был короток, но чувствования благодарности к провидению, выраженные им с горячностью, и противоположность моих мыслей с картиною семейственного счастья, тронули меня за сердце, особенно когда прекрасная женщина вынесла мне на тарелке пару больших груш и в кружке пива, а служивый, взяв ее за руку, продолжал: «Так, сударь, я счастлив, и несмотря на то, что беден и без ноги, любим доброю Бертою; на что мне после этого богатство, когда я сыт и счастлив в своем семействе теперь, а в поздние лета надеюсь быть утешен и призрен попечениями детей своих».

Я взял кружку из рук хозяйки и, чтоб скрыть проступившие на глазах моих слезы, делал усилие пропустить несколько глотков...»

Я был остановлен рыданиями старика, который, закрыв одною рукою лицо, махал другою, как бы упрашивая не продолжать более.

Испуганный, я не знал чему приписать это, припадку ли, или моему чтению. Горесть имеет в себе нечто торжественное и внушает какое-то почтение; иногда самое утешение бывает не у места, и потому я, со стесненным сердцем, безмолвно ожидал, пока пройдет сила первого возмущения. Старик скоро открыл свое лицо, протянул ко мне руку и с усилием голоса просил извинения, что встревожил меня. «Я постараюсь вам заплатить за это,— продолжал он,— и как скоро соберусь с силами, то расскажу вам, почему вы видели слезы мои». Он позвонил; слуга увез его в комнату.

Прошло несколько дней точно таких же, как и прежде. Старик по-прежнему сидел у лестницы, но был очень слаб. Наконец мне надобно было ехать: я сказал ему об этом за день до отъезда, и казалось, что это известие тронуло старика.

«Мне жаль, что расстаюсь так скоро с вами,— сказал он.— Однако же надобно исполнить свое обещание: не откажитесь обедать сегодня у меня, и вы услышите мою историю, молодой человек».

Я дал слово.

За обедом старик против обыкновения хотел казаться веселым; часто слова его сопровождались приятными шутками, но минутная улыбка тотчас исчезала с лица его, омраченного выражением горести. Так точно потешный огонь, блеснув ночью на несколько секунд, оставляет после себя еще большую темноту, нежели прежде.

Это было осенью. В шесть часов уже смеркалось. Старик будто дожидался времени, в которое сердце человеческое по каким-то непонятым побуждениям становится смелее, доверчивее и откровеннее.

Кофе был снят, стол убран; мы сидели друг подле друга на софе; сердце мое билось от ожидания. Наконец после долгого молчания старик начал.

«Я вступил в свет 19 лет, с отличным образованием, с большим богатством, с хорошим именем, с живым и пылким характером и блестящими надеждами на будущее: передо мной открыто было поприще гражданской службы; я занял видное место; мои способности, со вспомогательными средствами образования и богатства, обещали мне в свете все почести. Ревность к службе, снискавшая мне доверенность высших начальников, ручалась за постоянство успеха на пути к отличиям. Я был любим в обществе и уважаем товарищами. Казалось, ничего мне не доставало к моему возвышению.

Юность, ловкость, богатство завлекали меня часто в любовные связи, но никогда сердце не участвовало в сих успехах тщеславия. Предоставленный рано самому себе, я сделался ветреником, и, надменный несколькими легкими победами, начал не уважать женщин. Я не знал, какого наслаждения лишал себя, теряя это благороднейшее чувство, которое одно только доставляет нам истинное на земле счастье.

Я сделался горд, независим в своих поступках; сердился на свет и скучал всеми его удовольствиями. Судьба слишком рано поставила меня выше товарищей, и потому я не находил себе равного. К женщинам я был уже совершенно равнодушен. В таком пресыщении души и холодности сердца достиг я до двадцатипятилетнего возраста, наскучив жизнью, подобно многим любимцам счастья, избалованным преждевременными успехами в свете.

Такое существование мало приличествовало моему пылкому характеру. Деятельность службы занимала только ум; сердце же, по ошибочному направлению искавшее занятия в рассеянности, не находило пищи и снедало само себя.

Мне предлагали жениться; но мнение, составленное о женщинах и какое-то удаление от девиц, между которыми не встречал еще ни одной, обратившей моего внимания, отвлекал меня от супружества.

Однако же час мой настал. В одном обществе я увидел

девицу, которой красота и скромный вид поразили меня. Сначала по гордости чувствований думал я, что смотрю на нее, как художник на прекрасное изображение, но когда мне сказали, что она уже невеста, тайная горесть, овладевшая душою, и образ ее, не оставивший моих мыслей, показали, что я заплатил дань любви. Не знаю, было ли бы продолжительно впечатление, сделанное милою девушкою, если б она была свободна, или, по своенравию человеческой природы желания наши возбуждаются одними препятствиями, только огонь неиспытанной страсти загорелся в сердце моем со всею силою.

Свадьба той, которая умела внушить незнакомые чувствования, лишила меня вовсе спокойствия. Не подозревая за собою любви, я думал сначала, что терзания сердца были движениями оскорбленного самолюбия и что мне должно отнять то сокровище, которым владел другой не по праву; свое же право я поставлял в том, что оно мне нравилось, следовательно, должно было принадлежать мне.

Не буду описывать, как и после каких долгих искушений, от которых надобно было устоять только свыше, нежели человеку, я восторжествовал над милою женщиною; скажу только, что искания мои начались от самолюбия, кончились самою пламенною любовью, и эта любовь решила участь моей жизни.

Несколько месяцев протекли в совершенном блаженстве; тайна острила чувство наслаждения. Я переселился в новый для себя мир, оживленный собственными чувствованиями; казалось, все в нем создано было для нашего счастья: небо было светлее; скука, туманившая землю, исчезла; люди казались добрее; согретая душа моя отверзлась вновь для благодарных чувствований. То, чему я перестал верить, возобновилось во мне с удивительною свежестью. Эгоизм, возрожденный холодным наблюдением, исчез, место его заступила жаркая любовь к ближнему; я стал счастливее и добродетельнее.

Так думал я основать свое счастье, но увидел, что преступные чувствования, как бы ни казались они возвышенными, не ведут нас никогда к благополучию. Вскоре яд ревности отравил общее наше спокойствие. Муж моей любезной начал подозревать наше обращение. Домашние ссоры заступили место согласия, и привязчивость ко мне возростала беспрестанно. Я должен был терпеть, потому что любил пламенно. Все оскорбления, сделанные моему самолюбию, считал я ниже чувствования, заставлявшего переносить их; самая со-

весть, вмешиваясь в рассуждения мои, твердила, что я заслуживал это, и потому, следуя внушениям благоразумия, успевал я иногда успокаивать встревоженные подозрения ревности; но не менее того причина подозрений всегда существовала: мир семейственный был нарушен; брюзгливость водворилась между супругами, и лучшие люди, отдаляясь друг от друга, близки были к ненависти.

Чтобы отвлечь подозрения, снова начал посещать я противу воли общества и по-старому ласкаться к женщинам большого света. Никакая мысль измены не могла найти места в сердце моем, полном любви; но неопытность юной подружки моей, ее младенческая доверчивость, моя дурная слава, укоренившаяся во мнении общем и наконец подтверждаемая собственным ее опытом, заставляли бояться моей неверности. Уверения мои, что такое поведение нужно для спокойствия общего, не действовали: она была несчастна от ревности мужа, но собственная ревность делала ее несчастною вдвое. Не в состоянии воздерживать пламенных чувствований своих, часто изменяла она своей страсти, не взирая на присутствие посторонних людей, несмотря на беспокойный и бдительный надзор своего мужа. Живой и пылкий характер ее принимал глубоко впечатление. Как часто видал я нежное лицо ее, оживленное улыбкой удовольствия и неизъяснимой прелестью выражавшейся во взорах любви, изменявшимся совершенно: в одно мгновение румянец пропадал, бледность и судорожное оцепенение губ заменяли улыбку. Краска выступала снова, но не та, которая дает новую прелесть красоте; глаза сверкали и потухали; дыхание замирало. Это бывало в обществах; наедине горестнейшие сцены меня ожидали: я бывал обременен всеми проклятиями, которые влечет за собою сознание преступления.

Этого было еще недовольно к моему несчастью: мною овладело чувство, похожее на ревность, но которого точно определить не умею. Я не мог упрекнуть любимую женщину ни даже в тени неверности, обвинить хотя в легкомысленном взгляде, уважал ее добродетель в самой слабости; но мысль, что она должна была делить свое сердце, волею или неволею, умерщвляла совершенно душу мою. Эта мысль была тем мучительнее, что нечистый источник ее был в собственном моем сердце; подозрение обыкновенной ревности гнездится только в воображении: муж, угнетавший жену своей ревностью, и она, отравлявшая тем же все минуты жизни своей, могли только подозревать; но подозрение неутвержденное имеет и свои покойные минуты. А мне, мне же не в чем было сом-

неваться! Одно имя мужа приводило меня в трепет; приближение его к любимой мною особе оледеняло всю мою внутренность; мучительная достоверность, увеличиваемая чувствованием бессилия к отвращению наносимых им оскорблений, которые он делал мне умышленно язвительными своими супружескими ласками, наполняла все мое существование ужаснейшими терзаниями. Бывали минуты, когда я забывал сам себя; когда кровь, застывая капля по капле в сердце, вдруг разливалась жгучим пламенем по жилам. Тогда я готов был броситься на противника своего как тигр и растерзать его; но кроткий и умоляющий взгляд любви обезоруживал меня, и я, делая жесточайший перелом чувствований своих, вонзал нож в собственное сердце.

Таково было начало непозволительной любви, в которой многие думают искать своего счастья. И хотя действительно бывают минуты, которых нельзя купить ни за какие сокровища земные; но эти минуты кратки и не в состоянии выкупить последующие за ними дни горестей и раскаяния.

Хладнокровный человек спросил бы: почему же ты, чувствуя такие мучения, не переменял своих поступков и для общего спокойствия не сделал усилия разорвать преступную связь?

Я бы отвечал тогда и отвечаю теперь, что такая любовь подобна падению человека, который, сделав неосторожный шаг с крутой горы, не может уже остановиться и, не взирая на все усилия, только увеличивает скорость своего бега; наконец, увлекаемый непреодолимою силою, падает в разверстную пред ним пропасть невозвратно.

Так было и с нами. Несчастья наши увеличивались; но они, казалось, разделяя, более стягивали узел, нас соединявший. Связь наша еще более утвердилась союзом отеческой любви. Тайна осталась неразгаданною для супруга: он считал себя счастливым отцом прекрасного мальчика, для которого родительские ласки его были неистощимы. С какою завистью смотрел я на его восхищение, на те попечения, которыми он осыпал младенца! Сердце мое терзалось от горести и негодования, что я должен скрывать, что не могу дать свободы жаркому и священнейшему чувству природы. Но я вымещал изъявление любви своей на других детях; ласки мои даже были неистовы: часто доходили до того, что я плакал вместе с ребенком, испуганным от стремительности восторгов, которыми вознаграждал я свое принуждение. Это принуждение и негодование росли вместе с мальчиком, которого сле-

пая любовь отца делала образцом баловства и дурных привычек. Преступление боязливо, и робкая любовь матери не имела силы останавливать успехов безнравственного воспитания сына, несмотря на все мои убеждения. Ребенок в пять лет превосходил все примеры сверстников в дурных поступках, и каждая минута его возраста была моим мучением: я казался собственными своими делами.

Общие наши несчастья увеличивались с минуты на минуту. С трудом восстанавливаемое согласие расстраивалось беспрестанно; спокойствие было нарушено. В продолжение этого времени горестное мое положение, обратившее все мысли и способности мои к одному предмету, отняло у меня нравственные силы для занятий чем-либо другим. Я начал небрежностью обществом, службою, собственными делами. Люди прозвали меня дикарем; начальство остерегалось делать какие-либо поручения человеку, который не хотел заниматься должностью. Я лишился места; имение было расстроено; я ни о чем не думал; непонятное равнодушие ко всему разительно противоречило беспрестанному терзанию страстей моих; все мои душевные качества слились в одно только чувство; я пылал только при одной мысли; другие же мои действия отделились какою-то неизъяснимою грустию и подавлялись при самом начале тяжким душевным унынием.

Страдания разрушили меня, но успехи разрушения еще быстрее действовали над нежною подругою моего несчастья. Потеря спокойствия душевного, порывы страстей, а более их принуждение, мое положение, дурное воспитание сына растерзали слабое сердце ее. Болезнь быстрыми шагами привела ее к дверям гроба. Я не забуду ужасной минуты, улученной мною перед ее кончиною. «Ты причиною моей смерти и смерти ужасной,— говорила она,— я умираю, не имея силы раскаяться, потому что еще люблю тебя. Я не уношу за пределы жизни ни одного утешительного чувствования. Холодность к мужу моему, рожденная твоею взыскательною любовью, не оставляет меня при смерти; да и самая любовь моя к тебе может ли назваться утешительною при дверях гроба, когда она отравлена угрызениями совести? Помышление же о судьбе сына, мужа и твоей приводит меня в трепет: я не вижу в будущем ничего кроме страданий. Но я тебе прощаю. Живи, если можно, для сына!»

Старик остановился; дрожащий голос его прервался; слезы выступили на глазах. «Она умерла,— сказал он, помолчав,— и конечно судьбе угодно было оставить мне жизнь для того, чтоб продолжать мои мучения до сих пор; просто че-

ловеческих сил не достало бы переносить страдания так долго.

Смерть жены открыла мужу нашу связь; он нашел несколько писем, которые объяснили ему даже тайну рождения сына... Он был столько благодарен, что скрыл от света несчастье жены и собственное... Но мог ли он смотреть равнодушно на дитя, которое беспрестанно напоминало ему бесчестие семейства? Нет, этого нельзя ему было сделать... Я сужу по неукротимости собственных страстей. И так холодность и отвращение к ребенку увеличивались; пренебреженное воспитание сделало из него совершенного негодяя. Я не мог видеть его, не мог направить склонностей, но какая-то тайная надежда быть ему полезным привязывала меня к жизни и заставляла переносить страдания души растерзанной.

Таким образом сын мой достиг до 17-летнего возраста, а ненависть отца до высочайшей степени: он не мог долее скрываться и, выведенный из терпения его дурными поступками, открыл с упреками тайну его происхождения. Молодой человек, после многих знаков взаимной холодности, решился избежать презрительного принуждения, оставив родительский дом.

Вообрази, друг мой, восхищение мое при этом случае. Я думал, что терпение мое награждено; мне казалось, что этот поступок возвращает мне сына, мои права, и что я уже не один в мире. Болезнь препятствовала мне самому броситься в объятия сына; я написал к нему письмо; изъяснил то, что могло быть от него скрыто, и нетерпеливо и радостно ожидал прижать к оживленному сердцу плод стольких страданий и несчастий... Но я жестоко обманулся в моей льстивой надежде... сын мой не пришел... он прислал только письмо... вот... прочти... ты увидишь, что я не в состоянии сам прочесть его...»

Я взял бумагу из трепещущих рук старца и про себя читал следующее:

«Милостивый Государь!

Кто бы вы ни были, человек или чудовище, но если в самом деле дали мне жизнь, то я должен вас ненавидеть. И какую жизнь дали вы мне? Без семейства, без отца, без доброго имени. Кто убил мать и сына сделал не человеком, не дав ему ни имени, ни нравственности, тот сам не заслуживает имени отца. Прощайте! Я никогда вас не увижу...»

Я видел, как глаза старика следовали за движениями

моих глаз и как черты лица его и движение руки выражали значение каждой строчки, каждого слова, вытвержденного им наизусть; наконец он не вытерпел напряжения чувств: глаза его налились, он закрыл себе лицо и долго рыдал, не могши вымолвить ни одного слова.

«Моя история кончилась,— начал он, успокоившись,— какой случай разительнее этого могу рассказать я? Я не видал и не слышал более о моем сыне. Несчастный, отчаянный, терзаемый раскаянием, тридцать лет после сего влачу тяжкую и презрительную жизнь. Мучимый совестью человек похож на того, кто осмелился пристально поглядеть на солнце: он после беспрестанно видит перед глазами, куда ни обернется их, черное пятно. Это пятно ложилось на все мои мысли, на все дела, на все мои поступки, и меня, пораженного проклятием неба, дряхлость постигла в сем положении. Я не мог выходить из комнаты, не мог ни о чем заботиться. Родственников у меня нет, и люди мои, употребляя во зло слабость и невнимательность, обманывали меня безнаказанно, потому что меня ничто не тревожило более. Однако же мысль о том, что у меня, может, есть сын, заставила подумать о приведении в порядок дел своих. Я перевел свое имение на деньги, положил в банк с условием, если чрез 20 лет не найдется мой наследник, то употребить капитал на богоугодные дела. Одна надежда увидеть когда-нибудь сына и попросить у него прощения подкрепляла меня. Таким образом, живучи процентами, для избежания несносной скуки, меня подавляющей, нанял я комнату в этом трактире, и, чтобы не совсем раззнакомиться с видом людей, заставляю вывозить себя к лестнице.

Итак ты видишь, друг мой, что приятная жизнь, честная служба, счастье семейственное, удовольствия общества для меня не существовали: они были сном, идеалом, к которому стремилась душа моя, и вместо блестящего удела, который обещали мне богатство и те дары, которыми щедро наделила меня природа, осталось мне только горестное утешение сидеть у лестницы и смотреть на прохожих, которые часто, смеясь над участью старого холостяка, беспрестанно возобновляют мучительную казнь моего сердца.

Впиши мою историю в свой журнал, молодой человек,— продолжал он,— может быть, когда-нибудь случится тебе сделать из нее полезное употребление».

Он перестал; горькие слезы катились по щекам его. Мы расстались безмолвно.

На другое утро он был очень слаб, когда я, выходя поутру,

приветствовал его по обыкновению у лестницы. Возвращаясь в полдень домой, снизу еще увидел я около него толпу людей, которые очень горячо о чем-то рассуждали. Пораженный предчувствием, я взбежал вверх в несколько скачков: он сидел, опершись и закрыв лицо левою рукою, сквозь пальцы которой еще блистали слезы; правая лежала на сердце... но оно уже не билось... Несчастный кончил свою страдальческую жизнь.,,





ПОХОРОНЫ

«Г-жа N. N с малолетними детьми, с прискорбием извещая о кончине супруга ее, случившейся сего августа в ... день, просит пожаловать ... числа на погребение и вынос тела из дому, состоящего в N в ... квартале и проч.»

Неожиданная смерть этого человека, на погребение которого приглашали, была причиной моего чрезвычайного удивления. Еще не прошло недели, как я видел его в цвете лет, окруженного милым семейством, женою и детьми, посреди блестящего круга знакомых, игравшего знатную роль в большом свете, где все обещало ему светлую будущность. Мы были с ним знакомы с детства, даже в годах первой молодости, я думал, что мы были дружны, но вскоре различная участь наша, оставившая меня на той же ступени, где я стоял, и призвавшая его в круг большого света, разочаровала меня. Мы остались знакомы, т. е. я получал приглашения на свадьбу, обеды и прочее; но развлечения и обязанности и все, что называется жизнью большого света, не оставляли бывшему другу моему времени, чтоб позаботиться о дружбе нашей.

Изредка только, если случалось ему заставить меня дома, когда у него было намерение оставить карточку, он забегал ко мне на минуту, а иногда, забываясь, при воспоминании старинных наших связей, оставался на несколько часов; но тут я видел всегда другого человека от прежде бывшего товарища. Его живость исчезла, вместо благородных порывов, столь приятных в юноше, заступила какая-то равномерная важность, вместо простосердечной остроты, доставлявшей нам некогда приятные минуты, явилась тонкая ирония, которой наружность носила на себе печать строжайшего приличия, но которой смысл всегда был ядовит; образ его мыслей, суждений лишился прежнего прямого, ясного и нелицеприятного изложения. Вместо оных являлось всегда осторожное, не полное, иногда двусмысленное мнение, от которого он готов был отпереться каждую минуту.

Мы с ним были несогласны во многом: он упрекал меня, что я не люблю большого света; я приводил в свое оправдание его собственную перемену; он доказывал, что большой свет не любит излишеств и порывов; я видел во всем этом свете одну только холодность; на это он отвечал, что все защищаемое мною составляет одни странности и что я с ними — *оригинал*, а это большая брань в большом свете, и, следовательно, будучи *оригиналом*, я не мог быть другом светского человека.

Как бы то ни было, я все любил его и когда получил приглашение на похороны, мне стало горько известие о его безвременной кончине; я представлял себе горесть жены, детей и домашних, участие знакомых и собрался на похороны, чтоб разделить общее чувство печали с теми, кои, подобно мне, казалось, всегда были расположены к этому человеку.

Я не успел на вынос и должен был проехать прямо в церковь. Там посредине стояла высокая катафалка. Ступени ее были обиты черным сукном; бархатный балдахин со множеством страусовых перьев и гербом фамилии осенял стоявший на катафалке гроб; множество свеч горело кругом; множество людей всякого звания волновались около гроба; священство, пение, молитвы, дым кадильный, окружавший облаками сию необыкновенную сцену, — все это возбуждало во мне скорбное ощущение. Воображение, развивая все происшествия первой жизни моей цепью, которой первое звено составляло нашу дружбу с покойным, невольно приковывало последнее кольцо этой цепи к гробу, передо мной стоявшему. Мысли быстро катились и наполняли грудь; наконец ей стало тяжело. Я забылся и заплакал; слезы мои катились

не долго; меня пробудил от моей забывчивости глухой шум полувнятных вопросов, полуответченных слов, — я окинул глазами собрание и увидел, что взоры всех были обращены на меня. Тут я только вспомнил, что нахожусь посреди большого света, где приличие должно замещать все ощущения сердца и где наружный признак оных кладет печать смешного на каждого несчастливца, который будет столько слаб, что даст заметить свое внутреннее движение. Признаюсь, к первой слабости я прибавил другую: мне стало стыдно, — я удалился в угол и, мало-помалу оправившись от замешательства, стал равнодушнее замечать, что предо мною происходило.

Но там ничего не происходило. Казалось бы, что этот обряд должен был сопровождаться чувствованиями, приличными сему торжественному действию, где смерть похитила у семейства супруга, отца, подпору, где каждый член осиротелой семьи внезапно потрясен печальною переменою образа жизни, милой привязанности, где скорбь так прилична, где слезы так необходимы. Но это с большим великолепием отправленное погребение было так же монотонно, как обед, бал или свадьба в большом свете. Супруга и дети покойного, по этикету, должны были оставаться дома; другие родственники, провожавшие гроб, не имели причин ни радоваться, ни печалиться; остальные поезжане или были приглашены также по этикету и с нетерпением ожидали конца похорон или любопытствовали видеть богатый гроб и пышность, окружавшую бренные останки человека большого света.

И так, ни в одном глазе не было слез; не было печального лица, какое-то убийственное равнодушие и холодность царствовали во всем этом сборе, который волновался, прибывал, убывал и не производил на душу никакого впечатления. Сначала по заботливости, с какою некоторые дамы обыскивали свои ридикюли, чтобы удостовериться, с ними ли скляночки спиртов и солей, я полагал, что печальная сцена не обойдется без обмороков, слез и других припадков женской чувствительности; но похороны миновались без всякого случая, подобно грозе, пронесшейся над городом, где много громовых отводов, молча выискивающих молнию, не давая ей разразиться. Думаю, что в самом деле спирты и духи служили сими отводами.

Наконец, обряд был совершен. Меня всегда утомляла эта торжественность, в которой никто никогда не принимает участия, как будто все сии приготовления делаются вовсе не для тех, кои на них приглашаются.

Я был рад, когда кладбище мало-помалу опустело, и я

остался один между мертвых, столь же безмолвных и холодных, как люди того сословия, откуда я только что вырвался.

Долго ходил я между гробов и собирался идти домой, как вдруг сквозь ограду кладбища увидел что-то необыкновенное, привлекшее мое внимание, но чего я не мог рассмотреть, ибо начинало уже смеркаться — и движение черного предмета, попеременно скрывавшегося и появлявшегося из-за памятников и кустов, мешало определить образ оного.

Я был в самом отдаленном краю кладбища и, видя, что предмет моего любопытства приближается к воротам, сел на могилу в ожидании развязки; наконец оный показался, повернул ко мне, и я увидел, что это были похоронные дроги состоящим на них черным гробом. Лошадь была покрыта черною попоною; лошадью правил человек в черной же епанче, в большой шляпе с распущенными полями. За гробом не было никого, но когда дроги приблизились, я увидел большую черную собаку, которая шла с опущенной головою и повисшими ушами, изредка оглядываясь на стороны, и боязливо поджимала хвост при малейшем шуме, производимом колесами повозки около кустарников или голосом кучера, ободрявшего тощую и уставшую лошаденку.

— Кого ты привез, любезный друг? — спросил я повозчика.

— Бедного старика, — отвечал он, — которого полиция хоронит от себя.

— Разве у него не было никого родных или знакомых?

— Никого, кроме этой собаки, которую я не могу отбить от гроба.

Эти слова поразили меня, я не мог отказать движению участия, взволновавшему мою душу, встал и пошел за гробом. Собака сначала отбежала на несколько шагов, но я окликнул ее и она, будто бы узнав мои внутренние побуждения, приблизилась опять и хотя не отвечала на мои ласки, но шла со мною рядом без боязни, изредка только помахивая хвостом, когда я время от времени хотел ее погладить.

Я привел себе на память утренние сцены, но мысли мои так были встревожены нечаянностью этой встречи, что я не мог себе дать отчета; нахожу ли сходство между теми и другими похоронами или вижу между ними какую-нибудь разность. Впрочем, мне было не до сравнений. Гроб подъехал к самому дальнему концу кладбища, где стояла маленькая избушка, из которой вышел навстречу могильщик; он узнал полицейского повозчика и с досадою сказал:

— Опять бедняк! От этих голяков только натираем мозо-

ли без всякой выгоды, — и так поздно! Нельзя отдохнуть после дневного труда.

— Не печалься, добрый старик, — сказал я, выступая из-за гроба, — потрудись закопать этого покойника, он остался не без друзей и приятелей, я заплачу тебе за труд твой.

Могильщик в удивлении снял шляпу, повозчик обернулся ко мне, посмотрел с изумленным видом, ибо он не заметил, что я следовал за мертвым, слез с козел, и оба, ни слова не говоря, начали снимать гроб, поглядывая на меня искоса. Один взялся за лопату, другой хотел оборачивать лошадь, но я посулил ему на водку, ежели он поможет спустить гроб в могилу. Он покачал головою, сложил руки, оперся на дроги и в таком положении остался ждать конца действия.

Могила была вырыта, начали опускать покойника. Собака, стоявшая в одинаковом положении подле гроба, в эту минуту подняла жалостный вой, начала бегать кругом, наконец, спрыгнула в яму и, не взирая на усилия могильщика, не хотела оттуда вылезть. Если он хотел взять ее, она лаяла, грозила зубами, глаза ее горели, шерсть поднималась щетиной.

— Ударь ее заступом, — сказал повозчик, — пусть останется в одной могиле с хозяином: ведь он и сам умер, как собака.

— Боже сохрани! — сказал я с негодованием. — Я хозяин собаки с этой минуты — и никто не смеет тронуть ее!

Но могильщику не нужно было увещания: ему стало жаль собаки. Он оперся на заступ, опустил голову на руки и с сожалением смотрел на нее.

— Что же мне делать, барин? — сказал он тихим голосом, по которому заметно было внутреннее его движение.

Я слез в могилу и старался приласкать собаку. Она не лаяла, не злилась за то, что я гладил ее, но когда я хотел ее брать, она поднимала такой страшный вой, что руки мои невольно опускались от ужаса. Наконец, мне удалось накинуть ей на шею петлею платок и вытащить ее из могилы.

Когда засыпали яму, бедное животное сделалось тише. Я заплатил обоим рабочим, велел могильщику выложить могилу дерном и хотя с трудом, но потащил собаку за собою, несмотря на ее визг и упорство. За кладбищем она успокоилась, и вскоре я повел ее без сопротивления.

Если нравственные чувствования в человеке располагают людей в его пользу, если неприятная горесть, если скорбь несчастия заставляют нас принимать участие в разумном существе, одаренном душою чувствительною, долженствующею

необходимо быть хранилищем сих ощущений, сколь более неожиданность встречи сих благородных свойств разительна в животном, которого грубый *инстинкт*, как называют его люди, простирается не далее потребностей самосохранения.

Конечно, инстинкт может научить собаку подавать плавок, отыскивать потерянную вещь и делать множество других фиглярских затей, но не он научил ее любить даже до самоотвержения.

В этот и на другой день напрасно старался я обласкать и накормить нового знакомого; он лежал в углу, печально отвечал на мои ласки легким движением хвоста; часто подходил к запертой двери, и когда она отказывалась уступать его лапе, он с жалостным стоном опять ложился на старое место.

Я привязался чрезвычайно к этой собаке, придумывал разные способы, как бы ее заставить есть; наконец, уже на третий день мне пришло в голову сводить ее на могилу хозяина и там попробовать ее накормить. Истошавшая и слабая, она с радостным лаем бросилась за мною, бодро добежала до кладбища, но почти обессиленная и с знаками прежней горести легла подле свежесложенной дерновой могилы. С полчаса, как бы уважая ее горесть, я не смел начать моего испытания, но после, сев на могилу, положив ее голову к себе на колени и с обыкновенными ласками растворив ей рот, положил небольшой кусок мяса. Нельзя представить моей радости, когда я увидел, что она проглотила этот кусок! Я дал ей другой, третий, наконец, столько, что было довольно для ее подкрепления.

Коротко сказать, моя собака отказывалась всегда есть у меня дома, принимала пищу только на могиле и убегала всякий раз туда, как скоро находила возможность; но я не терял надежды мало-помалу приучить ее к себе, водил ее на могилу и, чтоб она не бегала туда без меня, запирали ее вверху в комнате, куда ходил сам.

Однажды я собрался вести в обыкновенное время моего пленника, к которому я более и более чувствовал привязанность, как один мой знакомый посетил меня с известием о некотором важном деле. Прогулка была отложена, я запер опять собаку вверху и занялся разговором. Важность предмета похищала минуту за минутой, несколько часов прошло, но материя не истощалась, — как вдруг услышали мы оба, будто на улице что-то упало. Знакомец мой сидел подле окна и, выглянув, посмотрел во все стороны, но, ничего не видя, спокойно продолжал разговор; прошел еще час, пока мы кон-

чили беседу, и когда он ушел, я в ту же минуту бросился наверх, зная тоску бедного животного, если урочное время проходило, и что же?.. В ужасе увидел только пустую комнату, в коей растворенное окно разителью объяснило мне загадку падения, слышанного вами во время разговора!..

Я выбежал на улицу, полагая, что невозможно сойти с места после такого скачка; но там ничего не было, кроме нескольких капель крови! Я побежал на кладбище.

И точно — верная собака дошла до кладбища, всползла на могилу, и когда я подошел к ней, она едва собралась с силами приподнять голову. Я не знал, что делать: оттирал ее, ласкал, но ни ласки, ни попечения не помогали. Через несколько минут она подняла голову, поглядела на меня такими глазами, выражение которых было значительнее тысячи слов, полизала мне руку — и умерла!..

Я прошу прощения у тех людей, которые найдут мой рассказ о собаке слишком долгим. Заклучу тем, что, по-моему, нет памятника, более говорящего сердцу, как тот, который поставлен после сего на Немецком кладбище Васильевского острова Гансу Дитриху Гантвиху и на котором лежит мраморное изображение верной собаки...





ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ СТАНЦИЯ

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

(Посвящено А. Г. Муравьевой)

Одна голова не бедна,
А и бедна — так одна.
(Старинная пословица)

Несколько лет тому назад мне надобно было съездить из Петербурга, по делам матери моей, в Новую Ладугу. Когда я совсем собрался, она позвала меня в свою комнату, повторила все наставления, слышанные мною уже несколько раз, и потом прибавила: «по окончании дел в Ладуге, как я тебе сказала, ты должен заехать к нашим соседям Н. и С. ...Я хочу того: во-первых, потому, что дома наши связаны старинной дружбою, во-вторых, что у обоих милые дочери и достойные невесты. Может быть, судьба укажет тебе на которую-нибудь из них, и ты составишь себе такую партию, какую бы я хотела для тебя. Ты знаешь всегдашнее мое желание — видеть тебя женатым: я возрастила и воспитала тебя в надежде нянчить моих внучат. Ты старший в семействе, тебе уже тридцать два года, и до сих пор, по какому-то непонятному для меня упрямству, ты не слушаешь моих советов, не устроишь своей судьбы, не осчастливишь меня исполни-

ем любимой моей мечты — видеть в тебе продолжение нашей фамилии. Берегись холостой старости; я не уважаю старых холостяков!» Мать моя плакала, говоря эти слова; я отвечал общими фразами, что час мой не настал, что я еще не встречал той, которую бы избрало мое сердце, обещал внимательно рассмотреть предлагаемых ею невест, и мы вышли в зал, куда собралось все наше семейство.

Почтовая тройка стояла у ворот; чемодан был вынесен; я стал прощаться и думал, поцеловавшись со всеми, сесть на тележку и ехать, но должно было заплатить дань старине. Меня посадили, мать и сестры сели, мальчик, ехавший со мною, был также посажен, даже горничная, вбежавшая сказать, что извозчик торопит, подпала той же участи: «садись», — сказала ей повелительно матушка; девушка осмотрелась кругом, взглянула на матушку, как будто желая выразить, что ей совестно сидеть с господами, но при новом приказании села на пол, удовлетворяя в одно и то же время и господскому приказу и рабской разборчивости. Несколько минут продолжалось благочестивое молчание, потом все встали и, оборотясь в передний угол, помолились висевшему там распятию. Матушка благословила меня, шепнув, чтоб я не забыл ее советов, простилась, дала поцеловать руку моему мальчику, и я, обняв сестер, спрыгнул с лестницы, вскочил на тележку и исчез, посылая поцелуи рукою в ответ белым платкам сестер, махавшим из окошек.

Итак, меня посылают выбирать невесту! Матушка серьезно хочет меня женить; но об этом надобно подумать да подумать поскорее; в самом деле, в мои лета не надо долго размышлять, а в дороге об чем же и думать?

Но если б спросили меня, что я думал дорогою? — я бы отвечал: ничего! На почтовой тележке не так-то ловко размышлять: того и смотри, чтоб не вылететь из повозки. Осенняя погода покрывала меня, дождь и ветер крепче закутывали в шинель, и я чаще повторял ямщику: «пошел».

За мной остались Пелла и Славянка; я уже подъезжал к Шлиссельбургу, но как человек, служивший на море и редко имевший случай ездить сухим путем, особенно в русском почтовом экипаже, очень чувствовал разницу между сухопутным и водяным сообщением, хотя в настоящем случае я имел бы право сказать, что еду по морю грязи, сопутствуемый прыжками, толчками и ухабами. Налево изредка только открывалась сердитая Нева, катившая быстро свои волны, или какая-нибудь дача, заставлявшая меня высовывать нос из шинели. Мне хотелось полюбоваться каким-нибудь видом,

но дождь закрывал все отдаленные предметы, а ранняя осень обезобразила все картины, обнажив почти деревья; желтые листья, сорванные ветром, неслись с дождем, перегоняя мою повозку. Наконец, избитый и мокрый, не отдохнув взором ни на одном предмете, я увидел Шлиссельбург! Мы въехали в город, и, странное дело! первый предмет, привлечший мое внимание, был аист, свивший гнездо свое на трубе почтового дома. Он стоял и важно поглядывал кругом, как будто обозревая небосклон и замечая, с которой стороны очистится небо, чтобы судить о будущей погоде, может быть, для задуманного им путешествия. Я в первый раз увидел эту птицу в наших северных странах и спросил у извозчика: водятся ли эти птицы здесь? «Нет, барин, прежде не видать было, — отвечал он, — а эта уже четвертый год, каждую весну здесь выводит детенышей и улетает осенью на теплые воды. Дивлюсь, что она еще здесь, ей давно пора лететь». — Она умнее меня и не хотела пуститься в дальний путь в такую скверную погоду, — сказал я, слезая у почтового дому с повозки и стряхивая шивель, с которой текла вода ручьями!

Станционный смотритель равнодушно объявил, что лошади все в разгоне, и как я ни представлял обыкновенных крайностей путешествующих, он отвечал обыкновенными резонами почтовых смотрителей, обещая лошадей не ранее как через час. И действительно, несмотря на мое нетерпение, ровно час прошел, пока возвратились лошади. Я стоял у окна и смотрел, как их перепрягали в мою повозку. Дождь не переставал; крупные капли стучали в окна и лились ручьями по стеклам. Бедные животные, уже пробежавшие свой урок, должны были вновь заучивать его со мною; пар подымался столбом с их осунувшихся боков, которые раздувались, как мехи, от усталости; они стояли, опустя головы, и потряхивали ушами, когда дождевые капли туда попадали. Колокольчик на дуге издавал унылые звуки; не менее того он производил на меня приятное впечатление, предвещая, что я скоро сяду и покачусь после скучного ожидания. Но человек предполагает, а бог располагает: послышался другой колокольчик, и вскоре карета, запряженная в шесть лошадей, а за нею повозка прискакали к станции. Минута ранее — и я бы уехал; теперь это было невозможно, потому что проезжий был сенатор Баранов, ездивший в некоторые губернии помогать жителям, умиравшим с голоду от неурожая, — и следственно мои и еще какие-то лошади были запряжены в карету его превосходительства, а я снова остался горевать в ожидании.

Сенатор вошел в комнату, вежливо поклонился, завел раз-

говор о нашей морской службе; рассказывал о поручении, ему сделанном, и очень скромно похвалился, что из данных ему трех миллионов на вспоможение он не истратил ни копейки. Когда же перепрягли карету, он с большою деликатностью извинился, что отнял у меня лошадей, и уехал.

Исчезла и моя надежда на скорую отправку. Все лошади, сытые и голодные, повезли сенатора, а мне-то что делать? Прежде я ждал как проезжий, теперь остался как жилец. Пришлось знакомиться с своею квартирою и хозяевами. От нечего делать я начал осмотр: небольшая комната была разгорожена надвое; передняя служила и присутственным местом, и спальней смотрителю; в ней у одной стены стояла кровать, у другой под окном — стол; у разгородки изразцовая лежанка выдавалась, вроде русского очага, на половину для проезжих, где и мебель была позамысловатее: кроме софы, нескольких дубовых стульев с кожаными подушками и стола, стояла в одном углу кровать с ситцевыми занавесками, в другом — шкаф, из-за стекла которого видно было несколько фарфоровых чашек разной фигуры с ручками и без ручек, склянки с лекарствами, помадная банка с солью, штоф с какой-то жидкостью, где плавало несколько ягод рябины, опрокинутая рюмка без ножки и полдюжины медных ложек и ложечек в прорезях на полочках. По стенам развешано было несколько картинок, над столом зеркало и деревянные часы. Я со скуки пересмотрел все эти редкости, прочел все надписи на картинках, из которых одна только строчка стихов под портретом Кутузова осталась в моей памяти: *Кутузов прими не лестный света глаз!*¹

Что это, не намек ли?..

Начинало смеркаться; я велел внести мою шкатулку и подать чаю; подойдя к окну, я рассматривал, сколько позволяла погода, представлявшую мне картину. Через дома на противоположной стороне улицы проглядывали по временам, сквозь дождь, стены и башни Шлиссельбургского замка, поставленного на острове посреди Невы, при самом ее истоке из Ладожского озера... Полосы косога ливня обрисовывали еще мрачнее эту и без того угрюмую громаду серых плитных камней; влеве Нева терялась за домами; вправо озеро глуко ревели, перемежая беспрестанно цвет поверхности, смотря по силе порывов и густоте дождя,— и я в первый раз дал свобо-

¹ Этот портрет гравирован известным художником Карделли. Его же гравирования есть два эстампа: путешествие Екатерины по России и восшествие на престол Александра I.

ду своим мыслям, которые до сих пор сдерживались или толчками, или ожиданием. Какое-то грустное чувство развивалось во мне при виде этих башен. Я думал о сценах, которых стены были свидетелями, о завоевании Петра и смерти Ульриха, — о вечном заключении несчастных жертв деспотизма. Мысли невольно останавливались на последних: может быть, думал я, много страдальцев гниет и теперь в этой могиле. Сколько человек, мне известных, исчезли из общества, и тайна их участи осталась непроницаемой. Но за какие преступления, за что, по какому суду осуждаются они на нравственную смерть? Все, что относится до общества и его постановлений, до частных людей и сношений их, ограждено законами; преступления против них публично наказаны; но здесь лица бессильны, преступления их тайны; наказания безотчетны, и почему?.. Потому что люди служат безответною игрушкой для насилия и самоуправства, а не судятся справедливостью и законами. — Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества? Когда же это общество, строящее здание храма законов, потребует отчета в законности и Бастилий и Шлиесельбургов и других таких же мест, которых одно имя возмущает душу? Люди! Люди! Вы привыкли сами спутывать себя узами, вы привыкли носить цепи; властелины ваши знают это и накладывают на вас новые тяготы; вы думаете, что этому так быть надобно. Горе вам, если вы этому не верите. В таком настроении духа я сел за чайный столик.

Выдумка чая прекрасная вещь во всяком случае; в семействе чай сближает родных и дает отдых от домашних забот; в тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостинных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе; кажется, что кипящий напиток согревает сердца, располагает к веселости и откровенности. Старики оставляют подозрительный вид и делаются доверчивее к молодым; молодые становятся внимательнее к старикам. В дороге чай греет, в скуке за ним проводишь время. Одним словом, самовар заменяет в России камин, около которых во Франции и Англии собираются кружки.

Чтобы составить кружок, я пригласил к чаю зрителя и его жену. Хозяйка, которой наряд состоял в повязке на голове и камлотовой юбке, принимая мое приглашение, набросила на плечи черный шелковый платок и скинула головную повязку, чтобы показать, что она не из простых, а носит косу с воткнутым в нее роговым гребнем. Она пила чай впри-

куску; после четырех чашек с крайнею учтивостию опустила назад в сахарницу обгрызок сахара, оставшийся от ее экономных зубов.

— Давно ли вы здесь на станции? — спросил я смотрителя.

Он хотел отвечать, но как в эту минуту он только что хлебнул горячего чаю, то ответ его выразился одним невнятным звуком и потом кашлем. Словоохотная хозяйка предупредила его: «О зимнем Миколе, батюшка, будет восемь лет, как мы попали на это место, и восемь лет мыкаем горе на этой станции; тракт малоезжий; купечество ездит на долгих или на наемных; а кроме кушцов только офицеры да фельегари».

... — Куда же ездят эти фельдъегери?

Смотритель хотел было отвечать, но жена перебила и не смотря, что он кивал головою, раза два крикнул, она продолжала:

— Куда? Прости господи! Не ближе и не далее здешнего места... Разве, разве, что в Архангельск; да туда пусть бы их ехали с богом, а то не пройдет месяца, чтобы не привезли в эту проклятую крепость на острове какого-нибудь беднячьего арестанта.

— И вы выдаете этих арестантов?

— Куда тебе! Нет, родной, никогда не выдаем. Приедут всегда ночью и прямо на берег, не заезжая сюда. Я бегала не раз на реку, да только и видела, что повозку; жаандармы и близко не подпускают; фельегарь крикнет с берегу — с крепости зарычат каким-то дивным голосом; приедет катер: съдут, поедут, и бедняжка как в воду канет. Только по утру, как снег на голову, наскочит подраться да побраниться, да уехать, не заплатив прогонов...

— Что же у вас говорят, как живут арестанты?

— Что говорят, родимый! И бог весть каких страстей не рассказывают — а все мы досконально не знаем. Съезжают оттуда солдаты, да редко; и на тех человечья виденья нет: худы, да тощи, да бедны, — и они, бедняжечки, там на затворе. Спросим, ничего не говорят; а станем пытаться, так я не раз видела, как иного дрожь возьмет, а все толку не добьешься. Видно, что страшно.

— Ваше высокоблагородие, — начал, закашляв, смотритель, — это... — но жена не дала ему кончить и прервала снова, но почти шепотом: — Говорят, что там тюрьмы как колодцы: ни свету божьего, ни земли, ни воздуху; душно как в могиле; каждый сам по себе, и ни встать, ни сесть, ни лечь. Есть подают в окошечко, и бедняжечка не слышит никогда ни го-

лоса, не видит ни лица человеческого: только он да часовые кругом.

— Стало быть, их мучат, их убивают прежде времени?

— Нет, батюшка, мучить не мучат и убивать не убивают, а говорят: что уж коли надобно кого сжить со бела света, так закопают по уши, в землю, да и оставят умирать *своею смертию*.

Сколь ни нелепы были рассказы хозяйки, но, откинув преувеличения, откинув то, что относилось к мучениям физическим, достаточно быть похороненным заживо в этом гробе, чтобы с нравственными страданиями намучиться, умирая *своею смертию*.

Я встал из-за чая в неприятном расположении духа, спросил о лошадях и на отрицательный ответ начал ходить по комнате; здесь мне впервые после выезда пришло в голову желание матушки, чтоб я женился. Странное сцепление идей! Но в этом случае мысль, перебегая с предмета на предмет, невольно обращалась к тем, которых лишение было бы последствием исполнения печальных моих предчувствий. «Матушка хочет этого, — думал я, — это естественно; я сам чувствовал пустоту в сердце, мне чего-то недоставало, даже в кругу милого мне семейства, между достойных моих сестер и братьев. Я думал об этом, когда страсти мои волновались сильнее, когда каждая девушка казалась мне идеалом совершенства, я думал и выбрал; но судьба похитила у меня избранную; смерть разлучила нас. С тех пор воображение сделалось прихотливее, вкус разборчивее, чувства не так пылки. Я создал новый идеал и равнодушно смотрел на женщин, сравнивая их с моею мечтой. За всем тем, безумный! я еще думал жениться! Теперь я вижу яснее, что не могу располагать собой, не могу связать судьбы своей с избранной мною подругой жизни!..

«Я собственность благородного предприятия; я обручен особым союзом — и так могу ли я жениться? Стоя на зыблющемся волкани, захочу ли я привлечь к себе подругу, избираемую для счастья в жизни нашей, чтобы она, не зная бездны под ногами своими, вверилась мне и вверглась вместе со мною в пропасть, ежеминутно готовую раззинуться».

Так я рассуждал, а между тем дождь усиливался, ветер свистал в окошки, на дворе стало совсем темно, а лошадей все еще не было. Наконец, я решил остаться ночевать, несмотря на свою скуку, потому что ехать ночью, в такую погоду, еще скучнее. Зажгли свечи, я открыл шкатулку; со мною было английское Стерново «Чувствительное путешествие»; я

развернул книгу и сел читать: как нарочно, открылось то место, где Стерн говорит о Бастилии:

«...я представил себе все жестокости заключения. Мое сердце было расположено к этому, и я дал полную волю воображению.

«Я начал миллионами мне подобных, но находя, что огромность картины, сколь она ни была разительна, не позволяет приблизить ее к глазам и что множество групп только развлекали меня, я представил себе одного заключенного, запер наперед его в тюрьму, потом остановился посмотреть сквозь решетку двери, чтобы срисовать его изображение.

«Я увидел, что тело его исхудало и высохло от долгого ожидания и заключения; я чувствовал, как сильна сердечная болезнь, рождаемая отлагаемой надеждой. Посмотрев пристальнее, я заметил, что он был бледен и истомлен лихорадкой. В тридцать лет восточный ветер ни разу не освежил его крови. Он не видал ни солнца, ни месяца во все это время — и ни однажды голос друга или родного не проникал сквозь эту решетку; его дети...

«Но здесь мое сердце облилось кровью,— и я принужден был приступить к другой части моего изображения.

«Он сидел в углу на небольшом пучке соломы, служившей ему вместе и стулом и постелью. В головах лежал род календаря из маленьких палочек с заметками печальных дней и ночей, проведенных им в темнице. Одна из этих палочек была у него в руках; он царапал на ней ржавым гвоздем новую заметку еще одного дня бедствия в прибавку к прежним — и как я заслонял последний свет, доходивший до него,— он поднял безнадежные глаза на дверь, опустил их, покачал головою и продолжал свою горестную работу. Я слышал звук цепей, когда он повернулся, чтобы положить палочку в связку с другими. Он тяжело вздохнул; я видел, что это железо въедалось в его душу,— я залился слезами и не мог выдержать долее зрелища, созданного моим воображением...»

Боже мой, в двадцатый раз читаю я это место, но еще впервые оно так на меня действовало! Рассказ хозяйки, картина Стерна, задержка лошадьми, собственные предчувствия... мне кажется, что Шлиссельбург уже обхватывает и душит меня как свою добычу. «Так,— сказал я сам себе шепотом, боясь, чтобы меня не подслушали.— Я имею полное право ужасаться мрачных стен сей ужасной темницы. За мной есть такая тайна, которой малейшая часть, открытая правительству, приведет меня к этой великой пытке. Я всегда

думал только о казни, но сегодня впервые явилась мысль о заключении».

Долго я ходил по комнате, приучая воображение к тюремной жизни, странно проявлявшейся в разных образах предо мною; наконец фантазмагория моих мыслей прояснилась, припомнив, что года три или четыре назад, познакомясь с комендантом Шлиссельбургской крепости, я отвечал на зов его к себе в гости, что постараюсь сделать какую-нибудь шалость, за которую провинность доставят меня к нему на казенный счет. Тогда я еще не имел в виду цели, которая могла бы оправдать мою шутку.

Я сел снова к столу, взял лист бумаги, чертил на нем разные фигуры, карикатурил знакомые лица, читал опять Стерна, писал на него сентенции, свои мысли; рисовал узника в темнице, чертящего на палочке заметку, думал о желании матушки, вставал, ходил, наконец погасил свечу и, скинув сюртук, бросился в постель, чтоб уснуть; но сон бежал моих глаз, — я только что вертелся с боку на бок.

В другой комнате хозяйка лежала нераздетая на своей кровати и храпела; супруг ее сидел за столом и читал вслух четьи-минеи, и это чтение имело усыпительное действие на хозяйку: как скоро он понижал голос или переставал читать, чтобы понюхать табаку из стоявшей подле него берестовой тавлинки, она переставала храпеть, начинала шевелиться или совсем просыпалась. Я сначала думал, что расстановки в чтении делаются неумышленно; однако, взглянув в висевшее над столом зеркало, в котором отражался мой хозяин, увидел, что каждая остановка сопровождалась покушением встать. Но как скоро он замечал, что любезная его половина просыпалась, он садился снова и начинал читать громче прежнего. Наконец после многих опытов, когда убедился, что чтение подействовало как следует, тогда, сняв очки и спустив туфли, он на цыпочках вошел в мою комнату, посмотрел, сплю ли я, отворил шкаф, взял безногую рюмку, налил в нее из штофа водки, выпил, отломил корочку хлеба, посолил, съел и отправился тем же порядком на свое место. Та же комедия начиналась снова: жена по временам просыпалась, делала кой-какие вопросы, он отвечал чтением и таким образом сходил в шкаф в другой и в третий раз; но после этого бодрость его видимо увеличилась: он перенес к себе весь штоф, положил подле себя хлеб, воткнул в него безногую рюмку и начал попивать, закусывать, читать нараспев, икать и заикаться при житии Иоанна Постника.

Меня занимало праздничанье этого доброго человека; по

крайней мере при бессоннице лучшего нечего было делать. Изменническое зеркало передавало мне верно все наслаждения и все забавные страхи хозяина. Наконец он заснул в очках на носу над книгою, а я предался снова мечтам, снова думал о женитьбе, потом о намерении никогда не жениться, а между тем какой-то женский идеал носился в моем воображении против моей воли и занимал меня до 10 часов.

В это время между порывом бури послышался колокольчик. Через несколько минут застучали по мостовой колеса, раздался на крыльце крикливый женский голос, и вслед за тем передняя комната наполнилась людьми. Я различал женские и мужские голоса; зеркало передавало мне мимолетные черты, потому что люди шевелились, переходили с места на место, но я не мог никого рассмотреть. Хозяйка вскочила; зритель проснулся, встал и, опершись на стол руками, повторил обыкновенный свой напев: «лю-ошадей не-т-с!»

Тоненький и светлый женский голос, который приятно отзывался в моем ухе, отвечал ему, что они едут на своих и остановились поправить карету, испортившуюся от дурной дороги. Тот же голос приказал слуге поспешить поправкой, чтобы скорее ехать вперед.

— Помилуйте, Любовь Андреевна, — вскрикнул другой женский голос, не перестававший лепетать ни на одно мгновение, — *я говорила*, что по эдакой дороге нельзя ехать. Песок, дождь, слякоть, ветер; мудрено ли, что карета изломалась. *Я говорила*, что лучше бы остаться нам за Черною; *я говорила*, что придется нам здесь маячить; так уж лучше хорошенько здесь отдохнуть и со светом пуститься в дорогу. *Я говорю*, что ночью худо починивать карету, когда ни зги не видно, а ветер задувает свечи даже в каретных фонарях. *Я говорила*, что это преставление света.

— Любезная Анися Матвеевна, мы здесь ночевать не будем; вам же все равно в карете, — идет ли дождик, или светит месяц. Вы там сухи и спите, кажется, покойнее, нежели в постеле.

— Господи боже мой! покойнее, нежели в постеле! да вы спросите, — как у меня души не вытрясло из тела? *Я говорила*, что с вами не сговоришь. *Говорила я*, что эти молодые барыни не хотят слушать ни разума, ни совета; да по крайней мере, отдохните и успокойтесь хоть минуту, а то *я говорю* вам, что вы приедете в Питер на себя не похожи.

— Я не устала и не хочу отдыхать, я спокойна только буду в Петербурге. Ложитесь вы и не сердитесь, когда раз-

бужу вас чрез полчаса, — вероятно карета в это время будет готова.

Толстая женщина лет сорока, довольно неприятного вида, вошла ко мне в комнату, ворча, со свечкою. Я не намерен был уступать этой даме на полчаса постели и потому притворился сонным, избегая необходимости вставать, надевать скюртук, рассыпаться в учтивостях, тогда как мне покой был нужнее, чем тем, которые ехали в карете. Анисья Матвеевна подошла прямо к кровати; увидев меня, ахнула, перекрестилась с испугу, но, разглядев человеческий образ, начала употреблять воинские хитрости, чтобы выжить меня из позиции. Она говорила очень громко, кашляла, встряхивала перед моим носом свой салоц, так что брызги летели на меня, но ничто не помогало. Я лежал закрыв глаза. Я внутренне смеялся ее отчаянию.

Между тем другая дама вошла также в комнату и, увидя хлопоты своей спутницы, сказала ей потихоньку, что ей не для чего на полчаса беспокоить, вероятно усталого, проезжего и что ежели она хочет спать, то может лечь на софу.

Крикливая моя неприятельница удалилась к софе, бормоча, подложила себе разных свертков и узелков в голову, легла и, разговаривая и по временам повторяя: *я говорила, я говорю*, — заснула.

Пока она возилась, молодая приезжая дама стояла, оборотясь к ней и, наконец, когда та улеглась, взяла свечу и подошла к зеркалу, чтоб скинуть свою дорожную шляпу, чепец, и поправить — я не знаю что: женщины находят и в дороге средство заниматься своим туалетом, — я увидел в зеркале — боже мой, что я увидел! Черты такие, в какие всегда я облекал мою мечту, мой идеал красоты и прелести, который только что носился перед моими глазами! Когда она скинула чепец, густые кудри волос рассыпались по всему лицу, закрыли глаза и щеки; надобно было привести их в порядок: они уложены были за уши, и открытая физиономия показала мне лет двадцати двух женщину. Она была немного бледна — это могло быть с дороги, — впрочем, эта бледность была совершенно к лицу и задумчивому выражению глаз.

Локоны были убраны, свечка поставлена на стол, и молодая незнакомка начала ходить по комнате с сложенными руками и опущенною головою. Первый раз в моей жизни выражение женской физиономии сделало на меня такое впечатление. Со мною что-то случилось необыкновенное; я тысячу раз жалел, что не встал и не уступил места воркунье Анисье Матвеевне. Теперь, думал я, каким образом встать? как без

замешательства явиться в полуодежде? как извиниться и к чему я теперь все это сделаю?— Все это было очень неловко, и я продолжал лежать с полузакрытыми глазами, боясь проронить малейшее движение милой путешественницы.

Она была в черном платье. Почему, думал я, это дорожное платье, но не вдова ли она? В эту самую минуту непослушные локоны рассыпались опять, и снова надобно было поправить их. Тут увидел я на левой ее руке одно только узенькое золотое кольцо — это верно вдова, сказал я сам себе.

На столе, куда она положила свою шляпу и чепец и теперь становила опять свечу, была открытая моя шкатулка; подле нее открытый Стерн, листок бумаги, исписанный и измаранный во всех направлениях, и, наконец, моя подорожная. Это обратило внимание незнакомки; она села — взглянула на книгу, на меня, потом взяла ее, посмотрела заглавие, бросила на меня любопытный взгляд, как бы желая узнать, — что это за оригинал, читающий такую старину? Я не изменял своей роли — лицо мое было полузакрыто рукою, чтобы ловче было видеть, не давая подозрения, что гляжу обоими глазами. И так она, придвинув к себе свечу, начала читать Стерна.

Стало быть, она знает по-англински?

Стерн открыт был на том самом месте, где я оставил чтение, заметив карандашом на поле: «ужасно!» Незнакомка поднесла книгу ближе к свечке, чтоб рассмотреть это замечание, оборотила листок и начала с описания скворца, который бился в клетке своей, повторяя слова: «я не могу вырваться, я не могу вырваться», и, наконец, дошла до картины узника. Я видел только в зеркало ее лицо и замечал, как мало-помалу выражение его помрачалось, как останавливались глаза, трепетали ресницы и две крупные слезы блеснули, отражаясь свечкою; обе эти капли упали на книгу. Я видел, как незнакомка испугалась, вытирала эти капли платком и сушила их своим дыханием. С тех пор я не расстаюсь со Стерном!

Мне пришла в голову странная мысль. Я глядел в зеркало, как девушка на святках, гадающая о суженом, и видел там только лицо незнакомки. Что если эта мечта, этот видимый образ есть ответ на мое гаданье, если.. если это моя суженая?..

Незнакомка положила книгу, оперлась головою на руку и печально смотрела перед собою; по временам навертывались новые слезы. Измаранный лист лежал вместе с книгою, карандаш подле. Это, конечно, значило, что читавший марал его и делал заметки при чтении. Путешественница подвинула к себе в рассеянии листок, но, как бы опомнясь, поспеш-

но положила опять на место. Не менее того, я заметил, что он обратил ее внимание. Я видел, как глаза ее перебегали с фигуры на фигуру, со строчки на строчку; кажется, она хотела убедиться в незначительности бумаги. Наконец, она встала, взглянула на меня, прошлась по комнате и, сев снова, взяла листок. На самом верху у меня было написано: «Узник Стерна еще ужаснее для того, кто читает его здесь в Шлиссельбурге. Воображение этого писателя ничего не значит перед страшною истиною этих мрачных башен и подземельев!»

Кажется, эта простая фраза пробудила воспоминание, ибо дала понятие о том, что неясно представлялось воображению незнакомки. Она подняла голову, посмотрела рассеянно перед собою и потом как будто какая-нибудь идея подстрекнула ее любопытство; она быстро встала, подошла к окну, приложила обе руки к вискам, закрывая посторонний свет, и, как бы усиливаясь проникнуть мрак ночи, старалась разглядеть башни замка. Но там ветер и дождь увеличивали темноту осенней ночи; она отошла, сказав: «Боже мой, какая темнота!», опять села и потом, занятая своею мыслию, в рассеянии прибавила довольно громко: «да это я слышала!»

Лицо незнакомки было печально, она сидела, задумавшись, напоследок взяла опять измаранный лист, поворачивала его во все стороны, смотря по тому, как карикатуры, головки, цепи, набросанное изображение узника Стернова были нарисованы, и потом глаза ее остановились на следующем: «Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил с твердостью — по чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною, что хотят, пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места, где бы не было бога, где бы можно было отнять мою совесть, — я буду спокоен сам за себя. Если же за мной останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием — горесть его ляжет на мою душу, на совесть, и потому, нося в груди тайну, готовясь с разгадкой ее к новым несчастьям, я не могу — я не должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастья!..»

Незнакомка опустила лист, облокотилась и, казалось, размышляла о написанном.

Меня очень занимала эта немая сцена; при сцеплении

обстоятельств самых обыкновенных она сделалась для меня совершенно романической. Буря бушевала, дождь стучал в деревянную крышу, в которой некоторые доски, давно оторванные ветром, хлопали наперерыв со ставнями, ветер завывал в щелях, так что пламя свечи колебалось на все стороны, и между тем как хозяин и хозяйка в другой комнате спали крепким сном, прихрапывая под завыванье бури, мы с незнакомкой бодрствовали; любопытство в сердцах обоих было возбуждено.

Развернутая подорожная была брошена прямо перед незнакомкою. Она обратила на нее взоры,— слабый свет не позволял ей читать в таком отдалении. Любопытство и нерешимость боролись в ее прекрасных чертах.— «Возьми, милая незнакомка,— думал я,— здесь твое сомнение не может тебя беспокоить: это официальная печатная бумага, которую читает каждый смотритель; почему же тебе не узнать моего имени?..» Она конечно думала то же, взяла подорожную, прочла мое имя и вдруг обернулась ко мне с видом какой-то неожиданности, как будто желая удостовериться в моем тождестве с написанным именем.

Рука моя была отнята от лица. Путешественница взяла свечу, начала осматривать картинки по стенам и всякий раз, когда полагала, что свеча выгодно освещает меня, поворачивала ко мне свое прекрасное личико; но неверный свет и отдаление мало ей помогали. Она желала увериться, сплю ли я, и потому, поставив свечу на стул так, чтоб лицо мое было освещено, начала ходить взад и вперед, шевеля стульями, ступая на те половицы, которые более скрипели,— я не просыпался. Казалось, она убедилась в моей летаргии — взяла опять свечу, подошла к картинке, висевшей у самой кровати, потом оборотилась ко мне и неожиданно встретила мой взор — я глядел на нее во все глаза.

Медузина голова, я думаю, не произвела бы подобного действия, незнакомка оцепенела: как рука ее вытянулась со свечкою, как она начала поворот, как ротик ее открылся в изумлении, как она закрыла рукою свои глаза — все это так и осталось! Я не мог удержать усмешки, встал, взял из рук свечу и подвел незнакомку к оставленному стулу. Она села в совершенном замешательстве, с лицом, закрытым рукою. Я накинул сюртук и сел напротив. Восемь лет тому назад я еще не испытал тех несчастий, которые провели по лицу моему глубокие борозды, потушили огонь глаз, изредили волосы, усыпав остальные сединою, и сделали стариком сорокалетнего человека, — и потому не думал, что испугалась

моего безобразия. Я видел, что ей совестно своего любопытства.

— Какая ужасная погода, сударыня, — сказал я, сам не зная, чем прервать это неприятное для нас положение.

— Извините, что я так неучтиво разбудила вас, — сказала незнакомка, не подымая на меня глаз.

— Но я совсем не спал, сударыня! — Я хотел этим ответом уменьшить вину, в которой она сознавалась, но увеличил ее замешательство: она покраснела, скоро поправилась и отвечала улыбаясь: «Так это значит, что вы подсматривали за беспечною женщиной, которая думала быть одна, или, что все равно, со спящим человеком».

— Я имел на то полное право; я боялся за свою собственность. — Я сказал это, указывая на карикатуры, намаранные по всему листу.

Незнакомка улыбнулась, подняла на меня свои большие глаза и сказала: «Это правда, тут видно и ваше душевное богатство и то, что вы не любите ни с кем делиться им». Она провела пальцем под строками последнего замечания на листе, где говорилось, что я не хочу делить ни с кем своих несчастий.

Я смешался в свою очередь, однако кое-как отвечал:

— Не верьте людям, сударыня: часто их богатство состоит только в пышных фразах. Я собственным опытом убежден, что часто человек, выдававший за час неизменным правилом свои слова, не в состоянии отвечать за себя, может ли повторить их теперь с тою же уверенностью.

Мы замолчали оба. В эту минуту вошел слуга путешественницы и сказал, что он только сейчас нашел кузнеца, который, осмотрев карету, обещался исправить ее через час.

— Я думала, ты пришел мне сказать, что карета уже готова?

— Если бы не эта погода, сударыня, конечно мы бы уехали ранее; но ни один из этих мошенников ни за какие деньги не хочет разводить огня в кузнице. Этого одного только застал я за работой у горна.

— Хорошо, друг мой, постарайся же кончить скорее. — Слуга поклонился и ушел.

Это явление подало мне повод спросить у незнакомки, откуда она едет, — и мало-помалу мы узнали друг о друге достаточно, чтобы разговаривать о Петербурге, дороге, погоде и тому подобном, перемешивая это, время от времени, новыми вопросами; наконец, через четверть часа я узнал, что прекрасная путешественница недавно овдовела, была замужем

только два года, спешит из Ярославля в Петербург к своей матери и что говорливая спутница взята ею для компании в дороге. Доверенность некоторого рода установилась между нами. Незнакомка хотела всячески оправдать свое любопытство. Она рассказала мне, что знакома с моим другом В., который много говаривал обо мне, что она посещала некоторые дома, куда я также вхож, и что, наконец, мои литературные произведения были ей известны из альманахов и журналов. «Я была убеждена, — продолжала она, — прочитав ваше имя в подорожной, что вы тот самый, который написал *об удовольствиях на море*».

Нельзя было не согласиться с убеждениями прекрасной женщины, что мои добродетели, о которых ей говорили, и даже литературная известность, возбудили ее любопытство. Не менее того, я благодарил ее, что она читала эти мелочи и помнила их. Это была большая редкость для женщин в том и в другом случае.

Между тем ветер ревел сильнее и пронзительнее, окна дрожали, в комнате было очень холодно, знакомка куталась в свою шаль, но это не помогало; я, несмотря на то, что мало думал о тепле или холоде, начал вздрагивать; мне пришлось в голову развести огонь на очаге, который выступал в нашу комнату; я сообщил свое намерение путешественнице, и она охотно согласилась со мною, что огонь в эту пору и в такую погоду очень кстати. Я вышел в комнату хозяйки, разбудил ее, объявил свое желание и после некоторых противоречий, что там никогда не разводят огня и проч., я велел мальчику, там спавшему, положить дров, открыть трубу и затопить. Все это было устроено, и в пять минут мы сидели с знакомкой у небольшого огонька.

Здесь рассказал я в свою очередь, почему почую на станции: описывал бурю, дождь, холод, выгоды теплой комнаты и, очень естественно, кончил советом не ехать в такую дурную погоду; я думаю, продолжал я, что Анисья Матвеевна *говорила* правду, советуя вам оставаться здесь почевать.

— Она очень убедительно *говорит*, но я этого не могу сделать. По последнему письму, полученному от матушки, и по почерку руки я заключила, что она нездорова, и потому дорожу каждою минутой.

— В таком случае отдаю полную справедливость вашему желанию и отступаю от совета; но не менее того, кажется, я говорю справедливо: что плохой огонь в камине приятнее хорошего дождя в дороге.

— Не совсем, особенно при обстоятельствах, сопровож-

дающих мою остановку. Это завывание ветра неприятно в самом деле: послушайте, как страшно гудит в этой трубе; в дороге слышишь только крапанье дождя в крышу кареты. При том же близость этих башен пробуждает какую-то тоску; я проезжала несколько раз Шлиссельбург, и никогда мне не приходило в голову слышанное прежде, что в этом замке есть много несчастных, томящихся в заключении, но теперь... — она оглянулась на окно и, как будто боясь, чтобы ее кто-нибудь не подслушал, отодвинула стул свой. Это движение, удалив ее от окна, приблизило ко мне; она продолжала вполголоса: — Теперь я чувствую это соседство. Ваш листок, ваш Стерн вдруг развернули во мне воспоминание. Мне стало грустно, мне стало страшно! Здесь все располагает к каким-то грустным впечатлениям!.. Вы ничего не слышали? — вдруг спросила меня, оторопев, незнакомка.

Мне показалось самому, что посреди рева стихий какой-то пискливый, жалобный голос простонал вблизи нас. Я прислушивался, но не слышал более ничего, кроме монотонного храпенья хозяев, заглушаемого стуком кровли и барабанным боем дождя в окошки. «Это ветер, — сказал я, — переменяет свои аккорды в трубе и щелях!»

— Станется, а может быть, это дух какого-нибудь страдальца, — сказала шутливо незнакомка, стараясь ободриться от своего страха, — здешние ужасы действительнее Радклиффовских.

— Вы, конечно, боитесь духов и привидений? — спросил я в том же тоне.

— Не умею вам отвечать на это; мне никогда не случилось испытать своей отважности, но я чрезвычайно люблю страшные повести, рассказы, даже сказки о домовых, и в это время чувствую какой-то страх, который не менее того мне приятен. Я не верю этим вещам по рассудку, но, получив с детских лет наклонность к чудесному от моих тетюшек и нянюшек, неохотно расстаюсь с верою моего воображения, которое часто заставляет забывать невозможность призраков и тому подобного. Вы, господа мужчины, по большей части не имеете предрассудков и не верите привидениям: но зато вы лишаете себя большого наслаждения при рассказах, которые иногда так приятно волнуют нашу душу!

— Мужчины гораздо больше имеют способов и случаев поверять свои впечатления и чувствования. Особенно военная служба приучает нас ко всем действительным и воображаемым ужасам. Со всем тем, я знавал людей, достойных уважения по уму, храбрости и благоразумию, которые втайне жерт-

вовали многим предрассудкам и вере в чудесное. Что касается собственно до меня, отец мой в малолетстве приучал меня ничего не бояться; сверх того, я тринадцати лет пошел в море и, следовательно, должен был бросить все страхи, которые могли оставаться от детского возраста. В зрелых годах я имел случаи испытать, как неосновательны бывали слухи о чудесном, как они растут, переходя из рук в руки, и даже недавно обязанность по службе заставила меня выгонять домового из одного дома в том городе, где я жил.

— Выгонять домового по службе?— это очень странно, это очень любопытно. Если б я не боялась быть нескромною — впрочем, первый шаг к этому сделан, чтобы вы считали меня такою,— сказала она, краснея и улыбаясь,— я бы просила вас рассказать, как это случилось?

— Точно по службе, сударыня, и я охотно расскажу вам это, но только думаю, что рассказ человека, который сам не верит домовым, не доставит вам удовольствия. Вы любите впечатления чудесного: это впечатление может быть передано только тем, кто сам их ощущает. Мой рассказ будет прост.

— Нужды нет, лишь бы в происшествии было б что-нибудь неспроста.

Я положил в огонь дров, снял со свечи и шутя заметил незнакомке, что в самом деле наше положение, час ночи и все окружающие обстоятельства очень благоприятствовали страшным рассказам. Время от времени весь дом будто трясся от порывов ветра, иногда, напротив, несколько секунд слышны были даже удары маятника в деревянных часах, висевших на стене; потом буря ревела вновь и снова раздавался храп пьяного зрителя и тучной его половины. Затем я начал:

«В 1819 году, в Кронштадте, где я служил, разнеслись слухи, будто в квартире одного купца домовый начал беспокоить постояльцев. Сперва узнали об этом соседи, потом начали многие толковать о проказах домового; наконец, весь город был на ногах, и квартира купца оказалась сборным местом любопытного и праздного народа, который божился, что видел — то, слышал — другое и что домовый действительно завладел жилищем бедного купца. Всего страннее было, что этот домовый не походил на других: он делал все каверзы днем и показывал свои фокусы пред всею публикою, которая сбегалась с любопытством и разбегалась с ужасом и рассказами во все концы города о страшном духе и его шалостях. Квартира эта была в доме народного училища, где верхний этаж был занят школою; а внизу в одной половине жил учитель, другую занимал несчастный купец с своим семейством. Учи-

тель как ближайший сосед и как человек просвещенный всех скорее и всех вернее мог исследовать причину несчастья купеческой квартиры и, вследствие собственного очевидного удостоверения, отрапортовал в Петербург в Департамент народного просвещения, что на сих днях во вверенном ему доме училища завелся домовый, которого хотя он лично не видал, но шалости его так явны и беспокойны, что он решился, из опасения последствий, довести это до сведения высшего начальства и просить о помощи и покровительстве.

«Пока рапорт ходил в Петербург, суматоха в доме увеличивалась. Сперва этот домовый, как и всякий другой из его собратий, довольствовался тем, что ночью сдергивал со всех одеяла или прятал платье хозяйки, щипал за нос и за бороду хозяина, сек розгами сына — лет одиннадцати мальчика, и щекотал служанку — лет четырнадцати девочку, заставляя ее хохотать благим матом, и после пропадал с петухами; но это было вначале; потом ночь за ночью проказы его увеличивались, наконец, самый дневной свет и все петухи, которых у купчика было до десятка, не могли прогнать его. Он кидал из-за темной перегородки поленьями, стучал в окошки, прижимал в дверях любопытных посетителей; сбивал с них шапки, насыпал песку в рукавицы. Иногда взорам изумленных прохожих представлялись чудесные явления: вдруг квашня, стоявшая на прилавке, начинала прыгать, качаться и со стуком падала на пол, и когда пугливые зрители отскакивали прочь от расплывшегося теста, у одного кафтан был прибит гвоздем к двери, у другого носовой платок, выскочив из кармана, вздырался по стене до потолка, будто живой. В другое время заслонка в русской печи дрожала, как в лихорадке, и под музыку ее дрожанья горшок с кашею сам выдвигался из печи, каша высовывалась из горшка, а за нею вываливалось множество ложек. Такое страшное зрелище поражало ужасом всех присутствующих; все бросались вон, а домовый, как сказывали они после, провозжал их камнями, песком, а что всего хуже: обморачивал так, что они никогда не могли попасть в настоящую дверь с первого раза, а если и попадали, то она захлопывалась сама собою и непременно придавливала беглеца.

«Такие происшествия и толки народа дошли до полиции. Пристав той части отправился сам свидетельствовать с своею командою навожденный дом. Несколько человек смелых посетителей, которых не мог еще выгнать домовый и которые при всем страхе дожидались каких-нибудь новых ужасов, испугались полиции более, нежели духа, и убежали. Двери за-

перле, поставили часовых; в доме осталась одна хозяйка с семейством и частный с городским унтер-офицером. Частный важно сел в кресло и начал расспрашивать хозяйку.

— Расскажи мне, любезная, — сказал он суровым голосом, — что за проказы делаются у тебя в доме?

«Хозяйка стояла перед ним, утирая передником заплаканные глаза: — «Не знаю, батюшка, за что бог послал такое наказание нашему дому. Вот уже третьи сутки и днем не стало нам покоя: с утра до вечера плачу и не знаю, как пособить горю. Муж стал со страху пить пуще прежнего, ребятишки голодны от того, что с этим наводнением — буди с нами крестная сила! — нельзя ни спечь, ни сварить. Ты прибираешь *здесь*, а нечистый — господи прости мое согрешение — работает по-своему *там*; — ты пойдешь *туда*, а он очутится *здесь*. Видимо делает, а видом — не видать; ужас берет до чего-нибудь дотронуться: во всем его проклятая сила... Мати божия!..» Хозяйка остановилась и закрыла глаза передником, дрожа от страха, потому что в эту минуту, под самым потолком, над головою частного, послышалось шорканье кофейной мельницы. Пристав взглянул наверх и в ту же минуту закрыл также глаза: оттуда сыпался молотый кофе; шорканье перестало.

«Хозяйка выглядывала из-за передника, городской неподвижно стоял у дверей, частный, побледнев, верно с досады, бросился на другой стул.

— Где же у тебя более всего беспокойно? — спросил он с приметным движением.

— Сказать не могу, батюшка; из всего дома гонит, но больше в двух комнатах: вот за этой перегородкой и там, в темной кухне.

— Надобно осмотреть это, Лоботрясов, — сказал частный городовому.

— Во власти вашей, — отвечал тот, — извольте осматривать.

«Пристав хотел подняться со стула; хозяйка начала рассказывать разные подробности о проказах домового. Надобно было выслушать все обстоятельно, и всякий раз, когда частный пристав хотел встать, являлись новые случаи страшнее первых, и частный опять садился. Видно было, что желание исправности в исполнении долга боролось с желанием узнать все подробности дела. Хозяйка старалась всячески удовлетворить последнему и рассказывала истории одна другой ужаснее; время проходило, частный уже потерял охоту

вставать; наконец, городской раскрыл свой безмолвный рот:

— Надобно осмотреть, ваше благородие,— сказал он.

— Осмотри, Лоботрясов.

— Да что же я без вашего благородия сделаю? пожалуйста и вы; ваше дело подвластное, мы не можем без командира.

— Да я должен выслушать от хозяйки еще кое-что, ведь это все к делу.

— Пора с рапортом, ваше благородие.

«Частный встал нерешительно, велел Лоботрясову идти вперед; правая его рука что-то певелилась за пазухою под мундиром; хозяйка сзади крестилась.

«Дверь в роковую кухню была отворена, городской вошел довольно смело, обернулся на все стороны. «Ничего нет, ваше благородие,— сказал он, выходя проворно из другой двери; частный вошел — и вдруг двери за ним запахнулись, слышно было, как он пыхтел, и чрез несколько секунд он выскочил из противоположных дверей весь обсыпанный мукою; маленький рогожный кулек висел у него сзади на пуговке, как ключ у камергера.

— Пойдем с рапортом, Лоботрясов,— вскрикнул частный и выбежал на улицу, но он неверно рассчитывал на свои силы: дошедши до дому, он сделался очень болен и должен был послать письменный рапорт к полицеймейстеру с городовым.

«Итак, домовый продолжал свои шутки, слухи о том дошли до высших сословий общества; много порядочных людей шли осматривать навожденный дом. Инженерный полковник был из числа любопытных; с ним случилось едва ли не хуже, чем с приставом: домовый загонял его в темной кухне, и когда на жалобные стоны некоторые решительные люди осмелились посмотреть, что с ним сделалось, то увидели его на столе в углу: он держался или, лучше сказать, повис рукою на гвозде, вбитом в стену для маленького медного образа; одна нога была поднята, с другой стащена ботфорта до половины, обе шпоры были потеряны. Его насилу могли отцепить — так замерла рука,— и это был новый, обращенный в бесовскую веру».

В эту минуту раздался громкий звук в другой комнате; незнакомка, слушавшая меня со вниманием, вздрогнула: «что это?» — спросила она с беспокойством.

Я встал, заглянул в двери и отвечал: «это хозяйка уронила с ноги туфель, сколько я могу рассмотреть при нагоревшей

свече. Она спит, нераздетая, на своей кровати». За этими словами последовал такой сильный порыв ветра, что весь дом затрясся; в то же время послышался опять глухой, жалобный и тонкий голос.

Незнакомка побледнела — глаза ее безмолвно спрашивали меня.

— Это ветер, это дух бури воеет в трубе, — сказал я, смеючись, и сел, поправляя огонь.

— Мы часто в море, — продолжал я, — слышим музыку страшнее этой; снасти мачт в бурю представляют настоящую эолову арфу, рев ветра в толстые канаты и свист его в тонкие веревочки составляют совершенную гармонию со скрипом корабля и шумом волн.

— В самом деле, я думаю, что это ветер, — отвечала она, оправляясь; — прошу вас — продолжайте вашу историю.

«Итак, домовый занимал весь город; одни рассказывали его чудеса, другие этому смеялись. В это время военный губернатор, вследствие учительского рапорта, о котором у нас никто и не знал, вдруг получил из Петербурга отношение, где спрашивалось, — что такое сделалось с домом и какой домовый овладел им? Полициймейстер был болен, один частный захворал, как я уже сказал, другой был в отлучке, а низшие чиновники решительно объявили, что они скорее оставят службу, чем будут принимать какие-нибудь меры против домового.

«Губернатор прежде смеялся этой истории, но когда получил отношение, надобно было узнать обо всем подробнее. Мне случилось в то время быть при нем. Он позвал меня. Инженерный полковник и несколько полицейских офицеров были у него и с клятвою уверяли о достоверности случая; полковник рассказывал про свое несчастье.

«Губернатор спросил меня, смеючись, не боюсь ли я чертей, и на мое отрицание велел мне выгнать из дому домового.

«Я отправился осмотреть хорошенько дом и, когда пришел в купеческую квартиру, нашел там несколько посторонних и священника с причетом, которого хозяин решился позвать, как последнее средство для изгнания нечистой силы.

«Священник сидел, разговаривая о том; хозяйка перечисляла ему все обстоятельства, все случаи, прихожие подтверждали собственным свидетельством; дьячок зажег лампаду перед образом, налил воды в тарелку для окропления, поста-

вил свечи; наложили углей в кадило, повешенное на гвозде подле стола, — я замечал кругом.

«Наконец священник приступил к служению молебна и начал словами: «Благослови, боже, нас всегда ныне и присно и во веки веков», но только он это выговорил, пламя в лампаде высоко поднялось и угасло с треском; священник остановился, приметно смешался, но велел зажечь ее снова и продолжал службу. Когда же между пения он произнес окончание молитвы «превеликое имя твое, спасе, на небеси одесную отца сядящу ти почитается, на земле же неизреченное твое воплощение ставится; во аде же сошествие бесы устрашает; от них же и нас избави Христе боже и спаси нас», дьячок в эту минуту, раздув угли, подал ему кадило, и только священник взял его в руки — вдруг оно вспыхнуло, будто порох, угли выбросило вон; на тарелку с водою посыпался песок, несколько поленьев полетело из-за перегородки в предстоящих — священник отскочил от ужаса»...

Вдруг из трубы нашего очага посыпался на огонь также песок; мы встали — я смотрел вверх... пронзительный визг раздался — и вдруг с шорохом и шумом что-то покатилося по трубе, упало на огонь и засыпало его; облако пыли и золы покрыло нас, угли разлетелись по комнате... незнакомка вскрикнула и упала без чувств мне на грудь...

В первую минуту я не знал, что думать о случившемся, но через несколько мгновений увидел посреди кирпичей и соломы, в дыме курящихся головешек, стоящего аиста, чье гнездо я видел на трубе при въезде в Шлиссельбург. Анисья Матвеевна спросонья крестилась обеими руками, сидя в страхе на софе. Хозяйка прибежала, остановилась в дверях, раскрыв рот и размахнувши руками от удивления и ужаса. Я держал бесчувственную незнакомку в руках.

Сердце мое билось, сильно билось! — я потерялся совершенно; вместо того, чтобы отнести незнакомку на кровать, сам не знаю, каким образом сел на стул и легонько опустил ее на колени. Голова ее лежала на моей груди, в которую какой-то электрический ток лился жгучими струями; я вдыхал в себя благоговие ее волос; чувства мои разделялись между состраданием и удовольствием... О, как милы трусливые женщины!

Я тер виски, легонько колотил по ладоням незнакомки, и прежде нежели хозяйка и Анисья Матвеевна опомнились — она пришла в себя.

Бледность обморока уступила место живой краске, когда она увидела свое положение и стоящих около нее женщин;

я помог ей, когда она сделала движение встать; но в ту же минуту должен был посадить снова на стул. Глаза ее обратились на причину испуга, и она со страхом увидела огромную птицу, которая величественно посреди очага глядела с изумлением на около стоящих. Я объяснил ей, что гнездо, свитое над трубою, не могло выдержать силы ветра и дождя и что бедная птица, обеспокоенная сверху бурей, снизу жаром и дымом, провалилась к нам сквозь широкую трубу.

Анисья Матвеевна начала ахать и рассказывать, что *она говорила*; хозяйка, ворча, хотела взять несчастного аиста и выбросить на улицу — но незнакомка заступилась: «пусть он останется с нами,— сказала она,— если несчастье заставило его искать нашего покровительства».

Мало-помалу все пришло в старый порядок; Анисья Матвеевна дремала и бормотала, хозяйка ушла. Аист улеся на развалинах своего гнезда, мы с незнакомкою сидели подле стола молча; она не могла собрать рассеянных своих сил, я не хотел расстаться с приятным впечатлением.

— Ваш рассказ расположил меня к этому испугу,— сказала незнакомка нетвердым голосом, но стараясь победить свое замешательство.

— Я вполне виноват, сударыня, хотя, впрочем, нарочно так рассказывал, чтобы вы видели более смешную, нежели страшную сторону происшествия.

— Мое воображение забегает вперед вашего описания и видит только одни страхи. Но простите моему любопытству: чем же кончилось это происшествие?

Видно было, что незнакомка желала этого только для того, чтобы скрыть свое смущение, я, с своей стороны, потрясенный во всем составе, не в состоянии был рассказывать сколько-нибудь занимательно. Если незнакомка сделала на меня приятное впечатление до испуга, то этот аист расстроил меня совершенно. Даже и теперь я не могу думать об этом без душевного волнения. Я всегда был неловок с женщинами, а в то время все мои покушения поправиться оставались бесполезными. Я продолжал рассказ, сбивался и в коротких словах передал конец истории почти так:

«Священник не мог дослужить молебна и ушел в замешательстве. Я замечал все явления и ежели не совсем, то отчасти догадался о причине. Мне казалось, домовой — сама хозяйка, но как она отвечала только слезами на мои вопросы, то я захотел употребить к тому некоторое принуждение, я объ-

явил хозяевам о приказании, мне данном, и вследствие того расположился у них в тесной квартире с десятью человеками матросов, будто бы для наблюдения за проказами нечистого. Между тем запретил людям своим всякую обиду хозяевам; я велел им курить как можно более табаку, петь песни, пить вино и делать как можно более шуму. Завладев таким образом квартирою, я объявил хозяйке, что не выйду из дома до тех пор, пока не выживу домового. Военный народ, особенно если дашь ему свободу, едва ли не беспокойнее всякого демона, а потому через ночь, проведенную нами в мире и тишине с домовым, в тесноте, шуме и песнях с домашними, хозяйка пришла просить меня, чтоб я оставил ее в покое, и что, как ей кажется, шутки домового прекращаются. Я повторил приказание, данное мне начальством, — не оставлять до тех пор ее квартиры, пока не узнаю лично домового, и потому хозяйке оставался выбор или терпеть шум и толкотню от матросов, или признаться в своей комедии, и потому она, при помощи нескольких вопросов и убеждений с моей стороны, решилась на последнее и рассказала мне вот что:

«Муж ее довольно достаточный купец, выстроил себе новый дом, но по скупости, вместо того, чтобы спокойно жить в нем, оставался в тесной и сырой наемной квартире; сверх того, в нем увеличивалась охота к пьянству и бражничанью с подобными ему гуляками. Сколько хозяйка ни убеждала его перейти в новый дом и перестать пьянствовать, он не слушался и не унимался; тогда пришла ей мысль выжить его из квартиры и поугатать выдумкою домового. Несколько опытов было сделано: суеверный и напуганный купец объявил об этом всему гостинному двору, повторение жалоб его привело любопытных, и наконец хозяйке уже надобно было разыгрывать публично комедию, сочиненную для домашнего представления. Она показала мне все приборы, ею придуманные: они состояли в веревочках с крючками, продетых неприметно в разных местах двух темных комнат: кухни и отделения за перегородкою, откуда с высокого шкафа, промежду резных фигур переборки, помощники ее, сын и девочка служанка, сыпали кофе, порох, песок, бросали поленья и прочее. Все это было очень не замысловато; всего мудренее для меня казалось искусство, с каким двое детей помогали хитрой женщине, с каким притворством играли они роли свои и, наконец, легковереие людей, позволявших себя обманывать грубыми и простыми средствами, которые приметны были при малейшем внимании.

«Казалось в этом случае, что люди, приготовленные верою

к чудесному, не хотели нарочно примечать обмана и желали видеть только то, что им нравилось. Даже когда я рассказывал полковнику и частному приставу, каким образом их легковерие было обмануто,— они качали головою и, не могли спорить против очевидности, но все еще не расставались со своим убеждением и поговаривали после между собою, что я или хвастал, или сделал это неспроста».

Я рассказывал это очень неловко: повторял, забывал, в голове у меня вертелось совсем другое: мне все казалось, что душистые локоны незнакомки касаются моих губ,— и слова замирали на губах; что голова ее лежит на моей груди,— и дух у меня занимался; когда же она устремляла на меня из-под длинных ресниц свой задумчивый взор — я совсем терялся...

Мне казалось, что незнакомке было неловче моего, может быть от той же причины, но что приносило удовольствие мне, то могло напомнить ей неприятное положение. Наш разговор был перерывчив и несвязан, учтивость с обеих сторон удвоилась, но не менее того я чувствовал, что эта учтивость не отзывалась холодностью и напротив имела с ее стороны что-то обязательное.

Таким образом прошло около получаса; мы мало-помалу начали было нападать на прежнюю дорогу, вдруг старый слуга незнакомки явился в дверях с докладом, что карета готова.

— Боже мой! — вскрикнул я с невольною живостью. Незнакомка покраснела, потупила глаза, взяла свою шляпу, медленно надела перчатки и пошла будить спящую компаньонку. Я хотел говорить, вертел несколько фраз о том, с каким удовольствием провел это время, как оно пролетело и проч., и ничего не мог выговорить, одним словом, сцена происходила молча, я велел смотрителю запрягать моих лошадей.

Наконец, все было готово. Незнакомка видела мое замешательство и сказала мне тихим голосом:

— Благодарю вас за приятно проведенное время, за ваш рассказ. Извините, что я два раза потревожила вас и моим любопытством и моим глупым страхом.

Я комкал свою фуражку, не знал, что говорить, но помнится, будто с жаром сказал, что охотно отдал бы жизнь за эти беспокойства. Бывают со всяким человеком глупые минуты, но не думаю, чтобы кто-нибудь в эти минуты мог быть столько глуп и неловок, как я! Я не подал ни салопы незнакомке, ни отстранился от Анисьи Матвеевны, которая, по сво-

ему обычаю, *говорила* и *суетилась*; я стоял, как вкопанный, и потом, вспомнив, что учтивость требует проводить незнакомку до кареты, бросился, как безумный, толкнул снова компаньонку и очутился опять пред незнакомкою, которая, дошед до порога, остановилась как бы в нерешимости, потом оборотилась ко мне и сказала:

— Когда возвратитесь в Петербург, мне приятно будет увидеть вас у себя, в дороге знакомство скоро делается, не правда ли, что мы уже знакомы? — продолжала она, сняв перчатку и подавая мне руку с улыбкой.

— Мне недоставало только видеть вас, чтобы познакомиться, — отвечал я, — есть люди, которых образ давно знаком нашей душе и воображению. — Я не смел сказать — сердцу, хотя бы сказал справедливее.

— Итак, вот мое имя, — сказала она, вынимая из ридикуля письмо, с которого, сняв обертку, подала мне.

Сказав это, она спорхнула, как птичка, с крыльца и влетела в карету; ее рука едва касалась моей, когда я помогал ей садиться; я подсадил также увесистую Анисью Матвеевну, которая бухнула подле нее, крестясь и проклиная дорогу, — и карета покатила.

Ветер продувал, дождь лился на меня рукой, я стоял на крыльце, как будто мое тело потеряло способность двигаться без души, полетевшей за каретою.

Через четверть часа уехал и я.

В этот раз ни буря, ни дорога, ни толчки не могли остановить моего воображения.

Итак, вот женщина, которая впервые сделала на тебя такое впечатление! Вот осуществление идеала, созданного твоим воображением; того ли ты хотел? Да.

Итак, я поеду к ней — буду стараться заслужить взаимность, любовь, и если она даст мне руку, какое счастье! — как я обрадую матушку!

Так мечтал я, забывая все на свете, — и действительно, я заранее был счастлив. Но вдруг мысль о превратностях судьбы, ожидающих меня в будущем, опрокинула все мои воздушные замки.

Рассудок говорил против, — вероломное сердце твердило за себя. Наконец рассудок восторжествовал: «я не поеду к ней — я не хочу ее сделать несчастною». Это было последнее мое решение — и я сдержал его!..

По возвращении в Петербург борьба с самим собою мне становилась тяжеле и тяжеле. Мать моя не переставала убеждать меня. Случай привел меня часто встречаться с милою

путешественницею; в первый раз она сделала мне выговор, в последующие ни о чем более не упоминалось; но иногда я подстерегал какое-то вопросительное выражение ее глаз; это меня мучило — я любил ее, — что она должна была обо мне думать? Кто мог ей объяснить загадку моего поведения?..

Матушка моя осталась при своем желании, а я остался одиноким в этом мире!





РУССКИЙ В ПАРИЖЕ 1814 ГОДА¹

Мы не столько выигрываем в свете, оказывая другим услуги, сколько принимая их. Возьмите увядающий цветок и посадите: сперва вы будете поливать его, потом полюбите, потому что хлопотали около него.

Стерн

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

Громадный Париж со своими предместьями уже был охвачен союзными войсками от впадения Марны в Сену и опять до Сены при Пасси. Перемирие было заключено; громы сражения умолкли на левом фланге: высоты Бельвиля, Менильмонтана и Монлуи, занятые союзниками и уставленные пушками, грозили разрушением столице Франции; войска, их защищавшие, начали уже отступление, — но еще битва кипела по другую сторону канала д'Урк и на Монмартре, куда не достигло еще известие о перемирии.

На обрывистой горе Шомон, занятой исключительно рус-

¹ В предлагаемом здесь рассказе все слова и все действия исторических лиц исторически верны, и все анекдоты, о них помещенные, справедливы. Самое происшествие, давшее повод к рассказу, истинно. Повествователь только связал частные случаи и дал возможное единство.

скими, подле самого обрыва, обращенного к городу, стояли четыре человека; сзади их множество офицеров русской гвардии и австрийских адъютантов. Один из четырех был высокого роста, плечист и чрезвычайно строен, несмотря на небольшую сутуловатость, которую скорее можно было приписать привычке держать вперед голову, нежели природному недостатку. Прекрасное белокурое лицо его было осенено шляпою с белым пером; на конногвардейском вицмундире была одна только звезда. Рядом с ним стоял человек довольно высокий, сухощавый, с усами, в синем мундире с двумя петлицами на красном воротнике; в его чертах можно было прочесть целую повесть долгих несчастий: но теперь лицо его выражало спокойное удовольствие. Он разговаривал с первым, который с лорнетом в руке, поднятой по особенной привычке почти выше плеча локтем, смотрел на высоты Монматра, где еще раздавались редкие выстрелы умолкающего сражения.

Первый был душа союза и герой этого дня император Александр; другой — король Прусский, вознагражденный настоящими событиями и за свое терпение и за верный союз с Россиею. Двое других были Шварценберг и Барклай де Толли.

Скоро и войска, защищавшие Монматр, начали отступать. Это была роковая минута, решившая взятие Парижа, а с этим вместе участь Наполеона и с ним участь всей Европы. Восхищенный Александр обнял короля Прусского и, поздравив его с победою, сказал: «Бог рассудил нас с Наполеоном, теперь пусть потомство судит каждого из нас!» — Когда же первые восторги радости были разделены всеми присутствовавшими, император поздравил Барклая фельдмаршалом и обратил потом довольственный взор на Париж, как на приобретенную награду, как на залог спокойствия народов. Солнце садилось; город развертывался как на скатерти под его ногами. Малочисленные остатки французских войск поспешно отступали отовсюду и, входя из окрестностей в заставы, тянулись вдоль внешних бульваров, окружающих город. Массы их показывались в промежутках строений; можно было различить, какого рода войско проходило и исчезало за домами: по облакам пыли видна была конница; штыки пехоты сверкали мелкими алмазными искрами, отражая последние лучи дня; артиллерия, сопровождаемая глухим стуком колес, отсылала густые облака в глаза победителей; как будто принужденная замолкнуть, все еще грозила своим угрюмым взглядом. Половина армии, направляясь на Фонтенебло, тянулась через Аустерлицкий мост, другая на Елисейские поля. Париж

со своими серыми стенами и аспидными крышами были мрачен как осенняя туча; один только золотой купол дома инвалидов горел на закат ярким лучом — и тот, потухая, утонул во мраке вечера, как звезда Наполеонова, померкшая над Парижем в кровавой заре этого незабвенного дня.

Взоры Александра упивались этим зрелищем, этим торжеством, столь справедливо им заслуженным — и в это время от селения Ла-Вильет, где уполномоченные с обеих сторон договаривались о сдаче Парижа, по долине показалось несколько верховых. Скачущий вперед останавливался, спрашивал и на ответы и на движения рук, указывавших на высоту Шомон, пустился во всю прыть к ней. Вскоре он явился на самой горе. Это был флигель-адъютант Александра, посланный с известием о перемирии. Теперь он приехал прямо от уполномоченных.

«Ваше величество, — сказал он, соскочив с лошади, — условия, на которых заключено перемирие, кончены. Войска имеют времени для отступления от Парижа до девяти часов завтрашнего утра. Маршалы, оставляя столицу, поручают ее великодушную вашему».

«Благодарю вас, — сказал император благосклонно, — вы вписали имя ваше в историю, остановив потоки крови, лившейся так долго в Европе».

Сказав это, император повторил известие королю Прусскому и генералам; потом взяв союзника своего под руку, отправился в главную квартиру в Бонди, где с трепетом ожидали уже его первейшие государственные люди Франции.

— Объявите моей гвардии и гренадерам, — сказал он, проходя мимо Баркляя, — что завтра мы вступаем парадом в Париж. Не забудьте подтвердить войскам, что разница между нами и французами, входившими в Москву, та, что мы вносим мир, а не войну.

Барклай отвечал почтительным наклоном головы, и за ним вся свита государей и генералов удалилась.

Толпа молодежи, которая удерживалась в пределах молчаливости присутствием монархов, заговорила громким говором, когда принуждение исчезло. Радостные восклицания и поздравления сливались в одном невнятном шуме. Наконец вся толпа, насмотревшись на Париж и окрестности с того места, где стояли союзные государи, начала спускаться под гору, между кучками солдат распространяя известие о завтрашнем параде и вступлении; молва об этом полетела во все стороны.

Стан союзников представлял теперь живую картину всех ужасов сражения и торжества победы: стрелки стягивались,

отряды соединялись, раненых носили сквозь биваки, которые разрастались с немощною скоростью; легко раненые шли, опираясь на свои ружья; все искали своих полков, и когда шумная молодежь вышла на шоссе большой дороги, между множества конных и пеших, которые толпились во всех направлениях, увидели они кирасира, который вел на поводу раненую лошадь и плакал. Это удивило любопытных; около него собрался кружок; все спрашивали, о чем он плачет?

Широкоплечий малороссиянин рассказал, что он всю службу не расставался с этою лошадию, свыкся с нею, как с родною, и теперь не может без горя видеть, что она тяжело ранена.

— Ну, куда же ты ведешь ее? видишь ли, как она мучится?

— Неужели хочешь, чтоб она издохла среди бивака? вылечить ее нельзя.

Кирасир остановился, начал ласкать бедное животное; слезы лились по загорелым щекам и порыжелым усам; когда он снимал седло и мундштук, он вытащил свой огромный палаш: «Когда так — нечего делать, — сказал он, — по крайней мере ты не будешь мучиться... прощай, Налегушко!» — с этими словами он отвернулся, вонзил неверною рукою палаш под левую лопатку лошади — и пошел всхлипывая и закрыл руками глаза.

Офицеры безмолвно глядели ему вслед... но вскоре другие сцены и новые толпы развлекли их внимание.

С захождением солнца бесчисленные бивачные огни начали развиваться по всему полукружью, занимаемому войсками. Огромное зарево опоясало Париж и, дрожа в небе, отражалось неверным светом на мрачные стены города, на разоренные предместья, на массы движущихся солдат и на поле битвы, усеянное мертвыми. Опрокинутые вверх колесами зарядные ящики, подбитые лафеты, убитые люди и лошади валялись на каждом шагу. Солдаты строили биваки, разбирая крыши, двери, ставни и другие вещи оставленных домов в предместьях, занятых во время сражения; другие разводили огни, не щадя соседних виноградников, мебели, словом, ничего, что было у них под руками. После жаркого сражения солдат неразборчив в неприятельской стороне, и особенно между пустыми домами. Вскоре показалось между ними и вино, чтобы приличнее торжествовать победу: одни покупали его у маркитантов; другие доставали безденежно, таская манерками из разбитых во время дела погребов, и тогда новость торжественного вступления распространилась,

общая радость обнаружилась в шумных кликах и песнях.

Офицеры ходили кучками по всем полкам с радостными лицами; знакомые и незнакомые здоровались и целовались, как в Светлый праздник, рассказывая друг другу и про сегоднешнее дело, и про завтрашний парад, и про всю войну. Адъютанты, ординарцы и рассыльные скакали и суетились во всех направлениях. Одни были из главной квартиры государей, другие пробирались в главную квартиру Барклая; каждый искал и спрашивал своего назначения, фамилию, имена полков, приказанья перелетали из уст в уста и слова, торопливо сказанные и на лету перехваченные, раздавались со всех сторон.

У подошвы Шомон, где расположилась русская гвардия в лагере ...ского полка, около огня собралась кучка офицеров и громкий смех, далеко разносившийся, возвещал веселое их расположение.

— Чему вы смеетесь, господа! — вскричал пришедший вновь офицер, вступая в кружок, — поделитесь со мной вашим весельем, и я хочу посмеяться.

— Посмотри, какого оригинала завоевали мы вместе с Парижем. Его поймали между ротозеями, которые вышли посмотреть на сражение, и теперь мы его вербуем в казаки.

В самом деле посредине их стоял полупьяный француз и размахивал казацкою пикою; на голове была казацкая шапка, у фрака одна пола оторвана.

— Но любезный Калесон, если ты хочешь быть казаком, — кричали ему весельчаки, — то надобно быть в куртке, сторви и другую полу.

Другую полу оторвали; офицеры божились, что он первый казак на свете; а мусье Калесон — клялся, что завтра пойдет с русскими *cosaquer le Paris*¹ и поведет их в самые лучшие дома.

В эту минуту раздался ужасный треск, подобный взрыву подкопа: и над головами смеющихся полетели огненные змеи гранат, лопавшихся и разгонявших веселые кучки. Все бросились в ту сторону, откуда послышался взрыв. — Это было в лагере уланов... что сделалось?.. что такое?.. — спрашивали уланы, которые ловили испуганных лошадей, оторвавшихся от коновязей — «взорвало пороховой ящик», отвечали некоторые.

На месте происшествия лежало пятнадцать человек убитых и обожженных, и между ними двое полковников и два офицера того полка; при них закапывали брошенный фран-

¹ казаками в Париж (*фр. — Сост.*).

цузами зарядный ящик, и мера предосторожности обратилась в пагубу от неосторожно брошенного ядра, давшего искру и воспламенившего все заряды. Тысячи убитых и раненых производят в сражении на военного человека такого впечатления, как один убитый вне дела. По всему лагерю шум затих на несколько времени, пока печальное происшествие было передано из края в край; потом мало-помалу прежнее движение началось и грома кликов раздавались везде по-старому. Офицеры опять волнами разливались по лагерю; по всей линии тени двигались, мелькали и исчезали.

Военная музыка и песни разных наций гремели; все постигали важность победы и радовались концу кампании. Высоты, господствующие над Парижем, исключительно были заняты русскими, которые также не могли отказать в движении удовлетворенного честолюбия; но вскоре их радость сделалась умереннее: песни и музыка стихли, и когда в лагерях австрийских, прусских и виртембергских войск раздавались еще голоса импровизаций на свои победы — на французов и Наполеона, русские, не имея с природы склонности величаться своими подвигами, скромно и тихо готовились к завтрашнему вступлению, чистя ружья, задымленные порохом, и поправляли амуницию, потерпевшую от непогод и грязной бивачной жизни.

Гора Шомон служила сборищем разгульного офицерства, везде блистали эполеты, слышалось французское болтанье, шутки и смех с торговками и продавцами, пробравшимися из Парижа и незанятых окрестностей. Некоторые из смелейших жителей Бельвиля начали возвращаться в свои дома, в надежде найти что-нибудь нерасхищенным, в то время, как большая часть жителей всех вообще предместий, ушедшая в Париж с пожитками, со страхом ожидала, как поступят с ними северные варвары в стенах самой столицы.

Подле одного огня на этой высоте несколько гренадер чистили амуницию: один спарывал холстинные нашивки с воротника, предохраненного таким образом от непогод, другой починял наскоро сапоги; третьего ротный цирюльник держал за нос, соскабливая двухнедельную бороду. Все были заняты по-своему.

— Экая беда! — говорил один, стоя на коленях перед развернутым ранцем и подымая к свету порыжевший мундир, — и ночью он похож на зарево!.. что ж будет завтра? как быть, молодцы?.. давайте совет.

— Другого нечего делать как выкрасить, — сказал солдат, чистивший ружье.

— Да он ссядется, — перебил другой, который, несмотря на весенний холод, засучив рукава рубашки и поливая изо рта на белую перевязь, натирал ее мякотью голой руки, чтоб навести лоск на меловое беленье.

— Да он и не высохнет до утра, — промолвил сквозь нос страдавший под бритвою.

— А чтоб он высох и не сселся, — перехватил барабанщик, перетягивавший струны своего громогласного инструмента, — надо выкрасить его на тебе. Мы всегда так моем и белим шкуру на барабане.

Солдаты захохотали, но не менее того, надели мундир на хозяина, составили какую-то краску из бывших под рукою материалов, намочили ею щетки и начали натирать бедняка, который терпеливо стоял с распростертыми руками, как телеграф.

— Я тебе дал совет, Маслеников, — сказал чистивший ружье, — теперь ты скажи, чем выполировать ствол? отверка у меня так заржавела, что хуже царапает.

— Экой ты детина, — отвечал труженик, морщась от брызгов, летящих со щетки, — вынь шомпол из первого французского ружья, да и катай как воронилом, у них шомпола стальные, не нашим чета!

— И в забыль так, — сказал усач, оборачиваясь во все стороны и ища глазами где-нибудь брошенного ружья. Он увидел на самой крутости ската убитого француза, который, лежа навзничь, держал в руке ружье.

— Смотрите, братцы, — сказал солдат, силясь вытащить ружье из замерзшей руки. — Этот молодец и по смерти не хочет отдавать своей игрушки, — он сделал еще несколько усилий; наконец решил выдернуть один шомпол и когда в досаде тряхнул ружьем, то мертвое тело, расшевеленное попытками, покатилося по обрыву.

— Эх, брат, не ругайся над покойником, — сказал крапешный, — одно дело, что французы и сами народ не плохой, а другое, может, и тебе придется когда-нибудь считать звезды!

— Да не я, а он надо мной наругался. Только удалы же эти французы, собачьи дети: за этим не спор, что с ними с живыми надо держать ухо востро, а он и мертвый не плюшает!..

Во время этих разговоров двое офицеров стояли поодаль в тени, чтоб не мешать солдатской веселости; смотрели, слушали и смеялись изобретательности русского ума. Это были два гвардейских полковника.

— Какова выдумка для крашенья?— сказал один из них,— я сейчас пойду в свой полк и прикажу всех так выкра-
сить для единообразия.

Другой насмешливо улыбнулся и отвечал:

— Ты любишь мундиры, а я людей; мне гораздо больше понравилась похвала неприятелю; у наших людей она часто имеет вид брани, но всегда стоит доброго панегирика.

Разговор их был прерван отдаленным криком, перебежавшим от огня к огню и несшимся по всем бивакам; солдаты и офицеры повторяли какое-то имя и вслед за тем явился молодой офицер ...ского полка на усталой лошади, подъехал к разговаривающим и, увидев в одном из них своего полковника, передал ему какое-то приказание от дивизионного начальника.

— Кого вы ищете, Глинский?— спросил полковник, выслушав.

— Полкового адъютанта егерей. Я имел к нему приказание от полкового командира.

— Он проскакал недавно в полк. Но скажите, отчего вы до сих пор разъезжаете?

— Такое счастье, полковник: когда вы меня послали к Ермолову, я застал его одного; все адъютанты были разосланы, и я, благо на лошади, должен был съездить в главную квартиру.

— Что же новенького в главной квартире?— спросил первый полковник.

— Теперь идут переговоры о капитуляции Парижа и получено известие, что Наполеон в трех переходах отсюда; Мармон и Мортье отступают и стягивают к себе другие силы, поговаривают также, будто кампания не окончена.

— Право?..— сказал первый полковник, готовясь на новые вопросы, но второй перебил: «Пусти его,— сказал он,— ему сегодня было дела довольно, он хочет и отдохнуть. Г. поручик,— продолжал он, взяв за руку Глинского,— ищите адъютанта егерей, и ежели усталость позволит вам, приходите вместе с ним в мою палатку. Мы кончим ваше дежурство рюмкой доброго вина».

Глинский сжал руку своего полковника, вскочил в стремя, кольнул шпорами в окровавленные бока лошади и исчез, временно появляясь перед огнями и снова пропадая в темноте.

— Как ты думаешь об этом известии?— спросил первый, проводив глазами молодого человека.

— Думаю, что мы поразим бездействием все дальнейшие попытки к продолжению войны. Французы не пожертвуют

своею столицею, как мы Москву, и для ее спасения готовы принять все условия от победителей.

— Но Наполеон, который в двух переходах?..

— Ты ошибся, в трех. С ним кажется дело кончено. Впрочем ступай, крась своих солдат и не опоздай вступить в Париж. Если мы, и особенно в поновленных мундирах будем там, то, конечно, нечего бояться движений Наполеоновых.

— Смейся, любезный друг, а я непременно это сделаю.

Они расстались. Один пошел в свою палатку, другой к полку и до рассвета натирал, красил и сушил мундиры на усталых солдатах.

Таковы, или большею частью были таковы шумные и пестрые сцены всей ночи в стане союзников, тогда как мрачная тишина царствовала в оставленных предместьях. И в самом Париже улицы были пусты, несмотря на то, что огни сверкали во всех этажах домов, в которых граждане от мала до велика бодрствовали всю ночь, не смея предаться сну. Изумление, страх и ожидание неизвестного волновало все умы, одна мысль занимала каждого: что будет с городом и жителями, оставленными на произвол победителей и особенно русских, которых они по преувеличенным описаниям считали чудовищами и людоедами? Одни только патрули национальной гвардии, наскоро составленной, ходили по безлюдным улицам, предупреждая сборище людей, не имеющих ни крова, ни пристанища.

Но в это же время необходимость переворота и вопрос о восстановлении дома Бурбонов явились на сцену и, посреди безмолвия Парижа и цепенелых его жителей, люди всех партий работали для достижения каждой своей цели. Всю ночь кипела битва мнений; даже рассвет застал ее неоконченною; но в политике действия скрытны и следствия медленны; жертвы не погибают, как на войне, мгновенно, и часто герой, отмеченный ее перстом, думая торжествовать победу, вдруг остается один среди поля и со стыдом бывает принужден воспевать собственное поражение.

Рассвело утро прекрасного дня; войска союзников, назначенные ко вступлению, тянулись вдоль дороги к Бонди; кавалерия, артиллерия, русская и прусская гвардия, два батальона австрийских гренадер, бывших при Шварценберге, несколько гренадерских полков корпуса Раевского стояли в колоннах вдоль шоссе, ожидая прибытия императора и короля прусского. У всех союзников на левой руке была белая пе-

ревязка; в киверах были воткнуты зеленые ветки, что было принято в сражении при Ратье для отличия своих от неприятелей¹. Офицеры роились на дороге; различные толки и шумливая радость были на устах каждого. Одни готовились праздновать в Париже конец кампании и удовольствиями этой столицы заплатить за труды и лишения кровавой двухлетней войны; другие думали напротив, что это раннее торжество напрасно без уничтожения остальных способов Наполеона, и что будущее грозит новыми опасностями. Последнее могло оказаться верным, кто знал характер Наполеона, дух его войск, и соображал с этим известие о приближении французских сил, разнесшееся по всему лагерю.

Уже было семь часов утра, как показался от заставы С. Мартен кто-то верхом; за ним ехал трубач, и когда он приблизился к голове колонн, то сошел с лошади. Это был человек высокого роста, приятной наружности, но бледный и сильная грусть явно выражалась на его лице. На нем был синий сюртук, застегнутый сверху донизу и шляпа с черным плюмажем. Лицо его было знакомо многим из гвардейских офицеров. — Это Коленкур, это Коленкур! — передавали те, которые звали его, когда он был посланником в Петербурге и танцевали у него на балах, — и офицеры, любопытствуя узнать ближе знаменитого человека двора Наполеонова, понемногу составили около него кружок; между тем, как старший между ними подошел к нему узнать о его желании. — Я бы хотел видеть императора, — сказал он, и пока пошли доложить об этом Ермолову, он, узнав некоторых старых знакомых, вступил с ними в разговор и после нескольких учтивостей, спросил: почему они в таком параде? — Мы вступаем в Париж и этим парадом празднуем окончание войны, отвечали ему. Казалось, эти слова пробудили национальную гордость француза: он поднял голову, отступил на шаг, расстегнул сюртук, из-под которого блеснул шитый мундир, и сказал: — Не знаю, все ли то может случиться, что предполагается?.. В это время Ермолов, вышед из своей палатки, увел с собою гостя, который вскоре отправился в главную квартиру государей; но менее нежели чрез час он уже ехал назад и вид его был еще печальнее прежнего².

¹ Эта мера была необходима потому, что под конец кампании к союзу пристали войска всей Европы, из коих многие были одеты сходно с французскими и что это было поводом к многим замешательствам во время дела.

² Он приезжал с договорами от Наполеона; но император, верный своему слову не иметь никаких переговоров с Наполеоном, не принял Коленкура.

Наконец император с королем прусским приехали и осмотрели все войска. Русские точно были в новой амуниции и не только исправность, но даже щеголеватость отличали ряды русских героев. Никакой на свете солдат не имеет столько способности, чтобы помочь самому себе, как русский.

Командные слова полетели из уст в уста по всей линии, барабан дал знак к маршу; войска тронулись, заколебались и потекли рекою. Колонны их, следуя в мерных промежутках, скрывались в предместьи одна за другою, как волны, которые бьют и подмывают оплот, противопоставленный их стремлению.

Там, где собрано много людей в одном месте, каждая новость пролетает подобно электрическому удару. Вчерашние известия о близости Наполеона, сегодняшние слова Коленкура были известны последнему флейтщику и когда дружный солдатский шаг начал отзываться гулом между стенами пустых домов оставленных предместий, когда запертые двери и окна, инде выломленные силою, или разбитые сундуки посреди улиц показали, что тут нет жителей, то солдаты, почитая это уже самым Парижем, начали поговаривать между собою потихоньку, «что этот вход в Париж похож на Наполеоново вступление в Москву».

— Что бы и нам также не выступить отсюда, как французам, — говорил один.

— Что бы нам не попасть в ловушку, — прибавлял другой.

— Что мудреного, — перебивал третий, — да еще и *Сам* идет *по пятам* за нами¹.

Такие разговоры, как пчелиное жужжанье разносились от головы до хвоста каждой колонны и передавались другим по мере той, как они вступали в улицы предместий. Наконец появились ворота С. Мартен. Музыка гремела; колонны, проходя в тесные ворота отделениями, вдруг начали выстраивать взводы, выступая на широкий бульвар. Надобно себе представить изумление солдат, когда они увидели бесчисленные толпы народа, дома по обе стороны, униженные людьми по стенам, окошкам и крышам! Обнаженные деревья бульвара, вместо листьев, ломились под тяжестью любопытных. Из каждого окна спущены были цветные ткани; тысячи женщин махали платками; восклицания заглушали военную музыку и самые барабаны. Здесь только начался настоящий Париж — и угрю-

¹ *Сам* в эту войну означало у солдат *Наполеона*; они всегда угадывали его присутствие в сражении и если у наших шло дело худо, они всегда говорили: «верно *Сам* здесь».

мые лица солдат выяснились неожиданным удовольствием.

Между тем развернутые взводы подвигались посреди народа, который теснился, раздавался на стороны, но беспрестанно скоплялся впереди в таком множестве, что солдаты должны были укорачивать шаг, а задние взводы останавливаться, чтоб не набежать на передних. В одну из таких остановок первого взвода ...ского полка, у самых ворот, офицеры задних отделений забежали вперед посмотреть, что тут делается. Тут стоял караул только что утвержденной национальной гвардии, и как эта служба была слишком нова для миролюбивых граждан, то насмешливая молодёжь, судя по сравнению, перебирала весь фронт, смеючись над неуклюжестью непривычных ратоборцев. Один из офицеров подошел к фронту и вступил в разговор с гражданином, который казался ему неловчее других под ружьем и сумою. С злым намерением спросил он его фамилию, но изумление его не имело границ, когда тот подал карточку со своим адресом: это был славный живописец Изабе¹. Он избавлен был от замешательства раздавшимся криком: «Jean d'Astrakan, vive Jean d'Astrakan»², который повторялся кругом и снизу до верха самых труб. Все оборотились и увидели русского офицера, въехавшего верхом в ворота, в объятиях какого-то француза, который, повиснув у него на стремена, в исступлении бросил шляпу кверху, повторяя свои восклицания: vive Jean d'Astrakan! — перехваченные толпою. Эта загадка объяснилась рассказом офицера, что он за три года назад воспитывался в Париже в пансионе, в котором товарищи не могли выговаривать мудреной для них русской фамилии, называли его по родине: «Jean d'Astrakan» и что этот француз, бывший у них башмачником, теперь узнал его.

Войска двинулись опять. Перед одним из взводов этого полка шел знакомый уже нам немного поручик Глинский, герой этого рассказа, но не этой главы, посвященной героям истории. Ему едва минуло 20 лет и свежесть молодости, соединенная со стройностью рослого стана и красотою лица, возбуждали всеобщее удивление французов. Каждый шаг взвода стоил ему просьб, убеждений и даже угроз штыками; лю-

¹ Изабе, Isabeu. — славный живописец миниатюрных портретов. Он писал портреты Наполеоновой фамилии, а после в картине, представляющей Венский конгресс, изобразил портреты всех государей и знаменитых людей того времени, участвовавших в конгрессе. Он первый ввел портреты на бумаге акварелью.

² Жан Астраханский, да здравствует Жан Астраханский (фр.— *Сост.*).

бопытные беспрестанно перебежали дорогу, забегали вперед, чтобы больше любоваться русскими гренадерами и красивым их офицером. Бездна мальчишек бежала сбоку, спереди и со всех сторон, одни верхом на палочках, подражая казакам; другие подле солдат шагали вместе с ними под музыку. Беспрестанно сыпались вопросы: «*au nom de Dieu, dites nous, si vous êtes des Russes? — Comme ils sont jolis ces Russes!*» и проч.¹ Несколько раз бедный Глинский был останавливаем за шарф; однажды какая-то старушка бросилась ему на шею и расцеловала в восхищении. Те же сцены повторялись и в других взводах — и толпы народа, следуя за ними, теснились, толкались, давили одни других, кричали, шумели и снова задвигали дорогу себе и взводам. Таким образом войска прошли бульвары Итальянский и Маделены и приближались к площади Людовика XV.

Вступление союзных государей было таким событием, какого ни древность, ни современная история не могут представить. Предшествуемые эскадроном лейб-казаков, государи тихо подвигались посреди копления и криков громад народных. Нельзя представить энтузиазма, дошедшего даже до иступления к победителям. Париж, сравненный одним писателем с океаном и дома его с волнами, которые окаменели и остались недвижими, теперь походил на живое море: оно двигалось, текло, колыхалось и волны его ожили, кипя, переливаясь и крутясь народом, покрывшим дома до самого верха, — в то время как земля стонала протяжным гулом от бури, его всколебавшей. Союзники, возникшие для парижан будто из недр земных — так мало они были приготовлены к их появлению; русские, которых они нашли вовсе не такими, как воображали; стройность их полков, блестящая щеголеватость офицеров, говоривших с жителями их языком, красота русского царя, миролюбивые его намерения, кротость в войсках, какой не ожидали — все это было так внезапно для парижан, так противоположно тому, что они привыкли воображать, что появление союзников в стенах столицы стало для побежденных таким же торжеством, как и для победителей. Везде раздавались крики: «Да здравствуют государи! Да здравствуют освободители!..»

В один из таких моментов, когда скопление народа заставляло останавливаться торжественное шествие монархов на Итальянском бульваре, когда окружающие их толпы кричали, махали шляпами, когда задние ряды зрителей завидовали пе-

¹ Ради бога скажите, вы русские? — Какие они красивые, эти русские! (*фр. — Сост.*).

редним и, привставая на цыпочках, усиливались взглянуть на победоносных героев, на блистательную их свиту и парадирующие войска, позади всех раздавался жалобный, пискливый, но резкий голос малорослого горбунчика, который как ни силился приподняться на носках или вскарабкаться на плечи передних зрителей, но в обоих случаях несчастный рост изменял ему. «Сжальтесь, господа!.. позвольте взглянуть на союзников... будьте добры!..» — кричал он под ухом одного рослого мельника, превышавшего головою всех впереди стоявших и который, по доброте сердца, из передних рядов, уступая беспрестанно просьбам тех, которые его ниже, очутился в последних; добродушный великан тронулся несчастным положением карлика, обернулся к нему и, не говоря ни слова, посадил к себе на плечо, как обезьяну.

— Скажите мне, укажите, где Александр? который царь Московский? — кричал карлик, вместо того, чтобы благодарить своего покровителя.

— Вот он по правую руку.

— А это австрийцы?

— Нет, это русские.

— Не может быть! как же они без бород?

В эту минуту крики: да здравствует Александр! да здравствует Вильгельм! заколебали толпою. Карла визжал изо всех сил. Близко подле мельника два человека, порядочно одетых, вдруг закричали: да здравствуют Бурбоны! махая белыми платками. Впервые раздалась эти звуки между народом, который вовсе не был приготовлен к мысли о Бурбонах: толпы зашумели, чтоб уняли этих крикунов, ближайšie тянулись к ним с кулаками, дальнейшие нагибались уже за камнями, как вдруг пронзительный голос горбунчика покрыл все голоса вопросом:

— Что это за белая перевязка у союзников? — видно, они за Бурбонов?..¹

Поднятые руки опустились; камни выпали; чернь обратила внимание на белую перевязку союзников и потом мрачно озирала бурбонистов, которые, ободрясь, громко кричали свои возгласы, начавшие повторяться во многих местах бульвара.

— Возьми мой платок, махай и кричи: да здравствуют Бурбоны! — говорила карле одна женщина, стоявшая подле мельника, — вот тебе за это два Наполеона².

¹ Цвет знамени рода Бурбонов белый.

² Наполеондор или просто Наполеон — золотая 20-франковая монета.

— Чтоб я стал кричать, чтоб я стал махать и продавать императора?! вот тебе за это, негодная женщина,— кричал, горячася, карлик, раздирая белый платок, ему данный, и броса лоскутья на воздух.

— Вот Бурбонские кокарды!.. белые кокарды!— кричали около стоящие, смеючись на несшиеся по воздуху лоскутья; но что для близких было смехом, то отдаленные приняли за настоящее дело: лоскутки ловили женщины, драли новые платки, белые кокарды вмиг очутились на шляпах — и крики: «да здравствуют Бурбоны» начали сливаться с криками победителей. Вскоре имена государей и Людовика XVIII были нераздельными восклицаниями. Все думали угодить этим союзникам, хотя в это время никто из них не помышлял еще о Бурбонах!..

Толпы волновались и кружились; давили друг друга, бросались под ноги лошадям государей, останавливали, осыпали поцелуями конскую сбрую, ноги обоих монархов и почти на плечах несли их до площади Людовика XV, где они остановились на углу бульвара видеть, как будут проходить войска.

Площадь захлынула народом, едва оставались для прохода взводов места, охраняемые казаками. Цвет парижского общества, тысячи дам, окружали и теснили со всех сторон государей. Военные султаны, цветы, колосья и перья дамских шляп колыхались, как нива. У каждого из адъютантов, у каждого верхового стояли на стременах дамы,— один казак держал на седле маленькую девочку, которая, сложив ручонки, глядела с умилением на императора, у другого за спиною сидела прекрасная графиня де Перигор¹, которой красота, возвышаемая противоположностью грубого казацкого лица, обращала на себя взоры всей свиты государей и войск, проходивших мимо с развернутыми знаменами, с военною музыкою, с громом барабанов, в стройном порядке, посреди непрерывных и оглушающих кликов народа. Русские более всех внушали энтузиазма: наружность всегда говорит в свою пользу и рослые гренадеры, красивые мундиры, чистота, как будто войска пришли сию минуту из казарм, а не из дальнего похода; необыкновенная точность и правильность их движений, а более всего противоположность народной физиономии с фигурами австрийцев и прусаков, обремененных походною амунициею, изумляла французов. Они не верили, чтоб северные варвары и людоеды были так красивы; они были вне себя от восхищения, когда почти каждый офицер русской гвардии учтиво

¹ Бывшая после герцогиня Дино, племянница Талейрана.

удовлетворял их любопытству, мог с ними говорить; тогда как угрюмые немцы, ожесточенные против французов, сердито отвечали на все их вопросы: *Ich kann nicht verstehen!*¹

Наконец войска прошли; государи удалились; толпы малопомалу рассеялись: но волнение парижан еще не утихло. Партия роялистов, разъезжавшая целое утро с белыми знаменами и белыми кокардами, ободренная кликами за Бурбонов во время шествия войск, отправилась по городу, сопровождаемая множеством народа, который увлекается всякою переменною; они сбивали вензеля Наполеоновы, ломали императорские гербы, наконец явились на Вандомской площади. Там они отбили дверь, ведущую на колонну Наполеонову; множество людей взобралось на самый верх статуи, они неистовствовали; сбили изображение победы, бывшее у него в руке, заложили за шею статуи веревку, сбросили другой ее конец вниз, запрягли несколько лошадей и при бешеных криках: «*a bas le tyran! a bas L'usurpateur! a bas le mangeur d'enfants...*»² старались опрокинуть колоссальную фигуру, но образ исполина, уронив только из рук победу, остался непоколебим и посмеивался их ничтожным усилиям!..

Вскоре по городу пошли смешанные патрули союзных войск и национальной гвардии. Порядок был восстановлен — и на этот раз изображение великого человека было избавлено от поругания.

Союзники в ту же ночь были почти все размещены по казармам. На другой день офицерам выданы билеты на постой и с этого времени начинается наш настоящий рассказ.

ГЛАВА II

Поутру, после худо проведенной ночи в так называемой Вавилонской казарме, в предместьи С. Жермен, офицеры всех полков, там квартировавших, получили от своих полковников билеты на постой в городе.

Полковник гвардии ...ского полка, один из тех, которых мы третьего дня видели у бивачного огня на горе Шомон и у которого Глинский служил в полку поручиком, был необыкновенно добрый человек, с положительным умом и твердым характером, неискательный и нетребовательный. Он получил

¹ Я не понимаю (*нем.— Сост.*).

² долой тирана! долой узурпатора! долой фанфарона (*фр.— Сост.*).

изрядное образование, но по светски и по настоящим обстоятельствам оно было недостаточно, потому что он не говорил ни на каком иностранном языке, хотя и читал на двух или трех. Он стыдился этого недостатка, тем более, что французский язык был необходимою вещью для гвардейского офицера, а особенно теперь, в Париже. Из всех офицеров своего полка он наиболее любил Глинского как юношу, порученного ему отцом, как человека с прекрасными качествами, которые он употреблял не для того только, чтобы блистать ими подобно многим из товарищей, но для приобретения новых развитий своим способностям. Всю кампанию Глинский пользовался расположением своего полковника и вполне заслуживал его.

— Вадим,— говорил ему полковник, взяв из рук Глинского билет,— я хочу доставить вам лучшую квартиру: возьмите мой билет. Мне назначили постоя в самой модной части города, у какого-то знатного и богатого маркиза.

— Где же вы сами будете жить, полковник? Каким же образом я отниму у вас квартиру? почему вы не хотите жить на ней?..

— Я буду жить в трактире: мое состояние позволяет мне это и там я буду сам себе господин, тогда как при моем чине или буду беспокоен для почтенных хозяев, или они будут мне в тягость. Вы молоды: небольшое принуждение не должно быть вам тяжело, тем более, что у вас на первый раз готово порядочное знакомство. А я каким образом познакомлюсь? на каком языке буду объясняться с модными парижанами? Возьмите билет и веселитесь в Париже.

Глинский благодарил доброго полковника как мог. Молодому человеку лестно было с первого дня вступить в лучшее общество Парижа и, следовательно, воспользоваться всем, что могло ему представить любопытного и приятного эта столица вкуса и роскоши. С веселым сердцем отправился он искать своей квартиры и первый попавшийся навстречу мальчик повел его в предместье С. Жермен, в улицу Бурбон, как значилось в его билете.

Кто бывал в Париже, тот, конечно, припомнит положение улицы Бурбон, первой вдоль берега Сены и где все почти дома знатнейшей парижской аристократии построены наподобие дворцов, имея с одной стороны обширный двор, а с другой сад. Огромный дом маркиза Бонжеленя, у которого Глинский остановился с провожатым, был подъездом на улицу и составлял с флигелями подобие буквы П. Великолепные железные сквозные ворота затворяли большой двор; перед до-

мом, сзади которого, до самой набережной Сены, простирался довольно пространный сад. По обе стороны ворот, в колойнаде, их составлявшей, были небольшие флигеля, из которых в одном помещался привратник с женою. Оба они выглянули в свое оконце, когда Глинский спросил: дома ли маркиз, и оба в один голос отвечав утвердительно, выскочили под ворота; муж проводить гостя с низкими поклонами наверх, а жена пересказать всей дворне, что к ним зашел какой-то иностранный офицер.

Русский на другой день вступления в Париж, имеющий надобность до маркиза, в ту же минуту был допущен. Его провели чрез ряд богато убранных комнат, увешанных картинами лучших мастеров; наконец в кабинете увидел он маленького сухого черного человечка, зашитого во фланель с головы до ног, в папильотках и который торопился надевать кое-как сюртук, чтобы принять гостя. Это был сам маркиз, который побежал с извинениями, что принимает в таком наряде потому только, что не желал заставить дожидаться офицера армии победителей ни одной минуты. После нескольких учтивостей, он спросил Глинского, по какому случаю обязан счастьем видеть его.

— Имея билет на квартиру в вашем доме, маркиз, я решился потревожить вас; я русский офицер старой гвардии императора.

Слова: *русский, старая гвардия*, заставили маркиза поднять брови и воскликнуть с видом удовольствия: «Офицер старой гвардии! Милости просим!» Видно было, что он отдавал преимущество последнему титулу, с которым явился к нему молодой человек. Потом, как бы желая поправить свое восклицание, он продолжал: «Милости просим! я очень рад, что могу доказать, сколько люблю и уважаю вашу нацию и сколько предан императору Александру, на которого мы возлагаем все наши надежды. Ваше имя? милостивый государь?»

Глинский сказал ему свой чин и фамилию.

— Прекрасно! М. Glinisky, — сказал маркиз, подавая руку, — с этой минуты вы узнаете, могут ли французы равняться с вами, русскими, в гостеприимстве, о котором так говорят много. Теперь позвольте мне на минуту оставить вас, чтоб кончить свой туалет и потом показать ваши комнаты. Г-н Дюбуа, прошу вас занять г. Глинского, нашего гостя домашнего, пока я оденусь, — сказал старик вошедшему человеку средних лет. — Г. Глинский, рекомендую вам друга нашего дома, г-на Дюбуа; мы живем вместе. — Сказал это маркиз и скрылся, послав рукой поцелуй нашему герою.

По-видимому, новопришедший восхищался гораздо менее маркиза приходом союзников в Париж и помещению русского офицера под одною с ним крышею. После некоторых сухих и принужденных приветствий он стал к окну, сложа руки. Это был человек лет сорока, замечательной физиономии, которая делалась еще выразительнее от черной перевязки, закрывавшей половину его лба. Крест Почетного легиона висел на его петличке. Видно было, что трудная жизнь оставила следы свои: складка между бровями, преждевременные морщины, впалые глаза и бледные щеки обнаруживали следы пылких страстей. Но, несмотря на это, невзирая на обезобразившую его черную повязку, черты лица его имели приятное выражение.

От Глинского не укрылось ни одно из этих обстоятельств; ему понравился этот человек, несколько раз он старался заговорить с ним, но сухие, хотя учтивые ответы обезохотили его продолжать попытки. Он замолчал и обратил взоры на большой женский портрет, один только висевший во всей комнате. На нем изображена была во весь рост очень молодая, необыкновенно прелестная особа, сидевшая в саду под деревом. Есть лица, привлекающие к себе внимание, от которых нельзя отвести глаз и которые тем кажутся совершеннее, чем далее на них смотришь. Перед Глинским было такое лицо. Во всех чертах, в улыбке, в больших глазах светилась прекрасная душа и очарование прелести тем было совершеннее, что в каком бы положении зритель ни находился, глаза портрета глядели прямо на него — и тот, кто однажды почувствовал впечатление этого взгляда, не решался прервать удовольствия, так сказать, упиваться этими неизъяснимо приятными взорами.

Долго стоял Глинский, задумавшись перед картиною, наконец спросил у Дюбуа, чей это портрет?

— Графини де Серваль, дочери маркиза, потерявшей при Дрезденской битве мужа, бывшего адъютантом у Наполеона.

— Она живет у отца?

— Теперь уехала с матерью в Лион, перед вступлением союзных войск в Париж.

— И не возвратится более?..

— Не знаю.

— Похож ли этот портрет на графиню?..

Дюбуа посмотрел пристально на Глинского, улыбнулся и сказал: «Графиня лучше своего портрета».

Глинский обратился снова к портрету: «какое несчастье, — думал он, — быть лишены сообщества такой женщины!», гла-

за его с жадностью пробежали все черты, все подробности картины: приход маркиза извлек его из задумчивости.

Он одет был в щегольской фрак, спитый по последней моде, во всей одежде была изысканность, тем более видная, что замечалось желание соединить достоинство со щегольством и старость прикрыть модою. Голова была завита и густо напудрена, воротник рубашки подымался выше ушей и закрывал щеки, так что от всего лица только и видны были торчащие серые брови, сверкающие черные глаза и сухой орлиный нос. Две худые и костлявые ноги, заключенные в лосиное исподнее платье и в сапоги с отворотами и шпорами, походили более на чубуки, нежели на то, что называется у других людей ногами. На груди висел лорнет, в руках был хлыстик. — «Это портрет моей дочери, — начал он, — писанный три года назад, когда она вышла замуж. Бедная Эмилия с тех пор успела уже овдоветь! В двадцать лет быть вдовою ужасно! тем более, что она решилась не выходить замуж снова, и я боюсь, что она с своим характером сдержит слово!» Маркиз проговорил это, обратясь к портрету, сложа руки и почти про себя. Густые его брови сдвинулись, скорбная мысль выразилась на лице; он взял табакерку, понюхал табак и, как бы опомнясь, сказал:

«Извините меня, когда я вижу кого-нибудь перед портретом, сердце у меня сжимается!.. Знаете ли, что это *chef d'oeuvre*¹ Жерара?»

— *Et le chef d'oeuvre de la nature*², маркиз.

— Bravo, г. Глинский! — воскликнул старик, взяв за руку юношу, — это комплимент и мне. Теперь пойдёмте: я покажу сам ваши комнаты. — Сказав это, он шаркнул, сделал поклон и повел с торжественным видом своего гостя.

Они сошли в нижний этаж, где одна половина определена была Глинскому.

— Не знаю, понравятся ли вам эти комнаты, — говорил маркиз, — что касается до меня, мне когда-то они очень нравились: здесь я женился и провел первый медовый год при жизни покойного отца; вверху я не был уже так счастлив: там состарелись мы оба с маркизою. Вот видите, г. Глинский, эти окна у нас на двор, а те в сад, двери в него из вашей большой залы и одни только во всем доме. Здесь комната для вашей спальни, здесь гардероб, здесь кабинет, здесь...

— Помилуйте, маркиз, на что мне столько покоев? — все

¹ Лучшее творение (*фр.* — *Сост.*).

² Лучшее творение природы (*фр.* — *Сост.*).

мои пожитки и весь гардероб в одном чемодане, сверх того, может быть, завтра же меня здесь не будет.

— Будете, будете! Ваш император останется устроить наши дела, а вы останетесь при его особе. Но где же ваши пожитки?— где ваши люди?..

— Люди, маркиз?.. Ныне прошли те времена, когда можно было в армии таскать за собою дюжину слуг и экипажей; если я не ошибаюсь, я видел уже на дворе своих лошадей с моим человеком и со всем походным богатством.

— В таком случае вот ключ от ваших дверей. Чрез час мы завтракаем: хотите ли разделить с нами трапезу, или угодно вам, чтобы завтрак принесли сюда?

— Я не желал бы на волос изменять ни жизни вашей, ни порядка.

— А в таком случае ваш прибор за столом и ваше место подле камина всегда будут ожидать вас наверху — итак, до свидания. Я не хочу мешать вашим хозяйственным распоряжениям.

Глинский осмотрел свои владения, расположился и в ожидании завтрака сошел в сад. Большая стеклянная дверь вела туда из его залы. Одна прямая аллея посредине могла только показать длину сада, но другие дорожки, расположенные в английском вкусе, совершенно скрывали его пространство, тем более что стены были закрыты высокими тополями и что соседние сады казались продолжением здешнего. На многих площадках в приличных местах стояли прекрасные мраморные статуи. Не прошло четверти часа, как Глинский услышал за собою походку и мужской голос, называвший его по имени. Он обернулся: молодой человек лет двадцати, в мундире национальной гвардии, среднего роста, очень приятной наружности и открытой физиономии, держал уже его за руки и со свойственною французам любезностью объявил, что он племянник маркиза, что его имя виконт де Шабань, потом без всяких околичностей просил Глинского о знакомстве и дружбе. Между молодыми людьми то и другое заводится скоро: сердца, не испытавшие несчастий, характеры, не омраченные опытом, доверчивы и общительны. Глинский с Шабанем, взявшись за руки, пошли по саду и после получасовой прогулки, когда их позвали к завтраку, они были совершенными друзьями.

— Надобно вам сказать, — говорил Шабань, идучи из сада, — что вы будете жить в этом доме с большими оригиналами, но с оригиналами любезными. Один недостаток моего дядюшки состоит в том, что он, несмотря на бытность в Париже

при всех переворотах, не может забыть старинного двора, старинной монархии и старинных привычек. Вследствие последнего ему кажется, что человек хорошего тона не должен ничего делать, оставляя эту заботу плебеякам и людям без состояния и что одна только служба при дворе прилична дворянину с его родословною. Есть у нас другой оригинал: г. Дюбуа, вы его увидите за завтраком...

— Я уже его видел...

— Это оригинал, у которого, однако, сердце и голова на своем месте. Его странность та, что он обожает Наполеона более, нежели можно любить любовницу. Признаюсь, этот недостаток заразителен, когда слышим от него об этом человеке. Вот вам основные черты характеров, насколько позволяет краткость времени описать их.

— Но что он за человек и почему он живет в доме?

— Это тоже черта его оригинальности. Он служил в военной службе, был адъютантом при Наполеоне и в начале 1812 года, посланный в Испанию, был тяжело ранен гверильясами. Эта рана принудила его выйти в отставку. Наполеон обещал ему место: но несчастная ваша война, увлекши императора, не позволила ему сдержать слово. Дюбуа, служив вместе с де Сервалем, зятем маркиза, был ему друг, и маркиз по желанию зятя взял к себе раненого. Когда Дюбуа выздоровел от тяжелой раны, он не мог более служить в военной службе и, ожидая места, обещанного Наполеоном, не хотел оставаться на хлебах маркиза иначе, как отпращивая обязанность его домового секретаря, и с тех пор дружба и уважение домашних увеличиваются более и более к этому человеку, невзирая на бесконечные его споры с маркизом и разность их мнений.

— Черная перевязка, верно, следствие раны, полученной в Испании?

— Нет, это гостинец, принесенный третьего дня со свидания с вами, г-да русские. Несколько генералов, лечившихся от ран в Париже, многие офицеры, жившие давно в отставке, а в том числе и Дюбуа,— явились к маршалам Мармону и Мортье для защиты столицы, Дюбуа ранен снова при взятии Бельвилья.

— Вы говорили, что он был друг графу де Серваль: вдова его возвратится ли из Лиона?

— А вы уже знаете все подробности. Не могу вам ничего объявить об этом. Впрочем, предостерегу вас, что если она и приедет, то ее надобно беречься!.. она прекрасна как ангел, холодна как лед и не кокетка. С такою женщиною долго ли до дурачества: можно влюбиться и безнадежно. Однако, об

этом после. Честный и порядочный француз сперва завтракает, а потом говорит о делах.

Говоря это, молодые приятели вошли в комнату, где ожидали их маркиз и Дюбуа к завтраку.

— Мы теперь по семейному, — сказал маркиз Глинскому, — надеюсь, что вы ознакомились уже с г. Дюбуа и повесю племянником. Судьба нам велит, может быть, прожить и долго вместе, итак, начнем с того, чем другие кончают: примемся за дела без церемоний. Пью за здоровье общей дружбы и искренности! Время, которое проводят в пустых формах первого знакомства, теряется для дружбы.

Старый, но живой маркиз одушевлял всех своим примером: завтрак был превосходный; все смеялись от чистого сердца, каждый прикладывал свое словцо к беседе, один только Дюбуа сохранял важность и грустный вид, не принимая участия в разговорах, относившихся до настоящих обстоятельств.

— Вы знаете, г-да, — сказал маркиз, — что император Александр издал прокламацию, в которой он предоставляет самим французам избрать себе такой род правления, какой им угодно. Я уверен, что Франция, наученная опытом, послушается голосу рассудка и возвратится к правлению благоразумнейшему, к отеческому правлению Бурбонов.

— Я думаю, — сказал Шабань, — что именно Франция, наученная прошедшими опытами, более будет заботиться о форме правления, нежели прежде, чтобы доставить счастье и упрочить спокойствие своим гражданам. Кто бы ни занял ее престол, но желательно бы для французов, столько потерпевших и уже усталых от перемен, чего-нибудь такого, что бы обеспечило целый народ и более связывало его с своим монархом.

— Но мнение парижан выразилось, а этого только и ждал император Александр, и если Бурбон возвратится, если он законный государь, то нам от его только снисхождения должно ждать такого образа правления, какое он заблагорассудит.

— Но я слышал, что сенат и временное правление уже готовят хартию, которая предложится королю для обнародования при вступлении на престол...

Маркиз хотел возражать, но Дюбуа прервал его:

— Вы забыли, г-да, короля Римского, сына Наполеона?..

— Мне сказывали сегодня, — начал Глинский, — что ваш император и слышать не хочет ни о Наполеоне, ни о регентстве за его сына. Последнее могло бы случиться, если б по-

спешность Иосифа, который увез императрицу, не повредила делу короля Римского. По крайней мере, Мария-Луиза могла бы требовать этого. Теперь она за 56 миль отсюда; император австрийский остался в Дижоне; Шварценберг, не имея никаких предписаний по этому предмету, предоставил вместе с другими парижанам право избрания и потому вопрос об этом был только мимоходящим мнением, — вчера вечером наш император кажется положительно выразился в пользу Людовика XVIII.

Дюбуа удержал вздох — и опустил голову на грудь.

— Кто бы подумал, — сказал старый маркиз в восхищении, — когда победоносный Наполеон собирался в Россию, что чрез два года русские придут по его следам в Париж и что мы будем пить за здравие наших гостей неразлучно со здравием Бурбонов? Кто бы подумал, что самая несбыточная мечта готова сбыться на самом деле? Г-да! за здравие Людовика и за счастливое его прибытие в столицу своих предков!..

Глинский поднял рюмку; как русский, как юноша, упоенный славою оружия победительных войск, он был здесь представителем освободителей Европы и восстановителей трона Бурбонов.

— Охотно пью за здравие Людовика и желаю, чтобы Франция была счастливее прежнего.

— Желаю благоденствия народов, долгого мира и свободы Франции для того, чтоб она отдохнула и от республиканских ужасов и от беспрестанной войны, под умеренным правлением Бурбонов! — сказал Шабань.

Дюбуа взглянул сурово на него, поднял также рюмку и произнес медленно:

— Желаю, чтобы юности слава не казалась тяжелою; пью за память храбрых и в честь великих. Дай бог! чтоб Франции возвратилось все ею утраченное.

— Дюбуа! вы грешите против провидения, — сказал маркиз, — я понимаю ваши мысли, уважаю вместе с вами великих, но это величие дорого стоило Франции. Счастью и несчастью есть конец; судьба показала тому разительный пример, проведши одного по всем степеням величия, чтобы низвергнуть с высоты — и сохранивши посреди бедствий и нищеты другого, чтобы отдать ему престол Франции, ожидающей с нетерпением своих любимых государей.

— Извините меня, маркиз, — сказал Дюбуа, — я дышал славою своего отечества, а славу его составил один человек. Он пал, он в несчастии и потому-то именно Франции должно любить и помнить его. Но мы его забываем слишком скоро и

простираем руки к тому, кто, может быть, возобновит все ужасы прежней монархии и будет стоять дороже Франции, нежели все войны Наполеона.

— Я знаю, это вседневный ваш образ мыслей, но теперь выражать их напрасно.

— Напротив, я думаю, что выражать их было бы для меня неприлично во время владычества Наполеона. Тогда меня почли бы льстецом: а теперь мне нечего выиграть моею похвалою.

— Но зато можно проиграть этими словами.

Дюбуа улыбнулся и не отвечал ни слова.

— А вы кого любите?— спросил потихоньку Глинский у Шабаня.

— Я люблю женщин,— отвечал тот, прихлебывая из рюмки,— и все то, что принадлежит к женскому роду, я люблю Францию — но не хочу еще ни о чем думать, а если давеча и сказал что-нибудь похожее на обдуманную вещь, то каюсь в этом грехе и буду теперь жить умом дядюшки, потому что другой ум может ему повредить в настоящих обстоятельствах. За здоровье русского гостя,— прибавил Шабань, наливая снова рюмки.

Все выпили, кроме Дюбуа, который, остановив свой взор на Глинском, сказал, указывая на голову: «Г-да русские гости сделали то, что эта рюмка может быть для меня ядом», но потом, как будто стыдясь обоюдности своих слов, он с живостью прибавил: «Нет, г. Глинский, не могу поступать против своего сердца и пить за русского!»

— Вы властны в своих чувствах и я никак не могу требовать от вас отчета, почему вы кого-нибудь любите или ненавидите,— сказал холодно Глинский.

Все встали. Шабань подошел к Дюбуа.

— У вас сегодня такой угрюмый вид, что от него вино делалось кислым в наших рюмках. Что с вами сделалось?

— Я не могу переносить вида русских! они причину всех несчастий Франции!..

— А! Понимаю!.. Не сердитесь на этого ворчуна,— сказал Шабань, обращаясь к Глинскому,— я предупредил вас о его страсти к Наполеону.

— Это не резон, чтобы ненавидеть русских, точно так же как и все несчастья, нанесенные Наполеоном России, не заставят меня сказать, что он не был великим человеком. Не знаю, поступал ли он как должно, вошедши в Россию, но, конечно, русские сделали свое дело, пришед за ним во Фран-

цию. — Глинский сказал это довольно громко, так что Дюбуа слышал его ответ.

Глинскому неприятна была такая встреча для первого раза. Он начал говорить с Шабанем о посторонних предметах; маркиз призвал повара и рассуждал о плане обеда; Дюбуа с каким-то внутренним движением ходил по комнате в задумчивости. Глинский следил взорами этого человека. Ему хотелось найти в нем какую-нибудь странность, какой-нибудь недостаток; мы ищем этого против нашей воли, когда сердиты. В другое время Глинский не замечал бы Дюбуа, но теперь он нехотя видел, что каждое движение его тела было прилично, и когда он останавливался против какой-нибудь картины, переходил к другой, или отходил снова — во всех его поворотах и приемах была какая-то приятная ловкость. Глинский признавался сам себе, что этот человек ему нравился, несмотря на угрюмый характер — и в этом случае он оправдывал его собственными своими чувствованиями: если гений Наполеона заставлял неприятеля удивляться ему, то что же должны были ощущать люди, бывшие под его непосредственным влиянием?

Наконец русский, оживляемый приятною беседою дяди и племянника, развеселился, был любезен и обворожил их обоих. В самом деле, молодой человек заслуживал любовь во всех отношениях. Прекрасный собою, воспитанный со всем вниманием нежно любящего отца, взрослый в лучшем обществе столицы русской, он был уже не только 20-летний юноша, но молодой человек, прошедший в кровавой войне два года, где горькая опытность развила в нем все то, чем природа награждает своих любимцев, как в отношении сил телесных, так и душевных.

Старик маркиз вызвался показать ему все достопамятности Парижа, а племянник познакомить со всеми удовольствиями этого Вавилона. Так они расстались после первого свидания.

ГЛАВА III

В то же самое время, когда весь Париж стекался навстречу входящим союзникам к воротам С. Мартен на бульвары Маделень и Итальянский, когда прочие улицы были почти пусты — у других застав происходило позорище другого рода. Жители всех оставленных и разоренных предместий и деревень толпились около застав без всякого пристанища. Ста-

рые и молодые люди и животные были вместе, и когда эхо доносило восклицания народные и радость парижан, встречавших войска, до сборища этих несчастных, то здесь слышались одни только вздохи и жалобы; видно было одно бедствие и слезы. С той стороны входили торжествующие — с этой несли раненых в госпитали; их стенания и плач разоренных обличали, как дорого досталось это торжество. Толпы поселян и жителей предместий стояли подле сваленных на мостовую в кучу имуществ; на них сидели плачущие жены их с грудными младенцами; одни наскоро сделали себе кой-какие шалаши из досок или из простынь; другие с целыми семействами помещались на телегах. Лошади, коровы, овцы, домашние птицы, — все были перемешаны и увеличивали хаос суматохи своими разнородными криками. Первый день все эти толпы оставались почти без всякой помощи. Любопытство парижан заставило их оставить дома почти пустыми, но к вечеру, когда жители возвращались с нового для них позорища, многие брали к себе этих несчастных; отовсюду носили им пищу, вино и прикрывали тех, которых недостаток или этот случай подвергал суровости весенней ночи. Многие из жителей отправились за город, помогали носить раненых и прибирать мертвых. Заставы были уже свободны, и сострадательные и любопытные беспрестанно ходили в ворота и из ворот. Наутро стечение народа увеличилось из других частей города. Парижанам необходимо нужны зрелища — и скопление у застав было невероятное.

Глинский после завтрака должен был отправиться к воротам С. Дени, чтобы выполнить некоторые поручения по службе. Он поехал туда верхом; казак, ординарец его генерала, следовал за ним, и тут они встретили волнующиеся толпы жителей, которые, вопреки обычаю шумных парижских сборищ, безмолвно смотрели на несчастных, разоренных и лишенных имущества. Во всех дверях, во всех окошках видны были слезливые лица; только изредка, ежели носилки или телеги с ранеными заставляли расхлынуться толпу, она отвечала слезами и восклицаниями на стенания страждущих воинов, или с молчанием давала место патрулям соединенных войск, или потом с участием оглядывала партии военнопленных французов, которые были отпущены императором Александром тотчас по вступлении и проходили мимо пестрого сборища с мрачным видом и потупленными глазами.

В этой тесноте Глинскому надобно было посторониться у одного дома, чтобы дать проехать огромной полковой фуру; в то же время носилки с тяжелораненым французским солда-

том, следовавшие за фурую, поровнялись с ним. Окровавленная человеческая фигура, покрытая плащом, лежала на них. Страдания были написаны на мертвенном лице, обожженном порохом и обезображенном запекшеюся кровью. Фура, задержанная толпою, остановилась, а за нею и носилки. Раненый не произносил никакого стона, однако боль выражалась качаниями головы направо и налево: «Пить! пить!» — хрипел он слабым голосом.

Молоденькая хорошенькая мещанка, хозяйка дома, стоявшая на ступенях крыльца, против которого остановился Глинский, отерла передником слезы и побежала наверх, чтобы исполнить просьбу воина.

— Далеко ли вам нести, добрые люди?— спросил Глинский.

— Далеко,— отвечал один из них.

— До этого не было бы нужды, что далеко нести,— сказал потихоньку другой,— если б только в больнице было место, а то мы знаем, что многие раненые до сих пор не помещены и лежат на улицах; а ежели этому сегодня не помогут, то, конечно, ему не жить на белом свете.

— Разве он опасно ранен?

Оба носильщика пожали вместо ответа плечами. Хозяйка выбежала с бутылкою вина и стаканом. Глинский попросил у нее позволения напоить солдата.

— Храбрый товарищ,— сказал он, наклонясь к раненому,— позволь напоить тебя русскому, который умеет ценить неустрашимость и в своих неприятелях.

Больной остановил движения головы, открыл глаза и дал знак согласия; хозяйка поддерживала голову, Глинский дал ему выпить несколько глотков; толпа зрителей стеснилась около носилок.

— Я уверен,— сказал Глинский, обратясь к хозяйке,— что прекрасная наружность неразлучна с добрым сердцем; вы тронуты положением несчастливца, не позволите ли ему остаться несколько дней в вашем доме,— я заплачу за постой и присмотр и постараюсь о помощи?

Молодая женщина, потупив глаза, играла концом своего передника.

Зрители восклицали со всех сторон похвалы русскому и уговаривали хозяйку, Глинский вынул кошелек, хотел положить ей на руку, но она, отдернув ее со слезами на глазах, дала знак рукою, чтоб носильщики следовали за нею.

— Benediction! Benediction!— шумно закричала толпа вслед Глинскому, и это была первая минута, в которую пе-

чальная тишина была нарушена. Радостные клики и хлопанье в ладоши долго не переставали.

Раненый был положен в небольшой чистой комнате. Глинский уговорил хозяйку взять деньги, купить и исправить все нужное. Он отправился по своему поручению и менее чем через час возвратился с полковым лекарем, который, перевязав опасные раны, дал надежду, что раненый может остаться еще жив при хорошем присмотре.

Это уверение обрадовало Глинского; весело отправился он домой, где дожидались его Шабань с маркизом, и остаток дня посвящен был любопытству. Шумные происшествия нескольких дней, худо проведенные ночи, и наконец роскошная постель усыпила Глинского в эту ночь богатырским сном. Было уже поздно, когда он проснулся — и открыв глаза, совершенно потерял память прошедшего. Богатство комнат, убранство постели, тонкость белья, чириканье птиц в саду, говор народа на улице казались ему продолжением сновидений, которые сменялись одни другими в его юном воображении. Наконец он собрал рассеянные мысли, припомнил вступление в Париж, маркиза, портрет его дочери, Дюбуа и Шабаня и наконец раненого гренадера, который теперь составлял всю его заботу. Он оделся и поскакал снова к нему.

Печальные сцены вчерашнего дня еще продолжались между разоренными жителями предместий, но число их уменьшилось; многие возвратились уже в свои дома; любопытных было не столько и Глинский беспрепятственно доехал до известного ему дома. Он с нетерпением постучался у дверей. Слова: «Жив ли?» были на губах его, когда вышла хозяйка, но он по веселому лицу ее переменял свой вопрос. «Был ли лекарь сегодня?» — сказал он.

— Был, — отвечала хорошенькая мещанка. — Он говорит, что завтра снимет первые перевязки и с уверенностью ручается за его жизнь. — Говоря это, она провожала Глинского в комнату раненого.

— Может ли он говорить? — спросил Глинский.

— Лекарь говорил с ним несколько слов, однако ж запретил его беспокоить.

Когда Глинский подошел к постели, он увидел, что вчерашнее безобразие от застывшей крови и пыли исчезло с лица больного; чистое белье, мягкая подушка, теплое одеяло, столик с прибором показывали попечительность присмотра. Глинский, окинув все это взглядом, оборотился к хозяйке и сделал ей знак одобрения. Удовольствие было написано на хорошеньком ее личике.

Раненый, услышав шорох, открыл глаза и устремил их на Глинского. Брови его сдвинулись, как будто он хотел что-нибудь припомнить, и потом медленная улыбка привела в движение страждущее лицо. Он силился вытащить руку из-под одеяла, ему хотелось подать ее Глинскому, но силы изменили; он закрыл глаза и отворотил голову, чтоб скрыть выступившие слезы.

Этот солдат был человек лет около сорока; наружности довольно красивой; густые бакенбарды и усы оттеняли его правильную физиономию. Бледность лица отнимала несколько суровости выражения, столь свойственному загорелому солдатскому лицу.

Не беспокоя более больного, Глинский уехал; но не проходило дня, чтоб он не побывал бы у него и часто по два раза, ежели позволяло время, и при каждом посещении с удовольствием замечал, как силы раненого прибавлялись. Наконец лекарь позволил ему говорить; первые слова были выражением благодарности, но Глинский лучше хотел говорить о другом: он знал, что нельзя более доставить удовольствия воину, как заставив его рассказывать про свою службу. Помертвевшие губы оживлялись и на бледных щеках являлся отблеск жизни, пока сраженья и слава французских войск были пред его глазами; но когда дело дошло до несчастий, претерпенных великою армиею, глаза потухали, голос изменялся, энтузиазм слабел, картины поражений сменяли одна другую, рассказ сделался отрывист. Наконец, больной не мог продолжать своего похода далее Дрездена, — силы его оставили, когда он дошел до того места рассказа, где упал любимый их полковник, убитый ядром.

В рассказе простых людей есть особенное красноречие, ежели они говорят о том, чему сами были свидетели. Раненый, не могши воздерживать своих чувств, лежал отворотясь к стене. Помолчав немного, солдат продолжал: «Извините меня, г. поручик, что я плачу, как женщина, более 20 лет службу Франции, а в эти годы привык почитать службу матерью, а доброго начальника отцом. Граф де Серваль...»

— Был твой полковник? — прервал с живостию Глинский.

— Так точно, г. поручик.

— Не он ли был адъютантом у Наполеона?

— Он самый — но он время от времени принимал команду нашего полка, где служил с юношества, и в Дрезденском деле послан был Наполеоном с колонною, чтобы отеснить австрийские силы, напавшие на нас под защитою сильной батареи. Он незадолго перед русскою кампаниею женился здесь на

прекрасной девушке. Я видал ее, когда бывал на посылках: она была удивительно хороша, г. поручик, и ежели бог даст мне здоровья — увижу ее опять, чтоб рассказать ей что-нибудь о муже.

— Знаешь ли? — Глинский хотел выговорить, что ее ожидают скоро в Париж, что он живет в доме ее отца, но мысль, что он может рассказать ей, как и кто помог ему, остановила молодого человека. Он столько же боялся огласки своего доброго поступка, сколько другой мог бы опасаться, чтоб не вышло наружу какое-нибудь непохвальное действие. Он прошелся в задумчивости несколько раз по комнате и, остановясь подле больного, взял его за руки и сказал:

— Графиню ожидают в Париж, может быть, я увижу ее. Я скажу, что здесь есть человек, служивший с ее мужем; она, конечно, будет стараться, чтобы сделать все зависящее от нее для твоего успокоения. Как твое имя, храбрый товарищ?

— Матвей Гравель, гренадер 34 полка. Я рад, что вы спросили мое имя, г. поручик, — теперь я без неучтивости могу спросить и ваше, имя моего благодетеля?

Глинский покраснел. Одна и та же мысль наполняла его голову. Сказать свое имя — значило то же, что признаться в преступлении.

— Наши русские имена мудрены для французов, — сказал он, — но если ты хочешь знать, я называюсь *Серебряков*.

— Помогите нам боже, — воскликнули оба, солдат и хозяйка, — и это христианское имя!.. Однако, — продолжал первый, — я выучу его во что бы то ни стало, и буду помнить всю свою жизнь. *M. célèbre coffre, célèbre coffre*¹, извините, г. поручик, повторите еще раз ваше имя.

Хозяйка хохотала, радуясь случаю показать свои ровные жемчужные зубы. Сам Глинский смеялся. Он заставлял повторять свою выдуманную фамилию, на конце которой беспрестанно слышалось или *Coffre* или *Сог*, ежели выговаривал солдат, или *соег*², когда поправляла его хозяйка, и оставил их в заботе — твердить наизусть бог знает какие звуки, которые с каждою попыткою выходили смешнее и страннее. Забота о больном не мешала Глинскому пользоваться любезным вниманием его хозяев, которые хотели доставить ему все способы провести время приятно и полезно. Любезные качества русского офицера обворожили старого маркиза. Он не видел в нем души; Шабань не знал, как угодить новому своему другу, и таким образом протекли семь дней для русского гос-

¹ Славный сундук, славный сундук (*фр. — Сост.*).

² сердце (*фр. — Сост.*).

тя между любопытства и веселости. На осьмое утро Глинский, возвращаясь домой от своего полковника, увидел на дворе несколько дорожных экипажей. Придверник сказал ему, что это приехала старая маркиза с дочерью. Молодой человек затрепетал при последнем имени и торопливо вбежал в свои комнаты. «Кто приехал?» — спросил он своего слугу.

— Старая барыня с дочерью и внучкою, — отвечал тот.

— Разве у нее есть дочь?..

— Как же, сударь, и прекрасная; жаль только, что очень печальна и вся в черном.

— Разве у нее есть дочь, спрашиваю я?..

— Я думал, вы говорите о старой барыне. Есть, сударь, лет 3-х малютка, миленькая девочка! Я принял ее на руки из кареты. Двое слуг повели под руки старую, двое молодую барыню на лестницу.

В эту минуту вошел Шабань. «Приехали наши хозяйки, — сказал он. — Мы их сегодня не увидим с дороги; но завтра будем все вместе обедать, — в ожиданьи я пришел просить тебя о важном деле».

— Что это за важное дело, Шабань?

— Видишь ли, у нас скоро парад для встречи д'Артуа, как наместника, его ждут сюда к 12 числу. Мне надобно быть верхом, и как я желал бы показаться необыкновенным образом, то не хочу ехать на своей лошади, а желал бы купить казачку. Это необыкновенно, а ты можешь мне в этом помочь. Помоги, Глинский!..

— Но скажи, пожалуй, казацкие лошади с хвостами. Как же ты будешь на ней во фронте?

— Тем лучше, всякий увидит, что это казацкая, а ты знаешь, какое высокое мнение у французов об этих лошадях? Надобно блеснуть, любезный друг, — а чтобы блеснуть, надобно отличиться.

Глинский засмеялся: «Помилуй, Шабань, казацкая лошадь хороша в походе, а не в параде: нашему брату нельзя показаться на твоей лошади».

— Ах, Глинский! Ты не знаешь французов. — Я первый выкину моду, а ты увидишь, что на следующем параде для встречи короля нельзя будет показаться без такой лошади: между тем целый Париж будет говорить обо мне. Каждый порядочный человек заведет непременно казацкую, а если не достанет, то, по крайней мере, будет привязывать хвост к своей лошади, и вообрази, что я сделаю эту революцию. — С Шабанем такой аргумент убедил Глинского. Он отправился с ним к своему полковнику, у которого было несколько казацких

лошадей. Глинский объяснил цель посещения и причину желания Шабаня.

Полковник, смеючись, повел их в свою конюшню. Лошадей вывели. Шабань не мог решиться: он восхищался каждою.

Полковник начал рассказывать, каким образом и откуда ему достались лошади; одна из них была подарена ему Платовым.

Лишь только услышал Шабань имя Платова, он в ту же минуту побежал к лошади и сказал Глинскому: «Объяви, что выбор сделан, спроси, сколько угодно полковнику за эту?»

Лошадь стоила 2000 руб. Шабань не знал что отвечать с радости. Он удивлялся, каким образом можно было подарок Платова отдавать за такую безделку.

Лошадь попробовали. Казак на попонке, с нагайкою в руке, заставил ее повторить все искусство, которому она выучилась в казацкой школе. Шабань был в восторге от приобретения и отправился с покупкою домой. Ему нетерпеливо хотелось поехать самому, но как он не умел сидеть на казацком седле, то надо было пригонять новое по лошади, а потому, покоряясь необходимости, Шабань отложил свои радости до завтра. Оба приятеля отправились по Парижу; Глинский восхищался чудесами его и кончил вечер в театре; у Шабаня было одно в голове: при каждой хорошей сцене, при каждом прыжке ловкой танцовщицы он восклицал одно: «Ах, какая чудная лошадь!..»

ГЛАВА IV

На другое утро старый маркиз явился к Глинскому и объявил, что жена с дочерью желают с ним познакомиться: «Теперь вам будет веселее, у нас без женщин в доме и скучно и пусто. Теперь вы увидите наш beau monde¹, наших красавиц. Я вас прошу только об одной осторожности: муж моей дочери убит под Дрезденом, избегайте случая говорить об этом деле и упоминать даже имя этого города».

Он взял за руку Глинского и пошел с ним наверх. В гостиной комнате сидели две дамы: одна лет пятидесяти, еще приятной наружности женщина, другая молодая в черном платье, и когда маркиз представил его, он ловко сказал приветствие матери, извинялся, что военные обстоятельства привели его к необходимости беспокоить их постоем, и уверял, что постарается своим поведением разуверить их в предубеждении,

¹ высший свет (*фр.* — *Soc. s.*).

которое вообще все французы имели против русских. Молодой человек обратился к дочери, и когда она подняла на него свои большие глаза, взгляд которых из-под длинных шелковых ресниц, казалось, проникал в самую глубину души, когда он увидел себя перед подлинником портрета, по которому он так хотел узнать ее, краска вступила ему в лицо. Это не могло придать ему ловкости, — однако мужчина, который теряется от глаз прекрасной женщины, не теряет ничего в этих глазах, и потому молодая графиня приветливо выслушала его немногие слова, легкий румянец также пробежал по ее милому лицу — и первое и самое трудное в знакомстве было сделано.

Старый маркиз своею веселостью скоро поставил Глинского и свое семейство на такую ногу, что с первого свидания, при котором обыкновенно соблюдается весь этикет, взаимная откровенность установилась. Приветливость маркизы, непринужденное обращение графини, образованность и хороший тон юноши, любопытство с одной стороны, ясный и приятный рассказ с другой, скоро положили основанием доверенности и оправдали похвалы маркиза, которыми он превозносил своего молодого друга. Чтобы ознакомить Глинского со всем семейством, принесли маленькую дочку графини. Это была прелестная двухлетняя девочка, совершенно похожая на свою мать.

«Saluez m. Glinsky, Gabrielle»¹, — сказала бабушка, и милое дитя без застенчивости протянула обе ручонки к гостю, который, услышав ее имя, с ласкою взял ее на руки. «Vive Henri IV et la charmante Gabrielle»², — сказал он, приподняв малютку.

Живой Глинский сказал это без размышления: слава Генриха IV неразлучна была в его памяти со славою Габриели, равно как имя сей последней почти всегда приходило в голову с именем Генриха. Графиня покраснела, опустила глаза. Для матери казалось неприятным такое сочетание имен, но маркиз и маркиза имели другие понятия: что для новейшего поколения французов начало казаться предсудительным во всяком человеке, то для снисходительного права людей старого века, и по привязанности их к великому государю, не только извинялось в короле, но даже считалось славою в его любовнице.

Маркиз не заметил ни краски графини, ни смущения Глинского, который в ту же минуту почувствовал неловкость

¹ Поздоровайся с г. Глинским, Габриель (*фр.— Сост.*).

² Да здравствует Генрих IV и прекрасная Габриель (*фр.— Сост.*).

своих слов и повинным взором просил извинения у графини. «Прекрасно! — воскликнул маркиз, — нельзя приличнее сказать в нашем положении и в отношении к целой Франции, и в отношении к нашему семейству».

— Стало быть, вы знаете, кто была *charmante Gabrielle*, — спросила маркиза, удивляясь.

Глинский, одобренный взором графини, в котором не осталось даже следа неудовольствия, усмехнулся. «Сударыня, — отвечал он, — в самом детстве моем, когда учился еще лепетать по-французски, я знал наизусть половину Геяриады. После история великой нации сделалась мне столь же известна, как и моего отечества».

Любопытство есть сильная пружина, действующая на женское воображение. Маркиза, со всею словоохотливостью старой француженки, ожидавшая увидеть русского как редкость, на которую надо смотреть издали, обманутая совершенно в своих ожиданиях, не переставала спрашивать и не знала меры удивлению. Любопытство ее было пробуждено; оно служило ей, так сказать, микроскопом, в котором видела все неожиданные качества молодого человека в увеличенном виде.

Графиня, с своей стороны довольствовалась, слушая расспросы матери и сопровождая улыбкой каждый умный или острый ответ Глинского. Она мало принимала участия в разговоре. Небольшой оттенок задумчивости был виден на ее прекрасном лице.

Вскоре начали съезжаться гости к обеду, который давал маркиз для приезда своего семейства. Он рекомендовал всем своего юного постояльца.

Энтузиазм, внушаемый императором Александром, необыкновенные события и желания узнать ближе варваров Севера, бывших причиною сих событий, все это доходило до неистовства между французами. Они не могли опомниться от удивления, глядя на русских, которых представляли бородачатыми чудовищами и видя их людьми, которые были столь же учтивыми и вежливыми, как и они, часто красивее и молодеватее их щеголей и большею частию образованнее, нежели сии последние.

Толпа в зале волновалась, все добивались поговорить с прекрасным варваром, сделать ему какой-нибудь вопрос и когда один оттеснял другого, этот отступал, чтобы толковать по своему полученный ответ; во всех концах залы раздавалось: «Как он красив! Какие волосы!» и проч. Одним словом, он был чудом, диковинкою этого дня.

Посреди всех восклицаний явился Шабань с сияющим ли-

цом. Раскланявшись на все стороны, подошел к тетке и кузине, сказав по комплименту дамам, он объявил о своем приобретении прекрасной казацкой лошади, принадлежавшей Платову; расхвалил ее фигуру, стать, огонь, и прибавив, что велел привести ее на двор, просил всех посмотреть его покупку.

Все мужчины бросились на двор, дамы вышли на балкон, лошадь подвели к крыльцу. Шабань вскочил в седло; все дивились лошади. В самом деле, небольшая, хорошенькая вороная лошадка была очень красива: огнем сверкали глаза, огнем раздувались ноздри и, казалось, огонь же пробегал по всем гибким и проворным членам. Она фыркала, прыдала ушами, скребла копытом и, казалось, ожидала только позволения исчезнуть с седоком из глаз; всего более хвост ее удивлял французов, спускаясь густоширокою трубою до самой земли.

Глинский заметил Шабаню, что лошадь оседлана дурно: английское седло было так подпружено, что Шабань сидел, поджав ноги, с длинными поводьями почти на самом заду лошади. «Это ничего», — отвечал с уверенностью Шабань, и когда маленькая Габриель в руках у няньки, сбежавшей также вниз полюбоваться лошадию, протянула к нему ручки, Шабань не задумался, взял ее к себе и хотел пуститься с нею кругом двора. «Воля твоя, — сказал Глинский, — я не дам малютки. Я вижу, что седло сейчас свернется; позволь человеку переседлать, а без того не советую ездить на этой горячей скотине».

С сими словами он взял заплакавшую Габриель, а Шабань со смехом и уверениями попросил толпу раздаться, дал шпоры и пустился вокруг большого двора.

Несколько прыжков было сделано с отменным успехом, но худо помещенное седло сейчас съехало еще более назад, и когда щекотливая лошадь брыкнула раза два, оно повернулось при первом повороте, и Шабань полетел кверху ногами. Все дамы вскрикнули, между мужчинами начался хохот. Глинский прибежал к Шабаню, поднял его и с заботливостью спрашивал: не ушибся ли? Но Шабань смеялся своему приключению. Между тем поймали лошадь; слуга Глинского оседлал ее как надобно и подвел опять к крыльцу; «это бешеная лошадь», — кричали со всех сторон, «на нее нельзя садиться; она не выезжена; это дикая лошадь», сказал Шабань, потирая ушибленную ногу.

— Нет, Шабань, она не дикая, — отвечал Глинский, — я ездил на ней походом, когда моя была убита, и вы увидите, как она послушна, ежели хорошо оседлана. — Он вскочил

на лошадь, взял из рук слуги нагайку и, ударив по обеим бокам, поскакал как молния; лошадь повиновалась каждому желанию всадника, танцевала на задних ногах, поворачивалась на них, перепрыгнула несколько раз чрез стоящую на дворе бочку и остановилась как вкопанная со всего скаку перед крыльцом.

Обед был готов, толпа потянулась вверх, одобрение Глинскому и насмешки Шабаню слышались во дворе, на лестнице и во всех этажах. Это, однако же, не помешало ему отвечать остротами, смеяться самому, сесть снова на лошадь и скакать как бешеному, в отместку за первую неудачу.

Когда Глинский вошел в залу, он увидел, что испуганная графиня де Серваль держала на руках свою малютку, осыпала ее поцелуями и повторяла слова: «Шабань, Шабань, что ты хотел сделать с моею Габриелью, что ты хотел сделать? Ты бы убил ее, ты убил бы меня!» Она так была напугана воображаемым несчастьем дочери, что прижимала ее к груди и не хотела отдать, как будто опасаясь, чтоб Шабань не поскакал опять с нею. Наконец, все успокоились... Маркиз пригласил к столу, повели дам, Глинский подал руку графине. «Г. Глинский, — сказала она вполголоса, — я не могу изъяснить всей благодарности за вашу предусмотрительность. Когда я увидела, что Шабань упал, то так испугалась, как будто Габриель в эту минуту сидела у него, воображив, что это могло случиться в самом деле, и что, конечно бы, случилось, ежели бы не вы...»

— Это бы сделал всякий, графиня!..

— Да! а никто не сделал!..

Глинский сел между графиней и девушкою Клодиной де Фонсек, двоюродною сестрою покойного графа де Серваль, привлекательною 16-летнею брюнеткою, с огненными черными глазами и греческим носиком. Эта живая и резвая парижанка осыпала Глинского шутками и вопросами. Эмилия говорила мало и спрашивала только изредка, ежели ветреная кухня пропускала какие-нибудь подробности о земле и обычаях русских, о чем наиболее они любопытствовали. Глинский не уступал наступчивой де Фонсек ни шагу, веселость и острота с обеих сторон часто развлекали важнейшие разговоры других собеседников. Молодость живет настоящею минутою, ей мало надобности до того, что ее окружает, и политические споры других гостей чужды были для слуха Глинского и вертлявой де Фонсек. Все, что ловкость молодого человека могла высказать, и занимательная игривость милой девушки вызвать, — все было переговорено; малютка

де Фонсек краснела от удовольствия, когда Глинский повторял ей что-нибудь лестное. Она была совершенно довольна своим соседом, тогда как он, при всем желании сказать что-нибудь приятное и графине Эмили, противу воли чувствовал, что не может быть так любезен с нею, как с ее кузиною; какое-то почтение, какой-то страх связывали язык, хотя ни разговор, ни выражение, ни даже лицо графини не показывали никакой строгости или суровости, обыкновенно отдаляющих от себя откровенность и веселость. Ему казалось, что это его чувствование проистекало от ее положения, он думал, что уважает ее горести и вместо разговора с нею смелее засматривался на ее прекрасный профиль; но и тут неутомная де Фонсек не давала ему покоя, не оставляла пяти секунд свободы, чтобы следовать влечению своего сердца.

Наконец разговор сделался общим; маркиза спросила Глинского об обращении и о тоне в обществах петербургских.

— Тон лучшего общества точно как и здесь, в Париже: чем оно образованнее, тем проще, вежливее и любезнее, — сказал он с уклонкою головы, — напротив того, чем кругсловия ниже, тем больше церемоний, в соблюдении которых полагается учтивость, тем больше разговор становится затруднителен. Думаю, что это и здесь так же, хотя я еще не имел случая испытать этого. Что же касается до хорошего обращения с друзьями, то везде равно: оно везде зависит от характера и степени образованности. — Говоря последние слова, он обратился к Шабаню, как будто ожидая подтверждения сказанного. Шабань послал ему поцелуй рукою.

Французы, как народ живой, присвоивают себе право говорить вслух мысли, внушаемые им первыми впечатлениями и потому немудрено, что до ушей Глинского доходили похвалы и рассуждения о его особе. «Как он вежлив», — говорил один, «он отвечал как надобно», — повторял другой. «C'est étonnant! — восклицал третий, — ces Russes sont a peu près comme nous autres»¹. «Эти русские так же хороши, как наши поляки», — говорили дамы и вслед за тем сыпались новые вопросы.

— Скажите, г. Глинский, — спросила бойкая де Фонсек, — каким образом вы, русские, здороваетесь со знакомыми вам дамами?

— Если вы непременно хотите это узнать, виконтесса, то позвольте мне с вами поздороваться по-русски?

¹ Это удивительно! эти русские почти такие же, как мы (фр.— Сост.).

Де Фонсек остановила на Глинском свои большие глаза с недоумением.

«Согласитесь, mademoiselle! доставьте всем это удовольствие», — кричали со всех сторон мужчины и женщины. Она, затуманившись, опустила глаза.

— Я не знаю, как отвечают русские дамы...

— Я скажу вам, но с условием, чтобы вы так отвечали?

Малютка не знала, что говорить. Глинский сжалился и рассказал, каким образом мужчина, подходя к женщине, целует руку, и что она отвечает поцелуем в щеку.

Все дамы общим судом приговорили, что де Фонсек должна после обеда поздороваться с Глинским, что всем им любопытно видеть опыт этого и, как она вызвалась сама, то обязана доставить всем это удовольствие; Глинский должен был отвечать на многие вопросы: как веселятся в России, есть ли какая-нибудь зелень около Петербурга, есть ли у русских воскресенья и тому подобное; когда же маркиз рассказал анекдот de charmante Gabrielle, то ему надо было выдержать целый экзамен во французской литературе.

Когда кончился обед, де Фонсек должна была выполнить требование всего общества, и потом едва не со слезами спряталась за свою кузину.

После этого общество разошлось по разным комнатам, многие вышли на балкон. Мы сказали уже, что дом маркиза был в улице Бурбон, и что задняя его сторона была обращена к реке, балконы были с обеих сторон; с этого видна была Сена, все ее мосты, Тюльери, а чрез сад в промежутке высоких деревьев открывалась колонна Наполеонова на Вандомской площади. В дальности на вечернем небе этот монумент слабо рисовался синеватым светом. Статуя Наполеона на этой высоте казалась удивленным взорам наклоненною, от ее головы виднелось множество протянутых в одну сторону веревок, казавшихся нитями, которые волновались, напрягались и ослабевали беспрестанно. По всем улицам народ бежал и теснился в одном направлении, к площади Вандом.

Эмилия, которая не была около двух недель в Париже, удивилась при взгляде на это явление. «Что это значит, — спрашивала она околостоящих, — не обманывают ли меня глаза, мне кажется, что статуя Наполеона валится, что такое делают этими веревками?»

Ей объяснили, что временное правительство, уступая желаниям народа, решилось святить статую и теперь надлежащим порядком приступило к этому действию.

— Но скажите, ради бога, — спросил Глинский, — не это

ли же правительство поставило караул подле колонны, и не оно ли в своем декрете, вследствие покушений на эту колонну и другие императорские памятники, запретило даже всякое обидное выражение насчет прошедшего правительства, потому что, говорило оно, дело всего отечества слишком возвышенно, чтобы действовать теми средствами, которые дозволяла себе чернь.

— Да, это совершенно справедливо, — сказал один из гостей, — но несколько дней тому назад император Александр, ехавший мимо колонны, изволил сказать, что у него закружилась бы голова на такой высоте, а потому, может быть, сочли нужным и согласно с желанием народа...

Слезы навернулись на глазах Эмилии. Глинский не мог вынести, он выбежал в залу и с жаром сказал: «Французы не знают сами, что делают. Это неблагодарно, это неблагородно, это несправедливо, так-то они платят великому человеку». С этими словами он хотел бежать к себе, но Дюбуа, не говоривший вовсе это время ни слова, остановил его, схватил с чувством у него руку. «Вы примиряете меня с русскими!» — сказал он... И когда Глинский сошел вниз в свои комнаты, Дюбуа явился за ним следом.

— Я пришел у вас просить извинения, — сказал он удивленному сим посещением Глинскому, — за первую нашу встречу, где я позволил рассудку увлечься сердцем. Вы примирили меня с русскими. Несчастья отечества дали мрачное направление моему характеру; я ищу везде оправдания Наполеону, и потому обвиняю целый свет; но, со всем тем, это не мешает мне видеть своей несправедливости, и если я не имею никаких особенных добродетелей, ни качеств, то могу похвалиться одним достоинством: признаваться в своих ошибках и не стыдиться извинения, может быть, для этого надобно иметь также характер, и если я его имею, то тем обязан сорокалетнему наблюдению за самим собою.

Глинский с жаром подал ему руку. Странное объяснение расположило его в пользу этого человека. «Я тем более вас уважаю, — сказал он, — сколько я ни мало опытен, однако, успел заметить, что недостаток самосознания бывает причиною большей половины несчастий человечества», — и они растались, довольные друг другом.

Сверх родства, связывавшего со времени замужества Эмилии маленькую де Фонсек с домом маркиза, она с самого младенчества была там как родная, и графиня не знала в ней души; можно сказать, что она воспитала ее; старая бабушка, у которой жила де Фонсек, не могла по старости заняться

ее образованием, а если Клодина не совсем жила в доме маркиза, то потому только, что бабушка не решалась вовсе расстаться с нею. Клодина любила графиню как мать, как сестру, как друга, сколько разность лет в последнем случае позволяла ей пользоваться дружбою графини. Все ее малейшие помышления передавала она с детскою откровенностию Эмили, будучи уверена, что каждое желание, даже каждая прихоть ее будет исполнена. Графиня, можно сказать, баловала ее, радовалась доверенности своей воспитанницы и не могла отказывать в ее невинных прихотях.

Вечеру Эмилия была в своем кабинете; де Фонсек с нею, обе сидели на большом турецком диване и молчали. Видно было, что каждая из них занята своими мыслями. Клодина несколько раз подымала свою греческую головку и смотрела на графиню, но видя, что та в задумчивости не обращала на нее внимания, со вздохом опускала пылающую щеку на руку и продолжала молчать. Наконец, ей надоело это положение, — она взяла за руку Эмилию и сказала: «Ты очень печальна сегодня, та *cousine*». — «Друг мой! ты знаешь мое положение: могу ли быть веселою, потеряв мужа, которого так любила; сверх того сердце мое невольно участвует в политических обстоятельствах моего отечества. Муж мой был участником славы Франции — и русские в Париже, мы побеждены — и французы радуются своему унижению! Наполеон возвысил Францию из праха, создал ее величие из хаоса, и что делают неблагодарные парижане, когда он в несчастии! Ты еще не постигаешь этих чувств, Клодина, ты во всем видишь только забаву и развлечение».

Де Фонсек опустила глаза. «Но чем же русские виноваты, сестрица? Это необходимое следствие войны. Наполеон был в Москве; Александр пришел в Париж: они поквитались между собою. Если это беспокоит французов, пусть они сделают так же, как русские».

— Ты заступаешься за русских!..

— А ты на них нападаешь!..

В эту минуту нянька принесла маленькую Габриель проститься с матерью. Эмилия взяла на руки дочь, поцеловала, прижала к груди и, отдавая няньке, сказала: «Бедная Габриель, тебя не было бы сегодня на свете, если бы добрый человек не спас тебя».

При сих словах де Фонсек быстро обернулась к графине, хотела что-то сказать, но остановилась, пока не ушла няня, и потом сказала:

— Ах, какой он добрый! ведь он тоже русский,

мне он очень нравится, сестрица,— сказала она, помолчав.

Графиня не отвечала ни слова.

— Мне кажется, он очень хорош собою?..

Графиня не отвечала ни слова.

— *Savez vous qu'il est très comme il faut!*

Казалось, графиня не слышала, что ей говорила де Фонсек, видя, что Эмилия не отвечает, наклонилась к ней и начала играть ее волосами, потом вдруг обняла, поцеловала с жаром, и две слезки выкатились из ее глаз на щеки Эмилии.— Мне он очень нравится,— повторила она.

Графиня как-будто пробудилась, будто впервые поняла, что ей говорила интересная малютка.

Де Фонсек сама испугалась своего признания, прижалась к Эмилии и продолжала целовать ее шею и руки, как дитя, которое хочет умиловать свою маменьку.

— Это ребячество, Клодина,— начала Эмилия,— увидеть человека в первый раз и думать, что любишь его; ты дитя, он тебе нравится, как новая игрушка. Такой любви не бывает, Клодина, эта существует только в романах, это выдумки праздного воображения, поверь мне, я любила и знаю любовь; она никогда так не приходит... Но чего же ты хочешь?..

— Не знаю,— сказала Клодина из-за плеча Эмилии,— я только чувствую,— прибавила она потихоньку,— что он мне очень нравится.

— Бедное дитя!— сказала тронутая Эмилия, лаская Клодину,— тебе он очень нравится? но что же из этого выйдет? Он русский... чрез месяц его не будет; еще несколько недель разделят его с твоим отечеством неизмеримым пространством. Его обычаи совершенно противны нашим; бедная холодная земля его не похожа на нашу прекрасную Францию. Нет, нет, Клодина! выкинь из головы этот вздор. Я не могу и думать, чтоб это когда-нибудь случилось...

— Что ж бы такое случилось, сестрица?..

Эмилия опомнилась и увидела, что несмотря на противуречие, собственное воображение завело ее далее признания Клодины; она испугалась и остановилась.

— ...Ничего, *mon enfant!*— я хотела сказать, что не верю этой пылкости,— я смеюсь над нею... очень смешно позволять воображению действовать против благоразумия,— я уверена,

¹ Знаете, ведь он очень хорошо воспитанный человек (*фр.— Сост.*).

² дитя (*фр.— Сост.*).

что если ты разрешишь хорошенько свои чувства, то найдешь их не согласными с твоим рассудком.

— Ах! сестрица, это правда!— знаешь ли, мне стыдно сказать, что давеча, вместо того, чтоб рассердиться, мне было очень приятно, когда Глинский поцеловал мою руку!

Графиня засмеялась неожиданному обороту, какой дала Клодина всем ее увещаниям, перестала говорить и задумалась. Потом в рассеянии приподняла головку Клодины за подбородок и, смотря на нее с удовольствием, сказала как бы себе самой: «Как она мила, он также недурен!— если б он не русский! какая бы милая парочка!»

Клодина вскочила, начала целовать руки Эмилии, обнимала, смеялась, плакала, стащила ее с дивана, хотела вертеться с нею, насилу унялась и потом, очень довольная собою и графинею, играючи, она встала на колени перед сидящею Эмилией, взяла ее за руки и смотрела на нее с восхищением.

— Ах, как ты хороша, сестрица,— сказала она, следя блуждавшие задумчиво взоры Эмилии,— какие у тебя глаза, как ты обольстительно ими смотришь! твое лицо совсем не похоже на наши; у тебя такое выражение, такая прелесть разлита в чертах, что мне все кажется, будто ты больше идеал, нежели действительность между нами! Если б я была мужчиною, сестрица, я бы обожала тебя!— я не обвиняю наших молодых людей, когда они при тебе оставляют меня без всякого внимания... Ах! Боже мой,— вскрикнула она, закрыв лицо руками, как будто нечаянная мысль представилась ее воображению.

— Что с тобой сделалось?— спросила графиня.

— Ведь Глинский также мужчина; он будет видеть тебя беспрестанно! нельзя тебя не полюбить! Он полюбит тебя непременно! дай мне слово, что ты не позволишь ему любить себя?..

Графиня покраснела.

— Боже мой! какой ты вздор лепечешь,— сказала она.— Успокойся, Клодина! полюбить можно только того, кто любит сам... а я, ты знаешь мое отречение от самой себя, мое намерение не выходить замуж; ты знаешь, что я посвятила свою жизнь воспитанию Габриели. Ты видела, как я принимала всегда и как принимаю внимание молодых людей. Знаешь ли, что если бы я могла думать в моем положении, если б я расположена была выйти замуж — не по любви, но по рассудку, один только человек мог бы быть моим мужем?..

— Кто же этот феникс, сестрица?..

— Дюбуа!..

— Этот угрюмый старик, который не глядит на женщин?— ты шутишь, Эмилия!..

— Для этого я и говорю тебе это, милая Клодина, чтоб показать, как мало думаю о замужестве, что же до Дюбуа, он был друг моего мужа. Между им и тобою разница ужасная в годах, которая увеличивается еще и тем, что ты его не понимаешь. Тебе надобна молодость — я смотрю на душевные качества,— тебе не нравится, что он ни на кого не глядит, я это в нем уважаю, вот мой образ мыслей о супружестве; я не верю сантиментальности, не верю страсти, которая вспыхивает от взгляда на красивое личико, от ласкового слова, от учтвого ответа, не верю мужчинам, которые говорят о любви, и никому не подам повода любить себя.

— Ах! Эмилия! если б и Глинский также думал; со всем тем я тебе верю. Мне кажется, ты все можешь, что хочешь, скажи мне, однако ж, неужели ты в самом деле не намерена никогда быть замужем?..

— В самом деле. Тебе известно, что я объявила об этом публично, чтобы избавиться настоящих и будущих искателей.

— Но неужели ты хочешь быть так хороша для самой только себя? Мне кажется, быть красавицей только для этого очень скучно?

Эмилия засмеялась, отвечала шуткой, и резвая де Фонсек, осыпав ее тысячею комплиментов, тысячею поцелуев, уехала к бабушке мечтать о русском офицере.

Эмилия осталась одна и рассуждала о своем разговоре с Клодиною. Это ребячество, говорила она: 16-летняя девушка думает, что любит человека, который приятно взглянул ей в глаза и которого видит первый раз в жизни, хорошо, что она сказала мне; я могу посмотреть за этим хладнокровно, а то, пожалуй, прихоть девочки от воображения также заставит ее страдать, как бы и от сердечной склонности. Однако, если б не жестокая зима в его варварском отечестве! если б он не русский?— но как я странна! все еще предубеждение мое сильно. Разве я не вижу теперь своими глазами, что русские не варвары. Этот Глинский образован, оригинален, его свободная ловкость нравится мне более изнеженных ухваток наших молодых людей, военная служба придала ему какое-то достоинство в обращении, но он очень молод, только 20 лет, против меня он дитя, а мне еще 22 года, но зато Клодине 16 лет; я бы желала счастье этому ребенку, желала бы ей такого мужа, как мой Серваль; как бы их соединение было для меня приятно!— Что, ежели я постараюсь об этом?— я непременно хочу этого!— Графиня легла спать, мечтая

о том, что она будет причиною счастья молодых людей, по обещала себе не торопиться исполнением этого желания, обещала действовать с рассудком, чтобы это не походило на роман, хотела короче узнать достоинство, род, состояние молодого человека, а между тем вероломное воображение беспрестанно представляло ей уже готовую картину соединения Клодины и Глинского. Долго думала она о взаимном их счастье, потом о каждом из них порознь, потом о Беранже, о Габриели, пока все эти лица слились в одно какое-то несвязное существо, которое принимало на себя все виды и формы, и, наконец, проясняясь, превратилось в образ Глинского на руках с Габриелью — и так уснула.

Графиня была странная женщина: с необыкновенной красотой, с какою-то неизъяснимою приманчивостью она соединяла внешнюю холодность в словах и образе мыслей. Она не верила пылкой страсти; смеялась над наружным ее изъяснением, и не прощала себе, ежели что-либо из ее внутренних ощущений выходило наружу. Выданная 18 лет за графа де Серваля, умного, красивого, но также холодного по наружности человека, она полюбила его в замужестве, приняла по привязанности его правила, и думала, что в свете не может существовать другой любви и в других формах, кроме той, которая связала ее с мужем. Несмотря, однако же, на все самоуверения, пылкое сердце изменяло ей беспрестанно; самое даже уважение и принятие правил мужа было следствием энтузиазма, возбужденного благородством его души и поступков, а где действует энтузиазм, там холодный рассудок мало имеет участия — и доказательством тому служило заключение графини, по которому она принимала наружную холодность за основу характера ее мужа. Она думала, что довольно мыслить так, чтоб чувствовать не иначе — и действительно, пока обстоятельства жизни не выходили из обыкновенного ряда происшествий, она действовала согласно с мыслями, но как скоро судьба становила препятствие, или случай бросал под ноги нечаянное приключение, слова графини были в разладе с сердцем; она не переставала повторять свое и удивлялась, почему в сердце отзывалось совсем другое. Даже при всем старании сохранить внешность своей философии, прекрасное и выразительное лицо часто изменяло впечатлениям душевным, одним словом, графиня была милая оригинальная смесь холодных парадоксов, в которые набожно сама она верила, с живым противоречием физиономии, смесь странных мыслей с прекрасными поступками.

А что делал Глинский в это время? он также думал о рез-

вой де Фонсек, о Габриели, о графине. Ему приятно было выдержать дебют: в присутствии парижских дам блеснуть умом, уметь жить, и если в наше время нет рыцарских турниров, где царица карусели надевает венки на победителя, то наши гостинные представляют также поприще, где красота венчает ловкость, ум и любезность. Поцелуй де Фонсек был им получен по общему приговору как цена, как награда сегодняшнего отличия. Он видел внимание милой прекрасной девушки: это льстило его самолюбию; он припоминал ее черты, правильный носик, глаза, которых огненное выражение смягчалось при взгляде на него; эту невинную резвость юности, живой цвет щек и живость ответов при его вопросах. Все это приносило ему удовольствие, но при мысли о графине, при ее образе, который, так сказать, каждую минуту рассекал надвое призрак юной брюнетки, сердце его билось, он невольно останавливал на Эмилии взоры своего воображения и забывал похвалы, брюнетку и поцелуй, ею данный. Графиня мало с ним говорила, но каждое слово ее отзывалось в его слухе как гармония, проникавшая до его сердца. Казалось, что все его внимание обращено было за обедом на то, чтоб отвечать де Фонсек, но по какому-то непонятному внушению он не пропускал без замечания ни одного движения графини. Ее благодарность за дочь, выговоренная голосом, который заставил биться пульсы во всех жилах, казалась ему милее всех поцелуев в свете. Еще несколько времени чувствования, возрожденные суетностию, занимали его голову, но мало-помалу общество, обед, даже де Фонсек исчезли, и Глинский, полураздетый, сидя на постели со сложенными руками, с биением сердца, следил каждое движение мечты, представлявшей ему Эмилию с Габриелью на руках.

ГЛАВА V

Глинский проснулся поздно и проснулся с мыслию о вчерашнем. Посещение Дюбуа пришло ему в голову после перебора всех происшествий. Как рад был он, что человек, которого почти против воли уважал, так нечаянно сблизился с ним. Желая поскорее воспользоваться этим расположением Дюбуа, он поторопился одеться и отправился к нему — отплатить за визит.

Дюбуа сидел за рисованьем. Это удивило Глинского. Он бросил быстрый взгляд кругом комнаты, которая походила более на кабинет ученого, нежели на жилище военного че-

ловека, и хотя в ней не было беспорядка, неразлучного с привычкою ученых людей, но странная смесь предметов, ее наполнявших, поражала внимание. На стенах было несколько полок с книгами разных форматов и разных эпох, в бумажках, коже и пергамене; рукописи в тетрадях и свитках виднелись между ними. Древние и новые оружия, принадлежащие различным народам, развешаны были по стенам с географическими и топографическими картами и несколькими редкими картинами. Один шкаф занят был физическими инструментами, другой посвящен был редкостям естественной истории, в одном углу стоял скелет, на котором висели плащ и шляпа хозяина, в другом живописный манекен, а между шкафами помещено было несколько бюстов Наполеона в разных видах и возрастах.

Глинский сел возле Дюбуа и восхищался работою начатого рисунка; это была большая миниатюра, представляющая Надежду, которая, утешая удрученную печалью женщину, указывала одною рукою на заходящее солнце, а другою на восток. Все это было только набросано, но расположение и полуотделанная головка Надежды было превосходно.

— Вы художник, Дюбуа! — вскричал с восторгом Глинский.

— Нет, я могу только льститься, что понимаю искусство других, и знаю, что не могу сам сделаться художником. Это не так легко достается, как вы думаете, и при моих занятиях мне надобно три жизни, чтоб достигнуть того, что я понимаю под именем искусства. Миниатюра есть игрушка, которою я забавляюсь в свободные часы, а искусство не терпит игрушек.

— Но эта игрушка превосходит многие важные работы настоящих артистов. Или вы слишком скромны, или я имею о художестве другие понятия, нежели вы.

— Когда мы познакомимся короче, и если вы любите искусство, вы узнаете мое мнение об этом. Теперь вам скажу только, что я с юности назначен был для живописи: учился, с пламенной душою искал разгадки для тайны искусства, и чем более приобретал понятий, тем более они приводили меня к отчаянию. Наконец, я устал подобно Сизифу катать на гору камень. В груди моей заговорило новое чувство: я вступил в военную службу и бросил искусство. С тех пор оно сделалось для меня только отдохновением.

— Не могу спорить с вами за вас же самих, но, кажется, с вашим чувством изящного стоило бы заняться им исключительно. Чем глубже копаешь колодезь, тем вода чище. Я со-

гласен с одним только, что это не может быть вашим постоянным занятием, — продолжал Глинский, обращая взоры кругом комнаты, — ваш кабинет дышит универсальностью.

— Не обманывайтесь в первых заключениях: все это ни что другое, как только небольшое усилие, чтоб только не отстать от просвещения своего времени. Но оставим это. Скажите, не намерены ли вы посетить Музей Наполеонов? В таком случае, я прошу позволения быть вашим провожатым, и хотя мне дня два не свободно, однако, мы поспешим осмотреть все чудеса искусства, там собранные, потому что поговаривают, будто победители наши намерены отобрать от нас все памятники славы нашей, купленные кровью.

— Этого быть не может! — вскричал Глинский, — Александр публично объявил, что он не тронет никакого трофея французов.

— Александр? — станется. Но разве он один? разве он не пришел с другими, которые из нашей груди готовы вытянуть даже воздух, чем мы дышим? разве они не будут мстить за победы, над ними одержанные? разве им не больно смотреть на плоды побед, сорванные на их земле торжествующею рукою?.. Александр достойный нас неприятель, — но эти союзники вероломные...

Разговор продолжался о Музее. Дюбуа рассказал, что он очень дружен с Деноном, директором Музея, и часто бывает там, копируя в свободное время картины лучших мастеров. Он условился с Глинским, когда посетить этот великолепный памятник искусствам, воздвигнутый Наполеоном, и оба отправились к завтраку, после которого Глинский едва только возвратился домой, как встретил слугу в ливрее графини. Он от ее имени просил у него позволения ходить маленькой Габриели с нянькою в сад чрез его комнаты, потому что единственный туда ход был из его залы. В одну минуту это было разрешено, в другую малютка явилась в саду. Как сделалась она любезна Глинскому! всякий день он угощал свою гостью; покупал ей игрушки; играл сам с нею — и признательная Габриель любила его больше всех в доме.

Любезный нрав Глинского, живость, забавный рассказ того, что он видел; благородный образ мыслей и обращения чрез несколько дней снискали ему всеобщую любовь. Маркиза полюбила его как сына и объявила на то права свои; его непритворная веселость и резвость, столь приличная юности, не выходявшая никогда из пределов, часто увлекала за собою все семейство; даже важная Эмилия оставляла свой серьезный вид и принимала участие в забавах и смехе общества. Ма-

ленькая де Фонсек, приезжавшая каждый день, сначала прыгала, вертелась и потом задумчиво опускала свой носик, ежели Глинский вместо того, чтоб отвечать ей, заглядывался на графиню. Один только Шабань не задумывался и не засматривался, хотя и видно было, что он неравнодушен к Клодине де Фонсек. Он с жаром говорил комплименты, заставлял ее краснеть, опускать глаза и в ту же минуту с таким же жаром продолжал разговор о своих лошадях, или параде для австрийского императора, где Глинский так красиво шел перед взводом и салютовал, и, наконец, о ежедневных новостях. Эти французы имеют дар и любить даже особенным от других образом; и Шабань несмотря на свое повесничество или, лучше сказать, именно потому, что он был повеса, был любезнейшим человеком.

Дня через четыре после того, как Габриель начала ходить в сад и пользоваться весеннею погодой, Глинский, проводя ее туда чрез свои комнаты, остался дома и вздумал пройтись по саду, уже тогда, как малютка, нагулявшись, ушла. Ходя взад и вперед по дорожкам, он нечаянно взглянул на следы, вытопанные на свежесушанном песке, и удивился, что кроме тяжелых ступней, глубоко отпечатанных по бокам дорожки, рядом с детскими следками легкое впечатление женского башмачка постоянно направлялось посредине всей аллеи. Частые следы малютки шли с правой стороны и на том месте, где оканчивалась дорожка, видно было, что дитя делало круг около последнего поворота женской ступни: это значило, что Габриель держалась за руку той особы, которой принадлежал такой маленький узенький и едва обозначавшийся на песке башмачок. Но кому принадлежал он? — те же следы были по всем дорожкам — и наконец, одна, без детских, у мраморной скамейки в углублении аллеи, показывали, что владетельница этого башмачка тут сидела, в то время как глубоко стиснутые следы подле купидона Кановы, стоявшего против скамейки, толклись во всех направлениях. Это была женская же ступня; но широкая и толстопятая подошва ясно вдавлена была со всеми ее углублениями — несомненно тут ходила нянька, увесистая нормандка, с Габриелью на руках и показывала ей статую купидона. Но кто же была эта другая? — как она попала в сад? в его двери она пройти не могла; другой выход был на набережную и никогда не отворялся, кроме садовничьих надобностей — Глинский терялся в догадках; эти соображения запутали его: потупя глаза, он ходил везде за миниатюрным следком, любовался им, и когда его позвали к завтраку, то первый взгляд на графинин баш-

мачок разрешил его сомнения. Это она была с дочерью! но, может быть, она не придет опять?— думал он. Графиня не говорила ничего о своей прогулке; Глинский не смел спросить, но положил подстеречь ее завтра. Прошел день. Долго тянулся вечер, ночь и утро; наконец, пришла Габриель, и чрез четверть часа, к удивлению Глинского, явилась там и графиня. В первом движении радости выбежал он туда же. Эмилия была в утреннем платье; Глинский в первый раз видел ее в белом, и никогда она не казалось ему столь прекрасною. Он хотел спросить, откуда она пришла, но взор ее и прелесть всего существа в новом для него виде привели его в волнение. Сверх того он никогда не бывал с нею один: Габриель с нянькою бегала по другим дорожкам. Он едва выговорил обыкновенное приветствие. Быстрота его появления и мгновенное замешательство заставили покраснеть и графиню. Несколько секунд они стояли, не говоря ни слова — наконец она сказала: «Я не думала, что вы дома, г. Глинский, я полагала, что вы отправились с Шабанем...»

— А куда поехал Шабань?

— Он поехал прогуляться верхом с Клодиною.

— Очень рад, графиня, что он не взял меня, я обязан этому случаю видеть вас.

— А я думала, вы жалеете, что не поехали с моей кузиной. Вы так любите с нею резвиться.

— Да, резвиться, графиня... но... но, говорить серьезно... я так мало слышу, как вы говорите, графиня!..

— Я не хочу мешать вашим разговорам, при том же в ваши лета надобно более резвиться, нежели заниматься серьезным,— вы еще очень молоды, Глинский!..

Молодые люди вообще не любят, когда им напоминают про юность. Глинский покраснел, ему показалось, будто Эмилия хотела этим напомнить разность их лет.

— Я чувствую, графиня, что это большой порок с моей стороны, но вспомните, что я от него исправляюсь каждый день; в немногие дни бытности моей здесь, чувствую свое существование вдвое...

Эмилия не слышала последних слов, потому что спешила поправить сказанное ею; она поняла по замешательству молодого человека, как он принял ее ответ.

— ...Я никогда не думала поставить этого в вину вам, Глинский, я хотела, напротив, выразить желание, чтоб вы сохранили дольше веселое ваше расположение; придет пора и вы утратите вашу веселость.

— Неужели вы думаете, графиня, что я теперь только и

способен к шалостям и шуткам, неужели вы полагаете, что два года страшной войны не умели придать основательности рассудку и набросить тени на мои радости?..

— Что вы основательны и благоразумны, я это с удовольствием вижу из всех ваших поступков, но это не мешает пользоваться случаем веселиться.

— Я уже в полной мере пользуюсь им, графиня.

— Это комплимент, Глинский,— сказала графиня.— Вы все, мужчины, считаете обязанностью говорить непременно лестное только той, которая пред вашими глазами. Я думала, что вы не похожи на других. Скажите мне, неужели вы и в России также вели себя?

— Я едва только год жил в свете, но никогда и ни перед кем, графиня, язык мой не произносил, чего не чувствовал я в самом деле.

— Стало быть, вы чувствовали все то, что говорили Клодине?..

— Если я говорил этой прелестной девушке, что у нее живые глаза или прекрасная греческая головка, я говорил правду, а в этом сошлюсь не только на вас, зная, что вы любите Клодину де Фонсек, но даже на каждую ее завистницу.

Здесь графиня начала доказывать ему любезность, ум и остроумие де Фонсек, хвалила все ее душевные качества; Глинский молчал и каждое слово, сказанное Эмилией, применял к ней самой, набавляя собственными замечаниями к ее достоинствам. Она радовалась молчанию своего собеседника, принимая его за немое сознание в превосходстве этой милой девушки. Долго рассказывала графиня, увлеченная пристрастием к своей питомице, описывая первые годы Клодины и постепенное развитие ее характера, наконец, взглянув на Глинского, увидела, что он шел подле нее, потупив голову. Она полагала, что похвалы Клодине заставили его задуматься.

— О чем вы думаете?— спросила она его с твердою уверенностью в ответе.

— О том, графиня, как я мог сомневаться,— отвечал он, указывая на след ее,— что вы вчера гуляли в саду с Габриелью!..

Вся важность графинина расстроилась этим ответом: «Вы несносный человек, Глинский,— сказала она, смеючись,— я вижу, что мне надобно заняться вашим преобразованием также, как я это делала с Клодиною; не надобно вас оставлять без совета в товариществе Шабаня, сядем здесь,— про-

должала она, подходя к мраморной скамейке против Купидона. — Я хочу дать вам первый урок».

Ничто не могло быть любезнее предложения графини. Глинский с радостью сел подле нее и, как для урока надо было знать, чему он научился прежде, то он отвечал на вопросы о его воспитании, образе жизни, занятиях, о тех обществах, которые посещал; ему должно было рассказывать обычаи, представить картину обращения в обществе, рассказать, наконец, о войне и проч. В первый раз Эмилия говорила так много с Глинским, он отвечал ей с восхищением; рассказ его был жив, заманчив, и графиня, вместо того, чтоб давать уроки, слушала только сама. Прошел час; она полагала, что на первый раз довольно выиграла доверенности. «Мне это нужно, — думала она, — в следующие разы буду более говорить о милой кухне; он стоит, чтобы в самом деле посмотреть за ним». Она встала, откланялась Глинскому и, прежде нежели он опомнился, исчезла в кустах и исчезла неизвестно как и куда, потому что Глинский стоял против своей двери и не видал, чтоб она туда проходила.

Он обошел весь сад; осмотрел все стены и не нашел ничего; назавтра появление графини случилось таким же образом, и на его любопытство она запретила и спрашивать, откуда приходит. Послезавтра и еще много раз она говорила ему о Клодине: он молчал или отшучивался; графиня ни на шаг не подвигалась с этой стороны, но по ее наблюдениям и замечаниям ей непременно казалось, что он любит Клодину. Взамен того взаимная доверенность подвигалась быстрыми шагами; прогулка перед завтраком сделалась необходимостью для обоих. Графиня думала, что действует для соединения двух юных сердец и не замечала, как собственное начало брать участие в живом, умном и картинном разговоре Глинского. Она считала, что любит неизменно покойного мужа и не предполагала никакой опасности; не понимала, что можно любить кого-либо вновь. Между тем Шабань устраивал почти каждый день прогулки в манеж, где Клодина училась верховой езде, и резвая де Фонсек скакала целое утро с веселым и красивым французом, а ввечеру твердила потихоньку графине, что *русский ей очень нравится!*

В таком положении были дела. Графиня не знала о самой себе; неопытный юный Глинский любил, но не смел, боялся дать почувствовать Эмилии, что ее любит. Ему казались святы чувства женщины, недавно схоронившей любимого мужа, и сверх того, все это было так для него ново; он думал, как и все думают в начале первой любви, что верх счастья состоит

в том, чтоб видеть ее, говорить, дышать с нею одним воздухом. Он играл, резвился с Клодиною, не спуская глаз с графини; говорил первой комплименты и довольствовался писать имя второй на стеклах, на книгах; даже в письмах к родным часто поля украшались ее вензелями.

Париж такой город, в котором надобно молодому человеку всего более сохранять кошелек и нравственность. Глинскому не нужны были увещания, чтобы он берег которую-нибудь из этих вещей: его чувствования были слишком высоки, чтобы искать таких удовольствий в Париже, которые могли бы навлечь нареkanie; но несколько раз по неопытности он попался в неприятное положение; несколько раз был обманут плутами, живущими в Париже простотою иностранцев; иногда его заставляли подписываться на издание книги; иногда надобно было откупиться от свидетельства нарочно заведенной подле него ссоры; однажды в толпе, куда привело его любопытство, ему навязали было ребенка; только Шабань, как настоящий француз, убедил по-свойски обманщицу, которая божилась, что Глинский ее соблазнитель. Все сии случаи доходили до сведения старой маркизы; Шабань не пропускал случая рассказать забавного анекдота; часто Глинский помогал ему, и маркиза всегда тревожилась в опасении каких-нибудь важнейших последствий от неопытности последнего. Мы сказали уже, что она полюбила его как сына, и в этом случае хотела употребить материнские права. Графиня Эмилия, взявшая на себя, так сказать, воспитание Глинского, также хотела, чтоб он для собственной пользы позволял маркизе и ей руководствовать любопытством своим и даже спрашивать их, если б случились ему какие-нибудь приглашения или предложения. Заботливость такого рода и радостная покорность юноши, видевшего, какое участие принимало в нем это почтенное семейство, еще более сблизило его с ним и особенно с Эмилией, которая непременно хотела поутру знать, где он будет, и требовала отчета ввечеру, что он видел в продолжении дня. Молодой человек пускался по Парижу или с маркизом, или с Шабанем и ввечеру как пчела приносил собранный мед. Рассказ его был весел, замечания оригинальны — и часто он описывал такие вещи, которые самим парижанам казались новостями, потому что они по привычке не обращали на них внимания.

Людовик XVIII уже приехал. Несколько дней продолжались восторги фамилии Бонжелень, и каждый день он был предметом неисчерпаемых разговоров.

Однажды, после обеда, когда все семейство собралось

около дивана в гостиной, и когда общий предмет уже истощился, графиня Эмилия, желая дать другой оборот разговору, спросила Глинского, где он был сегодня утром?

— Я был с г. Дюбуа в Музее. По его благосклонности я теперь приобрел многие новые понятия о художестве, которые имел там случай поверить над образцами великих мастеров и тем с большим удовольствием провел время, что познакомился с директором Музея, славным Денонем. Какой дар рассказа! Мы оставили его в ожидании австрийского императора. Прусский король был у него вчерашний день. Тут же я видел копию, которую работал г. Дюбуа, и был от этой копии в большем восхищении, нежели от оригинала.

— Я не знала, что вы работаете ныне в Музее, — сказала графиня, обращаясь к Дюбуа.

— Это потому, графиня, — отвечал он, — что тороплюсь сделать копию с картины, которая мне нравится. Денон и я имеем предчувствие, что этот Музей разойдется по рукам наших победителей. Я уже получил записку от Денона, в которой уведомляет, что прусский король прислал своего адъютанта с просьбою доставить к нему некоторые картины. Вероятно, австрийский император делает то же, хотя г. Глинский и уверяет, что этому быть невозможно.

— Да, это общее наше опасение, — промолвил маркиз.

— Где же вы еще были, Глинский? — спросила Эмилия.

— Нигде, графиня; я хотел видеть короля, которого не видал с приезде, но это мне не удалось, и с большим удовольствием просто ходил по улицам Парижа и более всего любовался на парижан. Какая живость, деятельность! сколько выдумок, чтобы доставать пропитание! Например: я остановился против церкви Нотр-Дам рассмотреть это замечательное строение. Подле меня с лорнетом в руке стоял молодой очень хорошо одетый человек. «Вы, конечно, иностранец, — спросил он с учтивостью, — и, конечно, любопытствуете узнать что-нибудь о замечательных зданиях Парижа: я за удовольствие сочту сделать для вас что-нибудь приятное». С сими словами он начал историю построения церкви, рассказал мне все значения украшений, которыми испещрена наружность здания; говорил как книга и, окончив, поклонился, потом скинул шляпу и, подставляя ее, сказал: «Могу ли я надеяться чего-нибудь от великодушия вашего?»

— Я смеялся, полагая, что он просит подаяния; и, судя по его платью, не знал, что дать, наконец, спросил с замешательством, сколько ему надобно?

— Сколько вам угодно: безделицу... ффранк?

— Я бросил в шляпу наполеон, извиняясь и совестясь, что даю так мадо человеку, одетому лучше меня. Я догадался после, что он требовал с меня только за свои труды, когда он в восхищении предложил мне идти осмотреть и внутренность церкви...

Все начали смеяться над Глинским. «Бедный молодой человек,— говорила маркиза,— он беспрестанно платится за свою неопытность».

— Вы слишком великодушны,— прибавила Эмилия.

— Что же вы нашли тут странного?— вскричал маркиз,— иностранец дал двадцать франков вместо одного?— Я знаю опытных шалунов, которые бросают сотнями так же за вещи, не стоящие франка.— Он взглянул на Шабаня, который, стоя против зеркала, расправлял свой шейный платок и поглядывал на резвую де Фонсек.

— Завтра же,— продолжал маркиз,— пойдемте, Глинский, я поведу вас в одно место, где можно научиться узнавать людей, населяющих парижские улицы и живущих на чужой счет.

— Что же вы еще видели? — спросила опять графиня.

— Я все сказал,— отвечал Глинский.

— Нет, не все,— подхватил Шабань,— я видел вас на углу улицы Д... перед столиком какого-то сидевшего там человека...

— Да, я познакомился с ним сегодня, и хотел видеть его искусство. Вы знаете, что мне нельзя пройти этого места, идучи в Вавилонскую казарму, где стоит наш полк. Меня удивляло, что я всегда видел этого пожилого человека, в опрятной гороховой шинели, напудренного и в треугольной шляпе, с зонтиком в руках от дождя или от солнца, сидящего перед маленьким столиком, на котором никогда ничего не было. Всякий раз, как я проходил мимо, этот человек вставал, снимал свою треугольную шляпу и делал низкий поклон. Сегодня я подошел к нему и учтиво спросил, что он тут делает?

— Вырабатываю свое пропитание, м. г.

— Но каким образом? у вас ничего нет.

— Если угодно, я покажу вам,— я кивнул головою, он нагнулся; вынув из-под своего стула закрытую клетку, поставил на стол и когда ее открыл, я увидел в ней прекрасную канарейку.

— Eh bien! M-lle Bibi, voila un monsieur, qui veut faire votre connaissance. Soyez sage¹.— Он отворил дверцы и ка-

¹ Слушай, Биби, этот господин желает познакомиться с тобою. Будь благоразумна.

нарейка выскочила оттуда, чирикая:— «faites la revegence a M...»¹ и канарейка прыг, прыг, подскочила на край стола, присела передо мною, поджала одну ножку и глядела в глаза, как бы ожидая приказа. В это время напудренный человек, вынув из кармана колоду карт, перетасовал ее и рассыпал по столу; на затылках карт написаны были азбучные буквы.

— Не угодно ли сказать ей какое-нибудь имя,— продолжал мой знакомец в гороховой шинели,— она вам сложит его сию минуту...

— Я сказал имя. Канарейка присела снова, потом прыг, прыг, начала попискивать, разбрасывать и перебирать носиком и ножками карты; выбрала первую букву сказанного имени, схватила карту за уголок, притащила и положила передо мною. Таким образом перетаскала все буквы и заданное имя было вполне сложено.

— Знаете ли, какое имя задавал Глинский?— сказал Шабань, лукаво улыбаясь...

Глинский покраснел, смотрел ему в глаза, упрашивая зорами молчать — повеса смеялся. Все видели замешательство молодого человека и приступили к Шабаню, чтоб он сказал, какое это было имя.

— Это было... но, г. Глинский лучше скажет сам, чье это было имя.

— Императора Александра,— сказал, запинаясь, Глинский.

— Сестрицы Эмилии,— перехватил Шабань, кланяясь графине.

Общая веселость разразилась смехом — «он влюблен в тебя, сестрица!», — шептала ей де Фонсек. Глинский горел; Дюбуа поблѣднел; замешательство самой графини, потупившей глаза на свою работу, обнаружилось розовым цветом шеи. Глинский желал, чтобы земля расступилась в эту минуту под его ногами, но когда он, увидев положение Эмилии, то не мог более выдержать своего смущения: он вскочил и, уходя из комнаты, бросил сердитый взгляд на Шабаня.

Этот, смеючись, вышел за ним следом.

— Как тебе не стыдно, Шабань,— начал Глинский с горячностью, услышав его смех за собою,— выставять публично такие пустяки, которым я не хотел бы сделать четырех стен свидетелями!..

— И для того делал это на площади?— прекрасный спо-

¹ Поклонись этому господину.

соб сохранить тайну. Но не сердись, cher¹ Глинский, ты не хочешь понять собственной выгоды: à present la glace est rompue² — теперь дорога открыта. Эмилия знает, что тебе нравится — а ты, вместо того, чтоб сердиться, благодари, что я тебе сократил половину дороги.

— Как, Шабань? ты полагаешь, что я осмелюсь думать о сестрице твоей в ее положении? что я не уважу ее горести? Я поступлю недостойно ее и себя, ежели захочу теперь обратить ее внимание. Знаешь ли, что бывают в жизни торжественные минуты, которых нарушать ничем не прилично?

— Видно, что романические идеи зашли к нам с севера, беда, ежели все русские такие же, они перепортят наши нравы! Послушай, Глинский; le devoir de tout honnête homme, est de faire la cour à une jolie femme³ — а ты поступаешь против приличия, не следуя этому правилу: vous manquez à une femme⁴.

— Какая странная логика! ты шутишь, Шабань! может ли это быть приятно женщине с достоинством? и когда же? — в самые горестные минуты?..

— Может быть, это ей будет неприятно, но, верно, еще неприятнее твоё равнодушие; во всяком случае, она примет это как дань, должную красоте, а во Франции эта дань, эта подать взыскивается строже всех регалий. Но, одним словом: и чтоб начать откровенностью скажу тебе, что я влюблен в ветреную кузину моей сестрицы — и, как я заметил, что она засматривается на нашего русского гостя и краснеет при каждом его слове, то хотел показать ей, что ты занят Эмилией, помочь твоей нерешительности или застенчивости, а любезной сестрице доставить хоть небольшое развлечение. Мне уж надоела ее кислая рожица!..

— Но помилуй, Шабань, ты говоришь так легко о любви, как о твоём завтраке или параде!

— Да кто же тебе сказал, что я говорю о любви?..

— Стало быть, действительно, я тебя не понимаю, или наши нравы слишком разнятся от ваших.

Шабань засмеялся.

— Поймешь, любезный друг, поймешь, если проживешь подольше в Париже, но пойдем в гостиную.

¹ дорогой. (фр.— Сост.).

² теперь лед сломан (фр.— Сост.).

³ Обязанность всякого порядочного мужчины ухаживать за хорошенькой женщиной (фр.— Сост.).

⁴ Вы пренебрегаете женщиной (фр.— Сост.).

— Ни за что на свете! я сгорю со стыда — и если ты хочешь сохранить мою дружбу, то ступай сам и извинись в своем повесничестве, скажи, что ты пошутил, что ты выдумал..

— И я скажу: ни за что на свете! как, ты хочешь, чтоб я разрушил то, что должно произвести прекраснейшее впечатление?

Здесь два приятеля расстались. Глинский не мог играть своим сердцем и не в состоянии был, почувствовав однажды влечение к прелестной женщине, давать такую форму своему обращению с нею, чтобы из склонности сделать одну забаву, способ для препровождения времени. Не менее того, он не сердился уже на Шабаня, даже... ему приятно было, что графиня свела о его чувствах и хотя не знал, куда поведет его эта склонность, но, как человек, который любит в первый раз, не знал сам для чего он любит, и сам не зная для чего, желал, чтобы его любили.

Когда Шабань возвратился в гостиную, там все было спокойно; старик маркиз со своею женою и с Эмилией сидели вместе и разговаривали; Дюбуа подле дивана в креслах, облокотясь на руку, погружен был в задумчивость; де Фонсек, надув губки, сидела поодаль одна, не принимая участия в разговорах. Шабань сел подле нее и с усмешкою спросил:

— Могу ли узнать, о чем думаешь, моя прекрасная кузина?

— Я думаю о том, Шабань, как вы ветрены; как вы нерассудительны; как мало вы думаете о том, что говорите.

— Прекрасно! шестнадцатилетняя кузина называет меня ветреным; читает мораль! — это хоть бы и графине Эмилии, — но за что это?..

— Именно за нее. Как вам не совестно наговорить таких пустяков при всех. Эмилия смешалась; Глинский должен был уйти; я бледнела за вас, Шабань.

— Будто за меня, Клодина?.. мне показалось, что это было за себя.

— Неправда, mon cousin, неправда, — перехватила Клодина, отворачиваясь, чтоб скрыть смущение, — видите, Шабань, вы прибавляете злость к вашей неразборчивости!

— Ежели б я знал, что мои шутки или ветренность, как вы называете, вам неприятны, я бы старался исправиться, но я впервые это слышу. Знаете ли, кузина, я в самом деле замечаю, что мой характер неоснователен и желал бы от чистого сердца, чтоб кто-нибудь порассудительнее останавливал меня, замечал мои шалости, исправлял недостатки.

Вы вызвались теперь сами: хотите ли быть моею наставницею?..

Девушка в 16 лет очень желает казаться рассудительною; новобрачная в 20 лет хочет носить чепец; женщине в 40 лет не хочется надевать его. По всем этим причинам Клодина с живостию отвечала Шабаню:

— Охотно, пош cousin, но буду поступать с вами как можно строже.

— Тем лучше, тем скорее исправлюсь. Только прошу, милая кузина, пристальнее наблюдать за мною.

Условие было сделано. Молодые люди с важностию начали толковать, с чего надобно было начать исправление. Клодина, гордясь званием наставницы, обещала не спускать с него глаз — и лукавый Шабань достиг желаемого. Он очень хорошо сумел пользоваться таким обстоятельством. Ему надобно было только обратить внимание милой кузины: чтоб поддержать его, он достаточно имел способов при остром уме, доброте и необыкновенной ловкости.

Графиня улучила первую минуту, когда маркиз с женою о чем-то заспорили, она обратилась к Дюбуа, который все еще сидел в задумчивости.

— Здоровы ли вы? — спросила Эмилия с заботливостью; — не беспокоит ли вас ваша рана?

— Нет, графиня, я не болен; рана не беспокоит меня; голова моя совершенно здорова.

— Но отчего же вы так печальны, Дюбуа?

— Оттого, графиня, что все надежды мои лопаются одна за другою, как мыльные пузыри. Вся будущность моя, которая рисовалась радужными красками на этих пузырьках, исчезла от одного лёгкого дуновения.

— Я вас не понимаю, Дюбуа. С некоторого времени вы переменились со мною совершенно. Ваша искренность исчезла, обращение приняло какие-то угрюмые формы и, если я не ошибаюсь, это началось с моего несчастья, тогда как ваша дружба для меня была нужнее, нежели когда-нибудь.

— Я уважал вашу горечь, графиня, приближаясь к вам, я боялся пробудить неприятные воспоминания.

— Принимаю вашу причину, но не простирайте слишком далеко вашей деликатности. Я плакала вместе с вами и это меня облегчало, но чем мне было легче, тем более вы от меня отдалялись. Даже по приезде моем из Лиона мы с вами ни разу не разделяли наших чувствований о несчастьях отечества; вы знаете мое положение при извест-

пом вам образе мыслей в кругу моего семейства, и вы — я жалею вам самим — вы оставили меня в одиночестве!..

Казалось, что глаза Дюбуа заблистали необыкновенным светом, но мало-помалу опять приняли обычное выражение и он сказал:

— По приезде вашем, графиня, я сам желал бы сблизиться с вами, потому что много тяжести лежало и лежит еще на этой груди, желал бы и не мог ни однажды. Я льстил себя быть успешнее сегодня, нежели вчера, и завтра более, нежели сегодня, но надежды мои были напрасны. Вы так заняты, графиня!.. Мне казалось, будто вы разделяете общее торжество, и я не хочу своею суровою фигурою мешать ничьим радостям... Не хочу возбуждать никаких напоминаний и портить тем настоящих ощущений.

Измученная графиня смотрела на Дюбуа; она хотела понять смысл его слов и, наконец, медленная краска вступила ей в лицо.

— Я занята? — повторила она, — я разделяю общее торжество? Мои новые ощущения? теперь вижу, что вы хотите сказать, но как вы могли это подумать, Дюбуа, зная меня.

— Мог потому, графиня, что я за вами замечал лучше, нежели вы сами за собою, и сегодняшнее ваше замешательство, при нескромности Шабаня...

— Нет, Дюбуа! — прервала Эмилия, — никогда женская слабость не будет иметь доступа к сердцу жены вашего покойного друга. Много надобно времени, чтобы изгладилась моя к нему любовь; еще более, чтобы родилось какое-нибудь новое чувство. Верьте, Дюбуа, что если б я в самом деле могла сделаться неверною своим обетам и чувствам, если б этот русский заставил меня поколебаться в моих намерениях, — вы первый узнали бы, — вашей дружбе доверила бы свои ощущения!..

— Я, графиня, моей дружбе?.. нет! нет! избавьте меня! увольте меня от этой доверенности! — он вскочил, хотел еще что-то сказать, но вдруг обернулся и почти выбежал из комнаты. Эмилия долго смотрела ему вслед, потом со вздохом опустила голову на грудь и сказала: «Он подозревает меня — я докажу, как он обманывается... Но он не хочет моей доверенности, что все это значит?..» — она погрузилась в задумчивость.

Глинский встал рано поутру, посмотрел на окошки графини, еще задернутые зелеными занавесями, вздохнул, по обыкновению влюбленных, и сел писать письмо в Россию к своему отцу. Он писал, думал о вчерашнем повесничестве Шабаня, засматривался на окошки Эмилии, катал восковые шарики со свечи, горевшей перед ним для запечатания письма, наконец, внимание его совершенно устремилось на окна, когда он увидел, что занавеси начали отдергиваться одна по одной, и появление слуги, отворявшего окошки, возвестило ему, что графиня также встала. В эту минуту кто-то тихонько постучался в двери, но Глинский был так занят, что не слышал этого знака — и старый маркиз вошел в комнату, не дождавшись ответа. Он остановился в дверях, увидя юношу, сидевшего в задумчивости перед письмом. Глинский был полуодет; тонкая рубашка богатыми складками драпировала легко стяннутый стан, высокую грудь и руки, — и там, где она прилегала плотнее, розовый цвет ее обнаруживал живую краску молодого тела.

Здоровье, молодость, мужество рисовались по всем его чертам; даже самая образованность видна была в каждом движении. Маркиз любовался им и медленно осматривал его с головы до ног. На губах старика показалась улыбка, вслед за нею вырвался вздох. «Если б у меня был такой сын!» — сказал он, и слова его пробудили Глинского. Он вскопчил, извиняясь в своей рассеянности, хотел одеться, но маркиз непременно настаивал, чтобы он дописал письмо. «Я хочу видеть, как вы пишете по-русски», — сказал он, опершись на спинку стула за молодым человеком. Глинский начал писать, маркиз смотрел через плечо.

— Прекрасный почерк, — вскричал сей последний, — я думал, что вы пишете от правой руки к левой.

Глинский посмотрел на него и улыбнулся:

— Вы хотели сказать, что мы пишем как татары?

— Да... нет!.. я хотел сказать: как все восточные народы. К кому вы пишете, Глинский?..

— К моему отцу, маркиз.

— Счастлив отец, у которого есть такой сын! Как бы я желал иметь сына! — но богу не угодно было даровать мне этого утешения! Я думал, что фамилия Бонжеленей, получившая начало вместе с Франциею, будет жить вместе с нею и с нею только исчезнет; но у меня только

дочь — но у меня только внучка — даже судьба отняла и зятя... И эта древняя фамилия... — голос маркиза дрожал, сверкающие глаза потускли, — и эта древняя фамилия, — повторил он, задувая свечу, когда Глинский запечатал письмо, — со мною потухнет, как эта свечка!..

Бывают минуты, в которые слова и утешения излишни. Глинский молча подал руку маркизу.

Одеванье Глинского было скоро кончено; минутное облако, потемнившее воображение маркиза, прошло и веселый его характер снова принял обыкновенное направление. Шутя, смеючись, рассказывая, он повел своего гостя для исполнения вчерашнего обещания; они вышли из дому и пошли по парижским улицам, где еще очень мало показывалось народу. Кой-где выглядывали из домов заспанные и полуодетые фигуры; кофейные дома и трактиры отворялись только еще для того, чтобы выпустить слугу с чашкою кофе на подносе, или впустить какую-нибудь гувернантку старого холостяка за завтраком своему хозяину.

Ранние посетители улиц: трубочисты, мальчишки, с гвоздиком вбитым в палку, с мешком за плечами для собирания старых лоскутьев; водоносы — одни только были в полной деятельности. На углу улицы Глинский увидел человека, который сдирал со стены старые афиши и объявления, которыми улеплены все углы домов на перекрестках.

— Посмотрите на этого доброго человека, — сказал маркиз, — может быть, вам покажется его занятие слишком ничтожно, однако, я могу заверить, что оно доставляет ему безбедное пропитание; теперь он в старом скюртуке, в изорванной шляпе, но ввечеру вы увидите его порядочно одетого, в лучшем кофейном доме, с газетами в руках, с рюмкою мороженого или ликеру — услышите, как он говорит о политике, о литературе, о театре, о науках и, конечно, не подумаете, что он почерпнул все эти сведения из афиш, — и это такое место, которого добиваются многие и получают очень редкие. Вы вчера удивлялись промышленности парижан, она неисчислима: этот питается от афиш; другой по окончании театра платит несколько су женщине, отворяющей ложи, за позволение осмотреть их — и с невероятным проворством, прежде нежели успеют погасить огни, ищет потерянных перчаток, оставленных платков, уроненных булавок и живет этим ремеслом; третий... но где исчислить их — скажу только, что каждый промысел имеет свои выгоды, свои наслаждения по своему состоянию. Этот идет в трактир, другой, кому деньги не позволяют подняться во второй этаж, сходит в подвал и завтра

кает также весело, как и первый, с тою разностью, что его ножик и вилка прикованы цепочками к столу.

В эту минуту навстречу нашим путешественникам тащился фиакр, в котором седок спал, а дремлющий кучер машинально помахивал бичом, не столько для пробуждения тощих лошадей, которые не переменили своей степенной походки, сколько для собственного пробуждения.

— Как переменились времена! — воскликнул маркиз, заглядывая завистливо в фиакр, — бывало и я не возвращался домой ранее этой поры! — это, видно, какой-нибудь запоздалый танцор едет только теперь с бала. Да, Глинский! я жил в веселые времена; тогда мы забавлялись от сердца; едва доставало суток на удовольствия, но проклятая революция переменила нашу радость на слезы, а потом железное царствование Наполеона предписало какие-то военные формы веселостям французов; нельзя было отступить от них ни шагу по своей воле, чтобы полиция не напомнила вам должного порядка. Веселость, даже и в предписанных правилах, не обходилась без жандармов: они определяли всему меру и известность, — чем великолепнее был праздник, тем их было более, или, лучше сказать, чем более было жандармов, тем праздник считался великолепнее. Конечно, находили люди и тут удовольствия: но это было не то, что прежде.

— Не думаю, маркиз, — сказал Глинский, — чтобы вы жалели о прошедшем времени, в которое ненаказанность со стороны сильного слишком обременяла слабого, когда дворянство...

— Вижу, — прервал старик, — что революционные мнения приманчивы, это речи всей нынешней молодежи. Но я согласусь с этим. Я жалею только об утрате одной истинной народной веселости и не люблю Бонапарта за то, что он занял чужое место.

— Не лучше ли сказать, маркиз, что не народная веселость исчезла, а переменились вы сами; что же до Бонапарта, то он доставил Франции славы и благосостояния в течении 15 лет более, нежели Бурбоны в несколько веков.

— Послушайте, Глинский, — говорил маркиз вполголоса, — я все наперед знаю, что вы мне представить можете. Между нами будь сказано, я люблю царствование Наполеона, удивляюсь его гению не меньше другого, но я увидел его уже тогда, как мой характер образовался, а потому не мог до сих пор ни привыкнуть к его царствованию, ни отстать от старой привычки — любить Бурбонов. Сверх того, я думаю, лучше держаться одной какой-нибудь стороны, нежели перемениать

свои мнения при каждом перевороте. Знаете ли, Глинский, — сказал он с некоторою гордостью, — постоянству образа мыслей обязан я тем уважением, каким пользуюсь в публике, тем снисхождением, какое оказывал мне Наполеон, несмотря на то, что я не хотел принимать при нем никакого места и, наконец, тою милостью, какую взыскал меня Людовик XVIII с самого приезда!..

С этими словами они подошли к великолепному магазину, над дверьми которого золотыми готическими буквами написано было: *Habillements d'hommes à vendre et à louer*¹.

— Вот цель нашего путешествия, — сказал маркиз. — Мы покажем вид, будто нам надобно купить платья, и посмотрим, что тут делается.

Несколько огромных комнат уставлены были по стенам шкафами красного дерева, в которых висело и лежало платье, белье, обувь и все принадлежности к мужской одежде всякого рода. Несколько человек выбирали, примеривали разные вещи пред зеркалами во всю стену, другие одевались с головы до ног за ширмами. Маркиз обратил внимание Глинского на человека, который вышел из стеклянных дверей внутренней стены залы. Глинский видел, как он сходил боком с лестницы, лежащей против двери, остерегаясь, чтоб не растерять туфель, или, лучше сказать, подошв отрезанных сапогов, едва державшихся на босых ногах. Голова была всклокочена и, по странному противоречию, несмотря на то, что он никогда не сыпал на перьях, бог знает отчего, была в пуху, борода не брита, на плечах накинут старый фризовой сюртук столь выношенный, что нитка с ниткою держалась только одними сальными и дегтярными пятнами. По заботливости, с какою этот посетитель придерживал свой сюртук одною рукою около шеи, а другою около колен, можно было подозревать, что эти обе руки дополняли недостаток остальной одежды.

— Посмотрите на этого молодца, — сказал маркиз, — вы видите, что он по костюму принадлежит к революционистам двух наций, к испанским дескамизадосам и французским... Вы понимаете, Глинский? — продолжал маркиз, смеючись собственной шутке, — теперь вы увидите его превращение.

В самом деле, чудака отвели в особую комнату, посадили на некоторое возвышение, дали в руки газеты и начали его мыть, чистить, стричь, завивать и помазать; надели чистое белье, щегольское платье, сунули в карман платок, в руки лорнет, поклонились и выпроводили на улицу.

Глинский смотрел на эту сцену с удивлением. Маркиз взял

¹ Мужская одежда продается и отдается напрокат.

его за руку и повел вон.— Если б достало у нас времени и терпения,— сказал он,— та же комедия повторилась бы перед нами двадцать раз. Но довольно этого образчика. Все, что вы видели, и с наймом платья на день, стоит не более двух с половиною франков. Вечеру этот человек должен явиться сюда же: с него тем же порядком снимут до нитки все, что было надето поутру, и он отправится на свой чердак отдыхать от дневных трудов, а завтра может начинать снова. Таким образом мужчины, женщины, не имея лоскута прикрыть наготу, являются пред публикою в щегольском наряде, который помогает им заработать свое дневное пропитание. Полюбуйтесь теперь на эту гусеницу, превращенную в блестящего мотылька, посмотрите, как он порхает между людьми, поглядывает в лорнет, и с важным видом, играя зубочисткою, предлагает свои услуги прохожим. Вы вчера видели такого же человека. Теперь отправимтесь домой, мы сделали необыкновенную прогулку и возвращаемся с добрым аппетитом.

— Извините меня, маркиз,— сказал Глинский,— мне есть надобность побывать у полковника, я надеюсь увидиться с вами за обедом,— и они разошлись в разные стороны.

Глинский у полковника застал несколько человек офицеров, которые собирались посетить музей, торопясь видеть его по разнесенным слухам, будто уже разбирают картины для короля прусского и австрийского императора. Он согласился сопутствовать им, несмотря на то, что был там вчера.

Глинский увидел перемену со вчерашнего дня в музее. Многие лучшие картины исчезли со стен, некоторые были сняты со своих мест и укладывались в ящики; в первой же комнате, на месте Наполеонова портрета висело изображение коронации Людовика XVI, ее чистили и поправляли, видно было, что она вынута из какого-нибудь магазина, где лежала долго без присмотра.

Довольно большого роста человек в очках, почтенной и приятной наружности и грустной физиономии, ходил твердою поступью взад и вперед по галерее с заложенными за спину руками и потупленной головой. Это был известный Денон, директор музея.

Глинский, как уже знакомый, подошел к нему и вежливо спросил, что значит такая перемена?

— Что делать, господа,— отвечал, пожав плечами, Денон,— мы побеждены — и цена крови и трудов наших переходит в руки победителей. Наполеон собрал этот музей как памятник славы французов; теперь слава наша погибла — на что нам и память о ней! — он с горькой усмешкой выговорил

слова эти: видно было внутреннее движение, которое не позволило ему продолжать более.

— Но что же это значит? куда отправляются эти картины? — спрашивали вдруг многие из офицеров, — неужели слухи справедливы, что?..

— Ах, господа, простите, мне больно, как отцу расставаться с детьми своими. Но вы русские, а до сих пор император Александр вел себя с побежденными как прилично герою-победителю, — я могу вам сказать, что это такое. Посмотрите, — говорил старик, идучи вдоль галереи, — вместо моего Рафаэля, за которого отдал бы охотно последние годы своей жизни, остался только этот гвоздь; его взял сегодня император Франц. Вот пустая подставка, на которой подле окошка стоял Поль-Поттер! Поль-Поттер, каким не обладал никто на свете — он отправился к королю прусскому! Здесь это четырехугольное неполинявшее пятно на стене заменяет мне ничем не заменимое Корреджево распятие; о нем еще немцы и пруссаки мечут жребий — и я боюсь, что они вновь распнут Христа и раздерут его одежды!..

Печаль старика была непритворна, глаза его отуманились, он снял очки, вытер их, как будто они были тому причиною, и продолжал свои жалобы, вода молодых людей от одного пустого места к другому.

— Я думаю, — сказал по-русски один молодой офицер, только что произведенный при вступлении в Париж, — я думаю, после потопа в первый раз посетители ходят по картинной галерее, чтоб смотреть на пустые места!

— Замолчи, шалун, — сказал ему Глинский, — уважь печаль достойного человека и не смейся над горестью оскорбленной национальной гордости.

— Я могу похвалиться, милостивые государи, — говорил Денон, продолжая рассказывать историю многих картин, их приобретения и вода своих посетителей из залы в залу, — могу похвалиться, что я создал этот музей; я был везде с Наполеоном, везде как пчела собирал свои соты и сносил в этот улей. Я имею причину отчаиваться, когда перуны победителей поражают вокруг детей моих, оставляя меня, как Ниобею, одного на голой и пустынной скале. Вот еще несутся новые громы, — прибавил он, побледнев, увидя по длинному ряду комнат идущего адъютанта прусского короля.

Все посетители остановились и обернулись вместе с Деноном; каждому была понятна скорбь человека, который видит разрушение собственного здания, на сооружение которого он положил многие годы своей жизни.

Денон выступил навстречу адъютанту, который подал ему бумагу и какой-то красный сафьянный футляр. Оба вместе, разговаривая, подошли к окну. Денон читал, лицо его переменялось; он бросил на окно футляр, поднял на лоб очки, с недоумением посмотрел на посланного, как бы не доверяя читанному, потом в восторге схватив обеими руками лист, бросился к русским, восклицая:

— Господа! друзья мои! я спасен, я оживаю; я клеветал несправедливо — читайте!..

Глинский прочел вслух приветствие прусского короля и изъявление благодарности за посещение музея, в знак чего просил принять табакерку, осыпанную брильянтами с его портретом, и прибавил просьбу прислать своих людей, чтобы получить обратно картины, которыми он долго любовался у себя дома. Вместе с тем он успокоивал его насчет безопасности музея и свидетельствовал это обещанием своих августейших союзников.

Старик осыпал учтивостями и ласковостью адъютанта, который с немецкою флегмою снова подал ему брошенный без внимания футляр с табакеркою. «Это портрет его величества», — говорил он, видя, что Денон в радости не заботился посмотреть подарка; «это портрет его величества короля прусского», — повторил он, когда старик с прежнею рассеянностью опустил его в карман, прося благодарить короля за милость, оказанную музею.

Восторги доброго Денона не прекращались; и в это время, когда русские от чистого сердца поздравляли его, сзади слышалось шарканье многих шагов и шелест шелкового платья. Все обернулись — перед Глинским была графиня Эмилия, де Фонсек и Шабань... шепот похвал и лестных выражений раздался между офицерами.

Графиня никак не ожидала найти здесь Глинского, даже когда видела мундир его полка, но как скоро он обернулся лицом к лицу, она вспыхнула и остановилась. Глинский, действуя по первому впечатлению удовольствия при виде графини, подошел к ней, но, заметя краску и вспомнив вчерашнее происшествие, едва выговорил свой bon jour¹ и рад был, когда Денон с сияющим лицом начал рассказывать графине свое торжество, и когда Клодина стала хвалиться ему покупками, сделанными вместе с Эмилиею.

— Мы завтракали вместе у бабушки, — говорила она, — и поехали потом по магазинам. Эмилия сегодня не в духе; она

¹ Здравствуйте (фр.— Сост.).

бранила меня за вкус, не хотела покупать ничего, что мне нравится, — а я не понимаю, как очутилось в карете все то, чего мне хотелось. Ах! Глинский, какие прекрасные вещи, — потом встретили мы одного господина, который настрашал нас, что завтра же не останется в музее ни одной картины, ежели мы не захотим посмотреть на них сегодня.

— Здравствуй, Глинский! — сказал ему Шабань, раскланявшись с некоторыми уже ему знакомыми офицерами, — надеюсь, ты будешь добр и пойдешь с нами. Эмилия сердита на меня за вчерашнее, — прибавил он потихоньку, — и ты видишь, как мы хорошо разделались. Только брось свои предрассудки, Глинский!

— Повеса, — сказал Глинский, качая головою.

Графиня сама не знала, отчего она покраснела.

«Это от неожиданности, — думала она, — как дурно иметь такие слабые нервы». И когда Глинский подошел к ней в другой раз: — Вы не соблюдаете наших условий, Глинский, — сказала она шутливо, — вы и не объявили — где сегодня будете.

— Это случилось печально, графиня, сегодня я не имел счастья видеть вас, а вчера я не смел... — Эти слова привели Эмилию именно к тому предмету, о котором она хотела говорить. — «Я должна поступить решительно, — думала она, — я не хочу, чтоб Шабань или Дюбуа могли возобновить вчерашние сцены». — Кстати, — сказала она вслух, — будем говорить откровенно: о чем имени вчера была речь! не правда ли, что это выдумка шалуна Шабаня?..

Глинский потупил глаза, он чувствовал, что ему предстоит важный шаг: первое признание. Дрожь пробежала по всем его членам, но, когда он взглянул на милое, ясное и совершенно спокойное лицо Эмилии, которая внимательно ждала ответа, то смутился совершенно.

— Графиня! я не смел бы сказать этого никогда, — не подумал бы дать какого-нибудь о том подозрения, но как скоро это уже сделалось вам известно; когда вы спрашиваете... я не смею солгать... это было ваше имя, графиня!..

— И, полноте, Глинский, я вижу, что вы делаете успехи под руководством Шабаня... Вы обещали слушать меня? не так ли?.. хорошо... скажите же, не говорил ли вам Шабань, как вы должны со мной обходиться? *Que vous... Que vous devéz il faut finir cela. Que vous devéz me faire la cour?*¹ —

¹ Что вы... что вы должны... ну, словом, что вы должны ухаживать за мной (*фр.— Сост.*).

сказала она, не придавая никакой важности этому выражению и стараясь принять на себя вид наставника.

— Правда, графиня.

— Я угадала, — что же вы отвечали?..

— Отвечал, что могу только любить, но не способен играть своими чувствами.

— А я готова биться об заклад, что вы это теперь говорите в первый раз. Вижу, что нельзя исправить вас, — я вам запрещаю слушать вздоры этого несносного Шабаня...

Графиня остановилась и размышляла о сказанном: «Какое несчастье, — думала она, — что эти молодые люди помешаны на комплиментах всякой женщине. Я хочу добиться от него, что он чувствует к моей Клодине, а он думает оскорбить меня, не сказав чего-нибудь лишнего на мой счет. Впрочем, это может быть с его стороны скромность: он не хочет показать, что любит ее — истинная любовь скромна, — но я узнаю, что у него на сердце...»

— Вы меня не понимаете, Глинский, — продолжала она, — я не люблю того, что составляет нашу французскую вежливость с дамами — и один раз навсегда скажу вам, что не буду слушать ваших льстивых выражений. Я хочу откровенности: предлагаю вам свою дружбу, хотите ли вы заслужить ее, Глинский? в таком случае, требую только чистосердечия.

Дух сжался у Глинского при первых словах, как у птички, посаженной под пневматический колокол, но точно как у ней же возобновляется жизнь при отворении крана, последние слова графини двинули быстрее кровь по его жилам. Он с чувством руку свою прижал к груди своей и ничего не мог выговорить.

Они разговаривали, продолжая идти по галереям из залы в залу, останавливаясь против некоторых картин и слушая красноречивые описания Денона; прелесть обращения этого человека и искусство рассказа очаровывало все общество. При его словах картины оживали, при его рассказе видел всякий живописца: как он соображал свою картину, накладывал краски, под каким вдохновением кончал оную, и каждая тайная мысль художника разоблачалась пред обольщенными глазами и слухом посетителей. Один только Шабань с Клодиною летали как мотыльки, уходили вперед, возвращались, судили картины, и в то время как общее внимание было устремлено в рассказ, резвая де Фонсек нападала на Глинского, или Шабань подсмеивался над графинею. Между тем, товарищи Глинского, несмотря на красноречие Денона, чаще засматривались на графиню, нежели на картины, которые толковал

он — и как скоро позволяло приличие, перешептывали друг другу свои замечания и ощущения.

— Это хозяйка Глинского, — говорил один, — какой он счастливец! какой стан! какое ангельское выражение лица! какие благородные, восхитительные приемы! — повторял другой, — во всяком случае, — шептал третий, — я бы уверен был, что нельзя найти прекраснее этой интересной попрыгунки, что ходит с нашим приятелем Шабанем, но теперь не вижу между ними и сравнения. — Глинский и сам молодец, — сказал его капитан, — я от чистой души радуюсь, видя их вместе!..

Все это говорено было по-русски, и хотя графиня не понимала этого языка, но лицо Глинского как зеркало отражало впечатления. Иногда он улыбался, ловя жадным случаем мимолетные слова. В другое время краска и потупленный взор его показывали, что говорилось о нем; иногда же Эмилия подстерегала пламенный и исполненный любви взор его, когда грудь надмевалась гордостью и лицо выражало самодовольствие, ежели хвалили графиню. Кто истинно любит, тот счастлив достоинствами любимого предмета.

Графиня замечала все его движения и понимала их. Первый раз удовольствие самолюбия проникло в ее душу против ее вedomа. Она чувствовала, что была предметом похвал, но они доходили к ней так косвенно и такую приятною дорогою! Очень лестно слышать похвалы, особенно ежели почтение мешает им выразиться слишком явно: в этом случае шепотная похвала русских могла нравиться графине больше похвал громогласных французов.

Глинский был полон восторга. Сверх того, ему графиня предложила дружбу. В эту минуту он думал, что выше его нет никого на свете. Он еще был новичок в любви.

Таким образом все общество переходило из залы в залу, пришло туда, где сидел Дюбуа, копируя мадонну Карлино Дольче. Он удивился, увидя графиню и Глинского, с которым вчера был в музее, но более обрадовался известию Денона, которым тот успокоил его насчет музея.

— Как хороша эта мадонна! — сказала графиня, — какое прекрасное выражение дали вы ей, г. Дюбуа.

— Я не нахожу в ней много прекрасного, — сказал Шабань, — во-первых, у нее голубые глаза, а она была иудейка; во-вторых, я бы желал видеть ее моложе для мадонны с этим младенцем.

— Я не вижу ни в том, ни в другом недостатка, — сказал Глинский, — но здесь изображена только кротость на хоро-

пеньком лице, здесь выражение слишком земное. Боже мой! — воскликнул он, — если б я был живописцем, какую бы святость пролил в эти черты. Я понимаю, в чем должно состоять выражение этого взора, в котором смотрится и отражается небо; я чувствую, какая гармония может быть в чертах, пред которыми должно благоговеть каждому человеку!

— Вы поэт, Глинский, — сказала ему Эмилия.

— Нет, графиня! Не имею к тому способности и не чувствую расположения, но желал бы быть живописцем, чтобы передавать кистью впечатления, получаемые моими глазами. Как часто мне случалось видеть портреты, которые казались идеалами совершенства, но как скоро я узнавал подлинники, эти *chef d'oeuvres*¹ делались для меня только разноцветными пятнами. Для этого я желал бы сделаться художником, чтоб воспользоваться таким качеством моего зрения и понятия, которое позволяет видеть все различие и все недостатки портрета.

— Не думайте, чтоб вы могли легко достичь до того, что постигает ваше понятие, — сказал Дюбуа. — С вами бы случилось то же, что случалось со многими; кисть осталась бы мертва, краски побледнели бы пред вашим воображением. Вы предпочитаете живопись поэзии — я напротив. Живопись так мертва, так неподвижна; художник может схватить одно положение. В поэзии я могу дать жизнь, действие, разговор; облечь изображаемое мною существо во все краски, до каких доступен язык человеческий; в каких выражениях могу я описать лицо, предмет, который мне нравится, показать все оттенки его характера, развернуть все склонности, развить все страсти, вдохнуть высокие чувства, неуловимые для красок! Вы правду говорите, что все портреты кажутся только совершенна, говорит несовершенному органу глаза. Тогда как поэзия пробуждает все благороднейшие чувства души нашей — и если я умею владеть пером, если я буду говорить людям с воображением, мой идеал, мой образец отразится в душе каждого; я заставлю любить его, как люблю сам, всякий узнает, кого я хотел представить — и когда чувства мой горячи, написанный портрет будет живее и восхитительнее всякого портрета Жерара! Да, Глинский, и я также, как вы, не был никогда доволен ни одним живописным портретом, а всего менее теми, которые делал сам! Сверх того, век живописи переходчив, а истинная поэзия не стареет от времени. Мы

¹ лучшее творение (фр.— Сост.).

скоро не будем узнавать Рафаэля, тогда как Сафо, Тибулл и Проперций, Тасс и Петрарка завещали векам память об их любезных!

— Если б Дюбуа был помоложе, — сказал Денон, обращаясь к графине, — право, я бы подумал, что он влюблен, однако, он говорит правду: со всею моею любовью к художествам и я скажу, что творения великих писателей принадлежат всем векам и всем людям, тогда как живопись и ваение — вы видите сами, — прибавил он со вздохом, — каждую минуту могут принадлежать сильнейшему; да и самое существование этого музея, по правде сказать, есть разительный тому пример. Горация и Виргилия никто у меня не вырвет из памяти, тогда как, несмотря на настоящую неприкосновенность этого собрания, какое-то предчувствие говорит, что я должен буду расставаться с Рафаэлем и Праксителем, а это для меня то же, что проститься с жизнью.

— Пойдемте с нами, Дюбуа, — сказала графиня, — Денон обвиняет вас, а мне кажется, что он влюблен также в свои картины. Вы смотрите на живопись особенными глазами, и поэтому приятно будет услышать несколько различных мнений о том же предмете. Начнемте с французской галереи.

Дюбуа, положив кисть, пошел вместе с графинею и, рассказывая достоинства различных знаменитых художников, остановился пред коллекциею Пуссеня.

— По-моему, — говорил он, — мы, французы, не имеем своей школы; то, что у нас называлось старою школою, есть подражание итальянской: посмотрите, как Пуссень мертв колоритом и, несмотря на плодовитость, он имеет более учености, нежели воображения; Ле-Сюер, прозванный французским Рафаэлем, холоден как лед; я не хочу говорить о манерном Менгсе и Ванло. Новая же школа наша недостаточна — и в отношении к живописи то же, что барельеф в сравнении со статуею. Из французов один только Вернет был истинен, из итальянцев один Рафаэль высок, чист и неподражаем. Кисть живописца должна быть также благонамеренна, как и перо публичного писателя. Обязанности того и другого состоят в пробуждении благородных чувствований, и горе тому, кто уклонится с дороги истины и добродетели, чтобы ввести в заблуждение другого. Тицианы и Веронезы, несмотря на таланты свои, не поняли великого призвания художества; их произведения дышат роскошью и негою и не могут внушить того чистого энтузиазма, какой возносит человека выше человечества, когда он смотрит на творения Рафаэля.

— Графиня, — сказал веселый Денон, — вам угодно было

вызвать нас на турнир с Дюбуа. Он бросил мне перчатку; перед судом красоты буду с ним биться до последней капли крови, до последнего вздоха — и значит, я посвящаю это вам. Во-первых, мой друг Дюбуа, с которым мы давно знакомы и давно спорим, любит итальянцев более, нежели должно патриоту. Как можно сказать, что у нас нет школы? Один Пуссень, этот поэт живописцев, составляет целую школу: какое богатство и разнообразие воображения! какой неисчерпаемый источник мыслей! какое поприще для науки!

— Я знаю, почему вы пристрастны к Пуссеню, — сказал, смеючись, Дюбуа. — Никто более его не может возвысить искусство гравера, потому что он в эстампах лучше, нежели в картинах, а вы — гравер. По-моему, Сальватор Роза в ряду живописцев стоит наравне с Пуссенем.

— *C'est un blasphème!*¹ — воскликнул с комическим жаром Денон. — Как! этот человек, который бесился всю жизнь за то, что его почитали живописцем *de genre*² и который остался им навсегда, несмотря на четыре или пять исторических картин, написанных перед смертью, этот человек может быть сравнен с Пуссенем? Вспомните, что этот был творец также исторического пейзажа, — продолжал Денон, обращаясь к двум картинам, — и что этот потоп, и Диоген, разбивающий чашку, превосходят все, что написал Сальватор в роде пейзажей в отношении к мысли и даже колорита. Что же до композиции, до важности и до философии в истории, Пуссень, может быть, первый из живописцев.

Дюбуа подал ему руку.

— Если я не убежден, — сказал он, — то побежден вашею патриотическою горячностью к земляку живописцу; зато он, несмотря на ваше предчувствие, один останется верен своему покровителю — его, верно, не возьмут от вас!

— Графиня, — сказал Денон, — вы видите, что он посреди честного бою употребляет кинжал. Как судья, обезоружьте взором ваших этого человека, который преступает правила поединка, употребляя против меня оружие насмешки, а против моего Пуссеня выпускает Сальватора со всеми его бандитами.

В таких спорах и рассуждениях общество обошло верхние картинные галереи, спустилось вниз, где стояли статуи и, когда все было осмотрено, когда все поблагодарили и простились с Деноном, он взял за руку Дюбуа и сказал ему потихоньку:

¹ Это святотатство (*фр. — Сост.*).

² жанровым (*фр. — Сост.*).

— Мое воображение так настроено напрасным страхом, что, несмотря на уверение союзных государей, все еще не верится неприкосновенности музея. Может, это в самом деле предчувствие. С тех пор, как пал великий человек, для меня все кажется возможным. Велика наша потеря, Дюбуа! Для меня нет его дружбы!— для тебя предмета жаркой любви твоей!

— Подождем,— сказал еще тише Дюбуа,— можно надеяться, что глупости Бурбонов сделают эту потерю не вовсе невозвратимою!..

Денон взглянул на него, ожидая объяснения, но тот не продолжал более.

ГЛАВА VII

Объяснение графини Эмилии в музее не изменило несколько обращения между ею и Глинским. Ей казалось, что она обеспечила себя довольно, сделала все, что должно, сказав ему, как понимает светские учтивости, других же чувств она не предполагала в молодом человеке. Итак, в полной безопасности графиня, однажды предложив дружбу свою, не могла не отдаться приятному впечатлению этого благородного чувствования; большая откровенность придала новую прелесть их обращению; Глинский был вне себя от радости: слово друг и друг прелестной женщины, возвысило его выше всех людей в собственных глазах.

Последовавший вечер и утро были для него продолжительным восторгом.

Проходя чрез кабинет маркиза после завтрака, за которым графиня показала ему новые знаки своего расположения, он остановился против ее портрета, перебирая в уме своем все счастливые минуты с тех пор, как узнал ее. В это мгновение часы ударили двенадцать и напомнили ему намерение навесить раненого гренадера, которого он полюбил всей душой. Больной начинал уже выздоравливать, садился на своей постеле и временно, с позволения лекаря, делал несколько шагов по комнате. Глинскому не хотелось, возвратив только жизнь, оставить без помощи человека, для коего служба была уже невозможна и способы к существованию ничтожны, потому что он мог иметь только пенсию за крест Почетного легиона. Независимое состояние Глинского дало бы ему способности осчастливить этого человека, но здесь, вдалеке от родины, денежные обстоятельства самого Глинского часто были затруднительны. Не менее того, он положил непременно со-

браться со всею возможностью и не оставить без помощи этого человека, как скоро ему здоровье позволит располагать своею будущностию.

Эти рассуждения следовали одно за другим, перемешиваясь с мыслями о графине, пред портретом коей он остановился. — «Как часто, — думал он, — мы бываем добры оттого только, что любим. Не знаю, пожелал ли бы я сделать больше того, что внушало мне первое движение, если бы имя графини не отозвалось в моем сердце устами этого человека. Если бы я не знал ее, я бы вел рассеянную жизнь — может, забыл бы его. Он думает, что я великодушен, — а я только люблю Эмилию, и вот моя добродетель. Нет, я не хочу присвоивать того, что принадлежит ей одной! я знаю, как это сделать, знаю, как сказать, знаю, как указать ему настоящего, а, может быть, и будущего благодетеля. Я скоро оставлю Францию: до того времени он не выздоровеет и не изобличит меня, а притом он знает только мое подложное имя».

Глинский хотел уже идти, но все еще стоял пред милым ему изображением, как Дюбуа вошел в комнату и застал его перед портретом, со сложенными руками и пылающим взором. Дюбуа остановился, на лице его изобразилось какое-то меланхолическое чувство. Глинский, совестясь, что его подстерегли, подошел с опущенными глазами к нему, взял его за руку; и оба не могли выговорить ни слова, оба были в замешательстве, но в эту минуту вбежала Габриель с нянькою и ласками своими развлекала их обоих. Малютка взяла их за руки, лепетала, показывала свое новое платье, подвела к портрету матери, просила, чтоб ее подняли поцеловать у нее руку, заставляла Глинского и Дюбуа сделать то же и побежала к маменьке спрашивать, почему они не хотят целовать у ней ручки?

— Куда вы намерены идти? — спросил Дюбуа Глинского, который, поклонясь, хотел отправиться.

— В улицу С. Дени, — отвечал тот.

— Я иду туда же, и ежели вам не скучно мое сообщество, то эта дальняя дорога нам будет короче, если пойдем вместе.

Они пошли. Глинский не говорил ни слова, сердце было его полно: он хранил там образ Эмилии и любовь к ней; это было его сокровище: но он не мог пользоваться один богатством, ему хотелось разделить свою тайну. Он был дружен с Шабанем, но ветренность его и легкие понятия о любви всегда удерживали Глинского от доверенности. Мы любим говорить о первой любви нашей, пока это не сделалось еще нескромностью, но Глинский хотел, чтоб и тот, кому он доверит-

ся, принял бы его тайну как святыню. Давно он искал дружбы Дюбуа и, несмотря на его угрюмую наружность, разгадал, что под нею скрывается горячее сердце, которое может понять его чувства. Теперь он обдумывал, каким бы образом приступить к этому, тем более, что Дюбуа часто заставлял его перед портретом графини и теперешнее замешательство могло дать ему большое подозрение.

— Я всегда отдыхаю чувствами, когда вижу детей,— начал Дюбуа, как бы относя слова свои к Габриели.— Как прелестны их телодвижения, как милы даже гримасы, с каким радостным чувством иногда прижимаю к груди своей младенца, как весело гляжу за его резвостью, как люблю наблюдать за всеми развитиями его способностей. Но когда приходит на мысль, что судьба отказала мне в счастье семейной жизни, когда вспомню, что никакое существо на свете в детском лепете своем не назовет меня отцом, глаза мои невольно отворачиваются, и вместо радостного чувства заступает какая-то зависть. Как больны бывают мне иногда материнские похвалы своему ребенку! Но я все люблю детей, потому что они одни отвечают мне тем же.

— Одни дети,— возразил Глинский,— может быть, вы сами не хотите, чтобы к вам приближались люди: потому что тот, кто узнает вас, не может отказать в уважении, а если бы вы пожелаали, и в дружбе.

— Дружке? говорите вы,— сказал Дюбуа, вздохнув, и в то же время усмешка показалась на губах его, но выражение этой усмешки было так печально, что она, конечно, была для него болезненнее вздоха.— Дружбы?— повторил он,— я сорок лет искал друга — и не нашел. Один, с кем я сблизился короче других, был граф де Серваль, и тот похищен от меня завистливою судьбою!

Пламенный Глинский схватил руку своего спутника.

— Дюбуа!— воскликнул он,— душа моя жаждет другой, с которою могла бы она слиться! Не презрите моей дружбы: будьте моим другом, моим руководителем!

Дюбуа сжал руку Глинского, потупил голову, несколько мгновений он не отвечал ничего ожидающему юноше, наконец, сказал:

— Благодарю вас, благородный юноша, за вызов, но прошу извинить, ежели уклонюсь от столь лестного предложения. Выслушайте меня терпеливо и судите мои причины, Глинский, я слишком уважаю название друга, чтобы предложить вам вместо живой действительности один мертвый призрак; мне уже сорок лет, чувства мои охладели, тогда как

ваши только что загораются, я не в состоянии отвечать с такою горячностью, с какой вы сделали предложение и с какою вы способны чувствовать. Притом же узел дружбы не завязывается в один день, и вы обманетесь, ежели будете думать, что сорокалетний человек может быть вашим другом. В юные только лета и неприметно свыкаются сердца, назначенные одно для другого, но сердце, которое отвердело от одиночества в своих формах, не способно ни делиться, ни принимать впечатлений от другого. Сверх того, вы чужой, скоро вас здесь не будет и мы расстанемся навеки. На что же заводить связь, которая сделает только тяжелее разлуку и отравит воспоминания, не принесши нам пользы краткостию существования. Может быть, вы не испытали еще, как горько разлучаться с теми, кого любишь, как больно расторгать нити наших привязанностей, и как кровенится оттого растерзанное сердце!..

Глинский не мог ничего говорить: столько его поразил неожиданный отказ и столько тронули последние слова, которые могли относиться к настоящему положению его сердца.

Дюбуа продолжал:

— Я уважаю, даже люблю вас, Глинский, и чувствую, что если бы судьба свела нас, я бы сам попросил дружбы — столько мне известны прекрасные качества души вашей — но теперь... мне должно сказать вам, что я желал бы истребить из собственного сердца все, что может еще его привязывать к чему-нибудь в этом мире, чтобы равнодушнее расстаться с жизнью. Я стою на краю гибели — и не хочу, чтобы она нанесла кому-нибудь самомалейшее прискорбие, а меня заставила пожалеть о свете.

— Гибель? говорите вы, что это значит, Дюбуа?

— Это значит, Глинский, что я противу воли отдаюсь чувству привязанности и высказываю свою тайну, чтоб отказаться от дружбы, так великодушно вами предложенной. Но оставим это: я не могу выражаться яснее, со временем вам не нужно будет объяснений, вы узнаете это сами, поговорим теперь о другом.

В самом деле, Дюбуа переменил разговор, но вскоре мысли его пошли привычною стезею. Каждая минута этих незабвенных для Франции дней была эпохою в истории всего человечества; невозможно было мыслящему человеку, если даже он был и не француз, не увлекаться настоящими происшествиями. Оба сопутника приближались к Тюльери, куда несколько дней тому назад приехал сам Людовик XVIII.

— Какое странное положение моего бедного отечества, — сказал по некотором молчании Дюбуа, — какие перевороты

судьбы, какое стечение обстоятельств! Какое странное позорище представляла несколько дней тому назад Франция? временное правительство и с ним измена в стенах Парижа; регентство с Марией-Луизой в Блуа, с ним трусость и слабость; настоящий император в Фонтенебло, преследуемый несчастьем; владыки Европы в сердце Франции; в Мальмезоне — остатки лучших и счастливых дней Наполеона — Жозефина! и в то время как подавленный силою, несчастный изгнанник садится в одном краю на корабль, долженствующий отвезти его в постыдную ссылку, — в другом в это же время, только не ранее, Бурбон осмеливается занести ногу свою на берега Франции¹. И вот он окружен толпами придворных, которые друг перед другом торопятся приветствовать нового владыку, ступая на собственные следы, еще не простывшие с тех пор, как они с благоговением толпились около Наполеона и произносят новые клятвы, тогда как эхо еще не успело повторить им старых! Извините меня, Глинский, — продолжал Дюбуа, — мне бы неприлично было говорить об этом с вами, с одним из тех, которые, по-видимому, призвали все эти беды на нашу голову, но вы знаете лучше многих, что ваше дело было оплачивать нам за бедствие отечества. Причина моих сетований есть следствие непостоянства самих французов, я уже не хочу быть несправедливым и приписывать другим вину своих соотечичей!

Говоря это, они прошли королевский мост и вступили на площадь перед Тюльери. Скопище народу теснилось перед балконом дворца, и восклицания пестрой толпы обратили внимание Глинского. Народ кричал *vive le roi!*² и повторением этих слов вызывал короля показаться на балконе для жадных взоров их праздного любопытства. Двери на балконе были растворены, все ожидало появления короля и с нетерпением повторяли свой позывный крик.

Несмотря на то что Глинский не видал короля, будучи задержан службою в тот день, когда он въезжал в Париж, несмотря на любопытство видеть его, он хотел пройти мимо, не желая, из уважения к мнениям Дюбуа, остановиться в то время, как этот с чувством раскрыл перед ним свою страждущую грудь, но Дюбуа понял эту деликатность.

— Остановимтесь, Глинский, — сказал он, удерживая молодого человека и подводя его к цепям, которые фестонами от

¹ Наполеон выехал из Фонтенебло 20 апреля, сел на фрегат во Франции 28 числа. Людовик вышел на берега Франции 24 апреля, а в Париж въехал 3 мая н. с.

² Да здравствует король! (*фр.* — *Сост.*).

столбика к столбику окружали площадь перед балконом. — Вы еще не видали Людовика. — Сказав это, он поставил Глинского на выгодном месте и стал подле него боком, смотря не на дворец, но на волнующую толпу народа.

— Парижанам надобно, — сказал он, — какое-нибудь позорище — чем оно новее, тем для них приятнее. Я уверен, что если б Людовик вместо торжественной колесницы въезжал на гильотине, которая секла бы головы направо и налево, сборище парижан еще более бы теснилось и сильнее кричало: *vive le roi!*

В эту минуту, вызванный криками народа, может быть, в двадцатый раз того дня, Людовик XVIII вышел на балкон, сзади него показалось несколько человек придворных. Король уже был дряхлый старик; открытая физиономия отличалась бурбонским орлиным носом, наследственным от Генриха IV. Довольно высокий стан Людовика казался мал от сутуловатости и толщины. Зеленый фрак, на котором настегнуты были эполеты, и плюсовые сапоги на ногах, едва передвигавшихся от болезни, составляли весь его воинственный наряд.

В то время, как народ приветствовал короля своими восклицаниями, под самым балконом, у ворот дворца двое часовых, гренадеры старой Наполеоновской гвардии, медленно ходили взад и вперед с угрюмыми лицами, с ружьями на плечах. Король также медленно переступал с ноги на ногу, тащась с одного конца балкона на другой.

— *Escoutez,* — сказал вполголоса один из часовых, подошед к другому, — *Celui la n'ira pas loin!*¹

— *Il n'ira pas a Moscou!*² — отвечал, поворачиваясь, другой.

Острое слово действует на французов быстрее электрического удара; глухой шепот повторений разлился по всей толпе, и вскоре общий смех заглушил приверженцев бурбонского дома, которые напрасными криками *vive le roi!* в нескольких отдельных местах старались поддерживать первое расположение народа.

— Теперь пойдем, — сказал Дюбуа, который во все время стоял почти спиной к балкону, — вы все видели в короле, все слышали об нем. Верьте, что слова этих солдат могут служить выражением общего мнения всей армии.

— Странно, — сказал с усмешкою Глинский, следуя за ним, — как непостоянна парижская публика! мне казалось,

¹ Послушай — этот не далеко уйдет.

² Он не пойдет в Москву!

что народ с радостью принял короля, но теперь вижу, что эта радость может быть нарушена малейшею шуткою!..

— Одна причина — непостоянство, другая, что парижане не думали бы никогда о Бурбонах, если б несколько смелых приверженцев этой партии не уверили императора Александра, что их желания — есть голос всего народа. Сверх того, новость простыла уже. Людовик принят был холоднее, нежели д'Артуа, а теперь, когда к нему уже привыкли, не мудрено, что народ кричит *vive le roi!* чтоб он показался, и потом смеются смешному.

Дорога сократилась в разговорах. Они уже близко были того дома, — где лежал раненый. Дюбуа несколько раз видел, что Глинский покушался уйти от него, и вместе примечал замешательство, но не мог понять причины. Молодой человек, не желая показать, куда он идет, хотел пройти мимо дома, но, когда молодая женщина, выбежавшая на крыльцо, стала дружески манить его рукою, Глинскому нечего было делать: он неловко поклонился своему сопутнику и отправился за нею. Дюбуа, прощаясь, погрозил ему пальцем и отправился далее.

— Что это значит? — думал он, — неужели здесь есть какая-нибудь шалость? этот молодой человек заслуживает лучшую участь, неужели он ищет здесь каких-нибудь недостойных развлечений? Он иностранец, молод, его надобно предостеречь, я узнаю, что это такое!

В это время Глинский уже сидел у больного.

— Пьешь ли ты вино, — спрашивал он, заметя, что бутылка, поставленная вчерашний день по приказанию лекаря, почти была не начата.

— Худо пьется без товарища, г. поручик, а хозяйка моя, Барбара, не умеет и губ мочить в рюмке.

— Если тебе надобно товарища, позволь мне выпить за твое здоровье, — сказал Глинский, наливая рюмку себе и больному. — Желаю тебе скорого выздоровления! Скажу, что графиня де Серваль прислала тебе эти деньги, которые просит принять на память мужа и вместе с сим обещается обеспечить тебя вперед. Все, что ты получал и что получишь, графиня принимает на себя. Она не хочет, чтобы чужой человек помогал товарищу ее покойного мужа.

Солдат приподнялся на постеле.

— *Vive Dieu!*¹ — вскричал он, — моему полковнику нельзя было лучше выбрать хозяйки! Скажите, г. поручик, точно сказала она: товарищу моего мужа?

Глинский усмехнулся и кивнул головою.

¹ Слава богу (*фр.* — *Сост.*).

— Значит, она примет и спасибо от товарища своего мужа. Как только буду бродить на костылях, тотчас поплечусь к ней.

— Боже тебя сохрани!— вскричал испуганный Глинский,— она именно просила тебя беречь свое здоровье и не выходить без позволения лекаря. Скажи лучше, каково ты себя чувствуешь?

— Стыд да и только, г. поручик! Барбара учит меня поворотам без конскрипта!

Глинский, видя, что хозяйки не было, спросил:

— А каково она обращается с тобою? доволен ли ты своим содержанием?

— Как не быть довольну, г. поручик! только теперь, как я начал выздоравливать, желал бы лучше лежать в госпитале.

— Что же это значит?— спросил удивленный Глинский.

— Извольте видеть, г. поручик: пока я без языка лежал, как подбитая пушка, я не знал ничего, что случилось в Париже, что делалось в армии; даже я думал, что лежу где-нибудь в предместьи, и что войска ваши только что расположены около города. Но, когда мало-помалу узнал я от Барбары, что я в самом Париже, что он взят союзниками, что наш *petit seroга*¹ должен идти в отставку, что его место займет Людовик, которого мы вовсе не знаем, тут я почувствовал все мое одиночество, и когда слеза готова была пробиться, ее поняли бы товарищи, но у меня перед глазами была Барбара. *Sacre Dieu*² — мне было стыдно плакать перед женщиною! в другое время, когда я рассуждал о том, что толкуют кумушки с моею хозяйкой и, перебирая все несчастья от измены французов, представляя Наполеона, как он сидит под бесчестным караулом в постыдной ссылке, мне хотелось облегчить душу, я в сердцах пускал залпом проклятия. Без этого нельзя жить солдату. Барбара была опять тут: не кричи, любезный Гравелль; твоя грудь слаба, а ты клянешься так, что дрожат окошки. Грудь слаба, чтобы я не кричал; грудь слаба, чтобы я не курил, у меня в горле как клин, а на груди больше тягости, нежели может на нее лечь от трубки табаку!

— Но, любезный Гравелль, все то, что ты говоришь, она делает в твою пользу; если же говорят о несчастьях твоего отечества, о несчастьях императора, почему тебе стыдиться слез своих пред Барбарою?

¹ Маленький капрал, так называли французские солдаты Наполеона.

² Черт возьми (*фр.*— *Sost.*).

— Почему? почему, г. поручик? потому, что я говорю о Наполеоне, а она рассказывает, что я за него ранен, что за него Франция беспрестанно воевала. Как будто я ранен в первый раз и как будто войска для того сделаны, чтоб им никогда не драться!— вчера я хотел с нею выпить рюмку вина за здоровье, знаете? а она помочила только губы за вечный мир. Я миру терпеть не могу, г. поручик!

— Успокойся, милый Гравелль, слава императора так велика, оружие ваше завоевало столько земель, что не для чего было бы воевать более; притом же кто осмелится испытывать счастья в войне, когда оно изменило самому великому Наполеону?

Глинский давно понял характер французского солдата и потому смело говорил эти фразы, которые для всякого другого не имели бы никакого смысла. Гренадер задумался, покачал головою и тихо промолвил:

— Правда ваша.

— Стало быть, Барбара права: она только не умела тебе объяснить того, что чувствовало и что желало ее женское сердце; сверх того, она ходит за тобою как за братом, помогает тебе, перевязывает, исполняет все твои желания с таким усердием, которое далеко превосходит всякое вознаграждение.

— Правда, правда! Но этого-то мне и не хочется. Покуда я лежал без сил, мне все равно было, кто меня ворочает, кто мне перевязывает раны — теперь совсем не то: когда она ворочается около меня, или растирает мои немеющие суставы — г. поручик, мне становится очень неловко: жар, озноб, не знаю, худо ли это, или хорошо, а знаю то, что мне лучше, если б щетка фельдшера, а не пухленькая рука Барбары ходила около моих ребер!

Глинский улыбнулся.

— Ты скоро выздоровеешь, Гравелль, — сказал он, — а до той поры потерпи. Я бы желал доставить тебе товарища, но ты знаешь, что в Париже нет ни одного солдата, а в госпитале я спрашивал, нет ли кого-нибудь из твоего полка, мне отвечали, что все, которые были, умерли от тяжелых ран своих.

— Так, так, — я знал это, потому что мы дрались не для шутки — носом к носу, а тут не дают царапин.

Глинский простился с ним, вышел в другую комнату и встретил хозяйку, которая, остановив его, сказала:

— Больной наш упрямится и не позволяет растирать своих ран, хотя это строго приказано. Я сказывала об этом лекарю, который велел ему носить на теле фланелевую рубаш-

ку, если не позволяет, чтоб его растирали. Я не знаю, почему этого Гравелль не хочет.

— Потому, — сказал Глинский, взяв круглую руку хозяйки, — что он боится допускать это опасное оружие близко к своему сердцу, — я пришло вам фланелевую рубашку.

Хозяйка опустила глаза свои, прибегла к переднику, чтобы скрыть свое удовольствие, и молча проводила Глинского.

Если путешественник, посещавший Париж, останавливался в трактире, слуги, чичероне, весь трактир и весь Париж, смотря по его деньгам — были готовы к его услугам. Но тот, кто жила в этой столице, нанимая укромный уголок и довольствуясь умеренным столом в пансионе какой-нибудь вдовы, тот знает, что такое значит комиссионер квартала, где была его квартира и услугами которого он должен был довольствоваться. Это человек, которого можно назвать *старик везде и нигде*. Только проворство дает ему способ размножать свои услуги в разных местах. В каждом доме своего околка он явится несколько раз в сутки, в каждом найдет себе какую-нибудь работу, какое-нибудь поручение, он знает каждый час надобности каждого и, сверх того, при случае необыкновенном, его можно найти на известном месте.

Нет ни одного дома бедного или богатого, который не имел бы комиссионера. Богатый платит ему деньгами; бедная кушучка, которой он помогает таскать воду, починивает ему локти, пришивает пуговицы, выводит сальные пятна из платья; молодая прачка моет две с половиною рубашки, составляющие его гардероб, за то, что он носит с нею на реку корзину с бельем. Комиссионер всегда весел, всегда доволен, всегда ласков и всегда его посещение приятно, потому что он лучше всякого знает все новости своего околка.

Такой именно человек попался навстречу Дюбуа вскоре после того, как он расстался с Глинским.

— *Moi colonel!*¹ — приветствовал комиссионер, сгибаясь пред Дюбуа и снимая свою ветхую шляпу.

— Здравствуй, Мишо, — сказал, останавливаясь, Дюбуа, — ты мне надобен. Поди и узнай в улице С. Дени, близ ворот № 64, кто такая молодая женщина живет в этом доме.

Дюбуа описал ее приметы и велел завтра прийти с известием.

Мишо согнулся и исчез.

На другое утро он в каморке привратника держал в руках какой-то большой пакет, запечатанный сургучом в несколь-

¹ Полковник (*фр.— Сост.*).

ких местах. Около него ухаживала жена привратника, тогда как несколько грязных мальчиков и девочек вешались ему на шею и ползали на коленях.

— Странно, — говорила привратница, — с чем бы мог быть этот пакет? Нельзя ни с которой стороны заглянуть, даже пальца негде просунуть, везде проклятый сургуч. Кому же, г. Мишо, наш русский офицер посылает это?

— Вдове Барбаре Казаль, в улице С. Дени № 64.

— *Nôtre Dam de Paris!*¹ — воскликнула привратница, — что это за знакомство!

— Не знаю, м. Урсула, мне известно одно, что вчера, когда я по поручению г. Дюбуа шел узнать, какая женщина живет в этом доме, то встретил вашего русского в дверях, когда она его провожала и дружески с ним просталась, а сегодня я было шел к г. Дюбуа, как русский офицер увидел меня и приказал мне отнести этот пакет к ней.

— А что, она молода и хороша собою?

— Как бы вам сказать: она теперь почти так, как вы были лет пятнадцать назад, только немного поменьше вас и глаза не так живы, но прощайте, мне еще надобно побывать у г. Дюбуа.

— Выпейте чашку кофе, м. Мишо, вы видите, я нарочно для вас поставила кофейник на чугунную печку — пейте без церемоний, нынче сахар стал гораздо дешевле, когда порты наши отворились для торговли. Как мягко, — продолжала она, ощущывая пакет. — Это, наверное, шаль или, по крайней мере, платок?..

— Я думаю, что-нибудь похожее, потому что недаром вчера г. Дюбуа...

Дверь отворилась и Дюбуа стоял перед разговаривающими; он отдал ключ от своей комнаты привратнице, спросил Мишо, зачем он ему понадобился.

Мишо вертел пакет и, пойманный в нескромности, шептал ему вполголоса:

— Я желал видеть вас и сказать вам, что получил сегодня от г. русского офицера посылку на имя вчерашней вдовушки. — Тут Мишо рассказал некоторые подробности о вдове Казаль, которые несколько не успокоили Дюбуа насчет Глинского. — Вот посылка, — продолжал Мишо, подавая пакет.

— Хорошо. Отдай мне и скажи г. Глинскому, что я взялся доставить. Впрочем, я скажу, что сам...

С этими словами Дюбуа взял пакет и, прежде, нежели

¹ Матерь божья (фр.— Сост.).

изумленный Мишо мог что-нибудь выговорить, он вышел из ворот и был далеко на улице.

Это подало повод ко многим благочестивым догадкам мадам Урсулы, пока она поила кофеем болтливого Мишо.

Как велико было общее удивление, когда Дюбуа взошел в комнату раненого и когда гренадер узнал своего старого подполковника. Обрадованный Гравелль впервые только мог излить всю полноту своего сердца с таким же ветераном, как сам, и, наконец, рассказать — каким образом русский офицер возвратил ему жизнь, и как графиня де Серваль заботилась о нем, доставляя малейшие потребности.

Хозяйка распечатала пакет, в нем была фланелевая рубашка, и Дюбуа, который все еще подозревал какую-нибудь любовную шалость, убедился в сердце Глинского. Дав слово навещать больного, он ушел от него, унося в сердце теплое чувство, которое рождается в честном человеке, ежели он видит счастье своих ближних или благородное действие там, где думал найти одно заблуждение.

ЧАСТЬ II

ГЛАВА I

Пословица говорит правду, что скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, так точно и с нашею повестью: было уже почти два месяца, как Глинский вступил под гостеприимный кров маркиза, как он дышал очарованною атмосферою, которая окружала милую графиню Эмилию и которая глубже и глубже проникала в состав его; душа графини, ее характер, оригинальный образ мыслей разливали какую-то благотворную теплоту на всех обращающийся около этого солнца, больше всех чувствовал, что он готов воспламениться каждую минуту — но к этому нужна была какая-нибудь посторонняя искра или толчок, могший еще более сблизить его с графинею; равным образом Эмилия с каждым днем открывала новые качества в русском юноше, и что сначала было только следствием любопытства, то сделалось теперь необходимостью участия, сверх того, она вызвалась руководить им; он так верно следовал ее советам.

Так точно передавал ей все свои впечатления, все последствия ее советов, что она каждое его слово, поступок, — каждый благородный порыв считала уже своею собственностью,

но не подозревала ничего за собою, не замечала, как собственное сердце перестало принадлежать ей самой.

Казалось, ничто не нарушало прежнего порядка вещей и каждый следовал своим привычкам; Клодина вертелась пуще прежнего с Глинским, но зато была скромнее с Шабанем, а графиня, несмотря что резвая кузина уже не говорила ей о русском, и что она сама почти не упоминала русскому о кухне, была уверена, что вертопрашество первой и угодливая резвость второго были следствием взаимной их склонности; если же темная мысль и рождалась в ее сердце, что она сама любит Глинского, то это было за Клодину, думала она. В такой странной и почти неестественной неподвижности были дела маленького общества в доме маркиза.

Было воскресенье. Маркиз по какому-то случаю давал в этот день большой обед. Глинский, исправив некоторые обязанности по службе, возвращался верхом домой. У самых ворот, на мраморном столбике сидела худо одетая и, по-видимому, больная женщина. Привратник, вышедший принять лошадей Глинского, с грубостью начал гнать ее прочь и она, не говоря ни слова, встала и хотела идти, но слабость ее так была велика, что она, покачнувшись, должна была опереться о стену.

— Не тронь ее, Базиль,— сказал Глинский,— она нездорова.

— Есть здесь всякой дряни,— отвечал Базиль,— им только позволь тут останавливаться, так неловко будет проезжать в ворота.

— Скажи мне, бедная женщина, что с тобою сделалось?— спросил Глинский, подошед к больной.

— Я больна уже несколько месяцев,— отвечала она,— и сегодня с раннего утра далеко ходила.— С этими словами бледность ее увеличилась, она бы упала, если бы Глинский не взял ее за руку и не отвел в каморку придверника.— Не сердись, Базиль,— говорил он,— мы с тобой можем также быть несчастливы.— Привратник нахмурил брови и шел сзади Глинского, качая головою.

Больную посадили, дали ей рюмку вина: оно видимо ее укрепило. Это была женщина лет 30, довольно приятной наружности, но болезнь, нищета и неопрятность одежды много ее обезобразили.

— Где ты живешь?— спросил у нее с участием Глинский. Больная назвала ему улицу и номер дома.

— Есть ли у тебя муж?

Она отвечала отрицательно.

— Дети?

— Трое, — сказала она с тяжелым вздохом.

— Почему ты вздыхаешь, добрая женщина?

— Потому, — сказала она, помолчав немного, — что я должна прийти к ним с пустыми руками, — а они... они уже другой день сидят без хлеба!

Глинский содрогнулся.

— Базиль, — сказал он, — позови сюда фиакр. Отчего же я вижу тебя в таком положении, — продолжал он, расспрашивая больную.

— Я вдова портного; он оставил мне только долги, которые надобно было платить; несколько человек остались должны и ему, но комиссары отняли у меня все имущество прежде, нежели я могла получить копейку долгу. Я сделалась больна, не могла работать, скоро должна была продать последнее, а сегодня решилась снова побывать у одного должника, но напрасно!

Глинский уже готов был посадить бедную женщину в приведенный фиакр и сесть вместе, чтоб везти ее домой, как вдруг застучали колеса и графинина коляска подъехала к воротам.

— Что это за фиакр? — спросила она Базиля.

Придверник рассказал ей с неудовольствием, что Глинский велел нанять его для какой-то нищей. Эмилия выскочила из коляски и вбежала в комнату придверника. Глинский оторопел, увидев ее, и на вопрос, что это за женщина, рассказал в коротких словах ее историю.

— Что же вы намерены делать? — спросила Эмилия.

— Я хотел отвезти ее домой и пособить, как могу.

Графиня в нерешительности боролась со своими чувствами, но верная правилу, чтоб не показывать наружно никаких признаков происходящего в сердце, сказала потихоньку Глинскому:

— Вы иностранец; здесь много притворной нищеты, живущей легковерию добрых сердец: вы увлеклись горячностью вашей. Позвольте мне с холодным моим рассудком расспросить эту женщину.

— Но, графиня, она два дня ничего не ела!

Эмилия поспешно оборотилась к больной и что-то тихо с нею говорила. Глинский в это время, сжимая в кармане кошелек, с нетерпением ожидал конца этой сцены.

Графиня стояла к нему спиною и, как она ни старалась, чтоб ее движения были не видны, однако, заметно было, что она чего-то искала в своем ридикюле и не нашла, потом, в за-

мешательстве оглядываясь на стороны, сняла что-то с шеи и отдала бедной женщине украдкой — после чего с краской на лице оборотилась к Глинскому и, принимая на себя равнодушный вид, сказала:

— Вы очень хорошо сделали, что велели нанять фиакр. Мой слуга отвезет эту женщину и посмотрит, точно ли она нуждается в помощи — и если в самом деле она говорит правду, — я обещала ей помочь... теперь пойдемте наверх, Глинский, — продолжала графиня, сделав на ухо приказания своему слуге.

Глинский с некоторою досадою выпустил кошелек из руки и подал его графине.

— Надобно быть очень осторожным в Париже, — говорила Эмилия, идучи по двору и вертя своим ридикюлем. — Где вы сегодня были, Глинский? — продолжала она с притворною беспечною, стараясь переменить разговор.

Глинский был в странном положении: ему помешали оказать помощь; графиня, по-видимому, так холодно приняла участие в этой женщине; он не знал, что думать о характере прекрасной Эмилии.

Он коротко отвечал на вопрос и, проведя ее в комнаты, извинился, вышел на двор и, видя нерасседланную лошадь, которую проваживали кругом, вскочил в стремя, дал шпоры и поскакал в дом несчастной больной, которую графиня, так сказать, вырвала из его рук. Он скоро нагнал фиакр; видел, как он останавливался в разных местах, как слуга выходил и чрез несколько минут являлся с корзиной или связкой, или бутылками. Глинский следил их и, когда слуга проводил больную в дом, он отыскал под самую кровлю жилище этой женщины; здесь увидел он такое позорище, которое возмутило его душу, еще не привыкшую к бедствиям человечества, он остался тут один, отослал слугу, взявшись вместо его дать отчет графине в ее поручении, и когда увидел, что его помощь не нужна более, отправился домой, полный горестных впечатлений, им полученных, и представляя себе виденную им картину.

Мы сказали уже, что маркиз в этот день давал большой обед, и потому графиня Эмилия, окончив свой туалет, явилась в гостиную, где уже собрались все домашние и в том числе Глинский. Она вошла в то самое время, когда его спрашивали о некоторых подробностях, откуда взялась больная женщина, потому что это происшествие сделалось известным всему дому.

После нескольких слов, сказанных отцу и кузине, Эмилия

обратилась к Глинскому — и с притворною холодностью спросила, не видал ли он слуги, посланного с больною?

Глинский ожидал этого: скрывая внутреннее движение, он хотел отплатить графине за ее холодность, и начал рассказ в том же тоне, по не выдержал, и на середине слова его были так же горячи, как и чувства, их внушавшие.

— Видал, графиня, — начал он, — Этьен поручил рассказать вам, что там нашел. Когда он привез эту больную женщину и проводил на чердак, где она живет, то увидел трех маленьких детей, которые, свернувшись клубком, лежали в кучке на соломе. Двое вскочили к ней навстречу и детскими криками выражали свою радость, когда она поставила на столе привезенное с собою кушанье. Она подошла к третьему: это был больной ребенок. Представьте ужас матери, когда увидела она, что дитя было мертво и уже охолодело!..

— Мертвое дитя! — вскричали все слушатели Глинского, не исключая Эмилии.

— С пронзительным криком она бросилась на мертвое тело, называла по имени, трясла его, как бы желая разбудить... Дети кричали вместе с нею. «Маменька, — твердили они, — не буди Лизы, она заснула; она недавно просила нас согреть ее и мы легли к ней, — нам было жарко, маменька, только Лиза, как засыпала, все холодела, да холодела», — говорил старший. «Она недавно уснула, маменька, ты сама бранишь нас, когда мы кричим — не буди Лизы», — повторял другой...

— Потрудитесь, Шабань, задернуть занавес, — сказала Эмилия перерывчиво, — этот свет прямо в глаза...

Но прежде, нежели занавес бросил тень на лицо Эмилии, Глинский увидел слезу, блеснувшую на ее ресницах.

— Что же она?.. что эта бедная женщина, — говорили маркиза и муж ее. Шабань стоял, нахмурясь и крутя свои крошечные усы, у де Фонсек выступили слезы.

— Этьен хотел утешить ее, но она не слушала его слов, сидела с остановившимися глазами, как статуя, только по тяжелому дыханию видна была ее жестокая горечь. «Если она заплачет, — думал Этьен, — ей будет легче, если заговорит о дочери, ей будет легче вдвое», — он попал на счастливую мысль. «Какое прекрасное дитя!», — сказал он. Слезы матери полились. Она схватила бездушный труп и целовала голову, щеки и руки. «Ах! вы не знали ее живую!» — промолвила она, приводя в порядок бедные лоскутья на ней и приглаживая волосы на голове, чтоб показать ее в лучшем виде: — «Вот так, друг мой, ты всегда любила так носить волосы... Вы не видали ее глаз. Дай мне, друг мой, взглянуть еще на гла-

за твои», — она подымала опавшие веки, целовала их и продолжала: «Этот ротик улыбался так приятно — у нее зубки были беленькие, как у мышки». Говоря это, она называла ее всеми именами, какие материнская нежность может придумать, твердила раздирающие сердце ласки, точно как говорила бы их живой. Этьен дал ей волю и, когда горесть матери стала спокойнее, он уговорил ее подкрепиться пищею. Она взяла кусочек пирога, молча села на кровать, взяла руку дочери и в рассеянии протянула к ней кусок, как будто рука эта могла принять его, потом поднесла ко рту — и залилась опять слезами... «Я делила с ней каждый кусок!» — сказала она...

Все были тронуты. Глинский прервал свой рассказ — голос изменил ему; графиня не примечала, как слезы капали на платок, из коего она вертела между пальцами разные фигуры, как будто это очень ее занимало.

В сию минуту вошел Дюбуа и удивился положению, в котором застал все общество. Молча сел он, осматривая с удивлением каждого из собеседников. Эмилия, чтоб скрыть замешательство, села к фортепиано, прелюдировала, брала аккорды, импровизировала без порядка, наконец, не прерывая игры, первая прервала общее молчание вопросом: что же, М. Glinski, как осталась больная?

— Все, что знаю, — отвечал он. — Этьен был уже с лекарем. Завтра, может быть, узнаем что-нибудь более.

Дюбуа обратился потихоньку к Глинскому, чтоб он рассказал ему, в чем было дело. Глинский повторил свой рассказ. Маркиз с маркизою толковали, как часто случаются в Париже примеры, что люди умирают с голоду и без помощи; Шабань, желая развеселить свою кузину, говорил ей:

— Этот Глинский такое поселил в нас участие к своей больной, что если она умрет, мы непременно наденем траур. Ах, та *cousine!* как должно идти к вам черное платье!.. посмотрите, как хороша в нем Эмилия!.. но я желаю, чтоб не более как по этому случаю видеть вас в трауре...

— *Fi donc!* Шабань! *Fi!*... — говорила Клодина, — как вам не стыдно смеяться в то время, когда все мы так глубоко тронуты!.. и для того, чтоб сказать мне комплимент в желании вашем, вы играете жизнью людей... как будто... как будто у вас злое сердце... я теряю надежду исправить вас...

— Это оттого, кузина, что я не рожден для печали; оттого, что в каждом горе я ищу какой-нибудь придирки, чтобы повеселиться. Мое горе особенного рода — вы плачете, а я пою...

— Нет, Шабань, вы чувствуете всякое горе наравне с другими, но ваш ветреный характер не может останавливаться долго на одном предмете... как хорош этот вальс Глинского, что играет Эмилия!.. Я вам повторю беспрестанно: вы не можете говорить даже о важной вещи, чтобы каждая безделица не развлекла вас... пойдите в ту залу и сделаем круга два вальса под эту музыку... и потому, Шабань, какое же обеспечение дадите вы в ваших чувствах, когда слова ваши, выражая их...— Они начали вертеться, и Клодина продолжала:— Если чувства ваши так же переменчивы, как слова, кто же будет вам верить?.. не подпрыгивайте в вальсе, Шабань; Глицкий говорит, что это наша дурная французская привычка...

В эту минуту растворилась из передней дверь и вертящаяся пара едва не спибла с ног напудренную фигуру в черном фраке и с шляпой подмышкой. Эта фигура сделала несколько прыжков в сторону, и, поклонясь изумленным юношам, которые в стыде извинились перед ним, пошла по зале на цыпочках, кошачьей походкой, вертя хвостом своего фрака, в то время как лакей, стоя в дверях, провозглашал во весь голос:

— Маркиз де Пла-Пантен!..

Хозяин и хозяйка вышли навстречу знатному гостю и осыпали его приветствиями.

— Он сделал настоящее *entrechat*¹,— сказал, смеючись, Шабань.

Гости один за другим начали съезжаться. Разговор начался и прерывался при громких звуках имен маркизов, графов, виконтов и других роялистов, стекавшихся в это время в Париж со всех четырех сторон света.

С начала обеда, как и всегда это бывает, за столом царствовала тишина, нарушаемая стуком ложек и вилок по тарелкам и перерываемая изредка полувнятными вопросами, которые делали соседи друг другу об имени того или другого собеседника. Глинский сидел между Дюбуа и каким-то неизвестным человеком; против него была графиня Эмилия, подле нее по одну сторону резвушка де Фонсек, по другую маркиз де Пла-Пантен.

— Его величество король,— говорил Эмилии маркиз де Пла-Пантен,— приказал сказать вам, графиня, что он ожидает того времени, когда вы украсите вашим присутствием двор его. Ему будет приятно видеть дочь столь верного подданного, как маркиз. Для нас, придворных,— продолжал он с уклон-

¹ антраша (фр.— Сост.).

кою головы, — будет праздником тот день, когда вы снимете траур, но я боюсь, чтоб этот же день для многих наших дам не был днем печали.

Эмилия сухо поклонилась за комплимент и отвечала «что по окончании траура не забудет своего долга в изъявлении преданности за столь лестный отзыв о ее семействе».

Наконец, мало-помалу беседа стала оживляться. Сперва начались просьбы положить того или другого кушанья, которое стояло иногда далее, нежели желающий мог достать; потом подчивания вином; с ним шуточки, за ним частные фразы сделались связнее и вскоре все гости, увлекаемые неодолимою силою настоящих обстоятельств, вдалились в общий политический разговор. Хартия, которую Людовик готовился объявить, была поводом к рассуждениям в сенате, в народе и за каждым столом.

Графиня Эмилия, слышавшая предложение Глинского и видя, что Дюбуа сидит, в самом деле, очень угрюм, сказала первому: помните ли, Глинский, начало нашего знакомства, когда вы воскликнули: *vive Henri IV!* — я предлагаю всем господам тост за этого великого короля; надеюсь, что г. Дюбуа не откажется?..

— Никогда, графиня! — отвечал Дюбуа, кланяясь и поднимая к губам рюмку, — тем более, что этот государь сам умел завоевать свой трон и Париж.

— *Vive Henri IV! Vive Henri IV!* — кричали гости в позыве благочестивой набожности к королям, не предполагая никакой колкости в словах Дюбуа. Обед продолжался — различные здоровья предлагались.

— За здоровье союзных государей, — говорил один.

— За здоровье иностранцев, которые избавили Францию, — кричал другой.

— *Et qui forcèrent les Français à devenir heureux!*¹ — повторял с важным видом Шабань, пародируя этот Волтеров стих и делая знак глазами Дюбуа и Глинскому².

Наконец, изливание патриотических чувств умолкло. Отложив в сторону свои политические мнения, каждый француз становится любезен в обществе, и сколько устарелые эмигран-

¹ Да здравствует Генрих IV (фр. — *Sост.*).

² И которые принудили французов стать счастливыми (фр. — *Сост.*).

³ В первом издании «Генриады» Вольтера вместо нынешнего стиха: *et fut de ses sujets le vainqueur et le père* (и который был победителем и отцом своих подданных) сказано было — *et força les Français à devenir heureux!* (и принудил французов стать счастливыми).

ты могли казаться смешны в политическом мире своими до-революционными понятиями, столько же они были милы в обращении, оставшись представителями старинной учтивости и любезности французов, о которой так многие даже жалеют, но возвращения которой, однако, никто не желает. Разговор принял было новое, приятнейшее направление, но это было ненадолго, и сколько старая маркиза и графиня Эмилия с другими дамами ни старались поддержать беседу в этом расположении, когда разговор, проникая быстро с одного конца стола на другой, останавливался для того только, чтоб вызвать веселую шутку или острое слово — но настоящие происшествия явились опять на сцену. Один из гостей, рассказывая анекдот за анекдотом, наконец, дошел до отъезда Наполеона из Фонтенебло. Здесь каждый из собеседников спешил приобщить к общей материи все, что знал сам об этом предмете. Можно представить, что Наполеон не был пощажен при этом случае.

Обед кончился — все встали из-за стола и вышли в гостиную, но тот же разговор продолжался, везде составились кучки и та, которую занимал Наполеон, была многочисленнее других, потому что образовалась подле дивана, где сидели дамы. Дюбуа с Глинским случайно были в этой, хотя и не принимали участия, но Глинскому было любопытно слышать мнения и видеть людей, начавших играть такую важную роль во Франции, а Дюбуа полуусмешкой, худо прикрывавшей его негодование, стоял, потупя глаза и следя за всеми подробностями рассказа.

— Я вчерашний день имел счастье рассказывать его величеству, моему королю, — говорил маркиз Пла-Пантен, — анекдот, случившийся с Наполеоном недалеко от Валанса; вы знаете, с какою радостью многие из благонамеренных маршалов присоединились к временному правительству и приняли сторону короля. В этом числе был и благородный Ожеро, командовавший войсками на юге и который пожертвовал своими республиканскими правилами, как скоро узнал, что Франция вверяется своим законным государям. Он написал жестокую прокламацию против хищника! Была ли Наполеону известна его прокламация? не знаю: но когда он, путешествуя к месту своей ссылки, встретил Ожеро, то остановил свою карету и выскочил ему навстречу. Ожеро сделал то же, и оба в виду союзных комиссаров бросились в объятия друг к другу. Наполеон снял шляпу — Ожеро остался накрывшись. «Не ко двору ли ты едешь?», — спросил отставной император. «Нет, — отвечал маршал, — я пока еду в Лион». «Ты дурно

вел себя против меня», — и Ожеро, заметя, что Наполеон говорит ему ты, отвечал тем же. «На что ты жалуешься? — сказал он. — Не твое ли ненасытное самолюбие довело нас до этого положения; не всем ли ты пожертвовал ему? — не всем ли, даже и счастьем Франции? и потому не дивись, что мне до тебя мало надобности!» — Здесь Наполеон сухо поклонился маршалу и сел в карету.

— Что же сказал на это король? — спросил Дюбуа.

— Он не сказал ничего; но я прибавил, что г-н маршал поступил как патриот, как истинно благородный человек.

При этих словах Дюбуа не мог более воздерживать негодования. «Нет, государь мой, — сказал он с жаром, — этому благородному человеку так надобно было говорить в Тюльери — но в дороге на Эльбу такой поступок есть низкая наглость!»¹

Вся толпа как бы магическим действием отступила от Дюбуа — и в ту же минуту Глинский сделал к нему два шага. В благородных душах есть порывы, которые не подчиняются никаким расчетам. Спешить на помощь оставленному или обиженному есть внушение сердечного инстинкта, а не рассуждения.

Кто это такой? что это за человек? это наполеонист? это зараза! шептали между собою роялисты. «Какое благородство в поступках Глинского!» — говорила маркиза дочери, сидевшей подле нее и вспыхнувшей от удовольствия при безмолвном действии Глинского.

Эта сцена была прервана появлением слуги, который подошел к графине Эмилии, вслед за ним знакомый нам гренадер вступил в комнату на костылях и, неожиданно смущенный собранием, остановился в самых дверях с приложенною к киверу рукою. «Прошу извинить, прошу не беспокоиться, господа», — бормотал он, видя, что все взоры на него оборотились. Разговоры перестали; Эмилия встала и подошла к нему; Глинский обмер, увидя своего приятеля, и спешил спрятаться за гостей.

— Ты хотел меня видеть, любезный друг? какую ты имеешь надобность? — спросила графиня трепещущим голосом, увидев мундир полка, в котором командовал ее муж.

— Самую святую, самую необходимую, графиня, — отвечал гренадер, ища слов, как бы лучше выразить свои чувства: — я притаился на этих костылях, чтоб благодарить вас за благодеяния и за остаток этой жизни, которою вам обязан.

¹ Этот анекдот есть и у Бурьеня от слова до слова.

— Каким образом, друг мой? я ничего не знаю.

— Я Матвей Гравелль, гренадер 34-го полка, теперь, конечно, знаете, графиня?

— Еще менее, чем прежде!..

Удивленный гренадер отступил на шаг и не знал, что сказать более.

— Я Матвей Гравелль,— повторил он,— гренадер 34-го, я служил в полку супруга вашего и здесь, в Париже, по вашей милости мне возвращены жизнь и здоровье.

— Ты служил в полку моего мужа?— ты ранен? сядь, добрый солдат.— Графиня взяла его за руку и подвела к столу.

— Так, так,— бормотал тронутый Гравелль,— он правду сказал, что вы не хотите, чтоб другой помогал товарищу вашего супруга.

Но графиня не слыхала этих слов; она расспрашивала о графе де Сервале, и, прерывая слезами слова свои, забыла, зачем пришел к ней Гравелль. Добрый гренадер описал со всеми подробностями Дрезденскую битву и смерть храброго своего начальника. Маркиз и маркиза, боясь последствий столь неожиданного появления и рассказов того, о чем они всегда боялись произнести слово, хотели увести Эмилию, но это было напрасно. По счастью, гренадер развлек ее горесть, начав благодарить снова за возвращение ему жизни.

— Но каким образом я возвратила тебе жизнь, добрый человек,— сказала Эмилия,— я этого никак не могу постигнуть.

— Как же, графиня, не вы ли два почти месяца заботились о том, чтобы меня посещал лекарь, платите на мою квартиру и присмотр и наделяете меня всем сверх моей надобности.

Эмилия, смотря на него в удивлении, качала головою.

— Помилуйте, графиня! мне все рассказал г. поручик. Он говорил, что вы никак не хотите, чтоб чужой человек помогал сослуживцу и товарищу вашего мужа; он поручился честью, графиня, что вы это сказали, и я, в надежде на это, собравшись с первыми силами, прибрел сюда, чтоб исполнить долг честного человека и поблагодарить вас.

Любопытство собрало всех собеседников в кружки около солдата. Все, слушая, ожидали развязки.

— Но кто же этот г. поручик?— спросила Эмилия.

— Русский офицер.— Тут француз к общему удовольствию начал переименовывать фамилию Серебрякова, сказанную ему Глинским; наконец, остановился на том, что ему показа-

лось ближе к правде: *célébre coffre*¹,— воскликнул он с восторгом.

— Я не знаю этого господина,— сказала Эмилия с удивлением,— и не желаю принимать на себя незаслуженной благодарности, ни похвалы за его поведение, но рада случаю, который мне доставил твое знакомство.

Гренадер стал в замешательстве, не ожидая такого оборота дела:

— Может быть, вы думаете, графиня, что я с какою-нибудь хитростью пришел к вам?..

— Графиня,— сказал Дюбуа, выступив из круга,— я могу сказать вам, что это значит. Г. Глинский сделал этот обман под чужим именем,— я это знал давно, но обманывался сам, думая, что вы точно помогаете этому человеку. Здравствуй, Гравелль,— прибавил он, подавая руку обрадованному солдату.

— Желаю здравствовать, г. подполковник!— изволите видеть, графиня, я знал, что говорю правду!..

Все обратились и искали взорами Глинского, но его уже не было. Громкий говор гостей разливался в похвалах русскому офицеру. Эмилия стояла, потупив глаза, против гренадера, который с детской радостью рассказывал, что сделал для него Глинский и как он с ним обращался.

— *Vive Dieu! c'est un brave garçon!*²— восклицал он,— как он славно обманул меня!— ну кто же думал, что он отpretся от доброго дела!..

После нескольких ласковых расспросов графини и других Гравелль подобрал свои костыли, приложил руку к киверу ва всему обществу, со словом: *Vive M-me la comtesse!*³ *vive le Russe!*⁴ поковылял вон из залы.

— За здоровье ваше и русского офицера,— сказал гренадер,— хоть я немного и сердит на г. поручика за то, что он сыграл со мной и с вами такую шутку.— Сказав это, он выпил и потом, вылив из рюмки последнюю каплю на ногу, схлебнул и ту, махнув рюмкой над головою и поклонясь снова всему обществу, со словом *Vive M-me la comtesse!*³ *vive le Russe!*⁴ поковылял вон из залы.

Этот случай был поводом к разговорам всего вечера, пока не стали разъезжаться гости. Мало-помалу церемониймей-

¹ Славный сундук (*фр.— Сост.*).

² Ей-богу! Он добрый малый! (*фр.— Сост.*).

³ Да здравствует госпожа графиня! (*фр.— Сост.*).

⁴ Да здравствует русский! (*фр.— Сост.*).

стер двора его величества остался один, наконец и тот пристился с хозяевами и, уходя, сказал с важным видом: «Я буду иметь честь сегодня же доставить большое развлечение его величеству, рассказав при дворе нынешний анекдот!..»

Эмилии живо представлялись картины целого дня: Глинский во всех видах и во всех формах являлся ей на первом плане, как говорят живописцы *en grandeur héroïque*¹ и во всем блеске и свежести красок ее пробужденного воображения. Образ этот, размножавшийся пред ее глазами, не мог быть фантазмагорического мечтою; он был действителен; все явления совершались в ее глазах, а различие положений, в которых она его рассматривала, было ничто иное, как только строгий разбор ее *холодного рассудка*. Надобно сказать, что этот разбор был в совершенную выгоду Глинского, и, несмотря на *холодность* рассуждения, как говорила графиня самой себе и другим, неприметно согревал ее сердце.

Подали чай; графиня посматривала на дверь, кого-то ожидая; маркиз и маркиза спрашивали, где Глинский; слуга был готов бежать за ним, как он вошел с Шабанем, который уговорил его явиться в гостиную.

После некоторых вопросов: почему он ушел так скоро после обеда; после неловких отговорок на нездоровье, занятия и тому подобное, бедный Глинский должен был вытерпеть то, чего он более всего боялся: разговор о его добром деле. Одна графиня не участвовала с другими, сидя в растворенных дверях балкона в сад и слушая издали похвалы молодому человеку; единственное участие с ее стороны состояло в том, что сердце ее билось быстрее обыкновенного при сих разговорах.

Наконец, Глинский освободился и сел подле Эмилии. Вечер был прекрасный, казалось, будто сквозь отворенную дверь наступающая ночь дышала прохладой и умолкающий Париж шептал своим отдаленным гулом и ропотом экипажей какое-то усладительное самозабвение. Эта природа, этот говор очаровательны и сладки для души, ищущей успокоения. Эмилия и Глинский долго молчали, наконец, первая, голосом, который, казалось, сливался с общей гармонией вечера, сказала:

— Какое вы странное имя выдумали для доброго гренадера! Кстати, Глинский, я до сих пор не знаю вашего крестного имени?

— Меня зовут Вадимом, графиня.

— Вадим! звучное и прекрасное имя! Бедному раненому

¹ В героическом величии (*фр.— Сост.*).

легче бы его выговаривать; но не довольно того, что вы обманули благодарность обязанного вам человека, вы хотели сделать меня участницею обмана. Вадим! Вадим, вы не имеете доверенности к своим друзьям!..

Графиня печально против воли обмолвилась именем Глинского, и если бы он взглянул на лицо ее, он бы даже в сумраке увидел краску, покрывшую щеки ее продолжительным румянцем; но он столько поражен был кротостью выговора, пленительным выражением голоса и более всего восклицанием имени, что мог только заметить собственное смущение, слышать биение собственного сердца.

— Глинский, для чего вы лишили меня удовольствия разделить с вами доброе дело?— сказала Эмилия, когда замешательство ее прошло.

Глинский, желая избегнуть этого разговора, шутливо отвечал:

— Я знал ваш характер, графиня! Вы с холодным рассудком стали бы удерживать меня; ваше состояние не позволило бы лично и подробно видеть крайнего положения раненого, и пока вы осведомлялись, этот добрый человек простился бы со светом.

Эмилия никак не полагала, что Глинскому известна вся история бедной женщины, а потому, невзирая на шутливый тон, с каким отвечал Глинский, она приняла это за наличные деньги и потому продолжала:

— Есть случаи, где самое благоразумие не велит медлить помощью. Раненый солдат совсем другое дело, нежели больная женщина, каких здесь, может быть, половина Парижа.

— Но, кажется, вы были тронуты положением этой бедной женщины.

— Нисколько.

— Право? а мне казалось, будто вы прослезились.

— Не думаю; а ежели слезы выступили у меня, то это нечто иное, как слабость нерв и это очень дурно — этому быть не должно!.. Однако, что сделалось с нашею больною, куда девался Этьен?

— Не знаю. Во время обеда кто-то вызвал его и я не видал его до сих пор.— Здесь Глинскому пришло в голову подшутить над графининым притворным равнодушием и потому он, помолчав немного, начал:

— В самом деле, здесь, в Париже, очень много плутовства. Не более часа назад у меня был один из товарищей и рассказывал, что утром он видел неприятную сцену, как тащили

одну женщину к полицейскому комиссару за продажу какого-то краденого бриллиантового крестика.

— Крестика?— воскликнула Эмилия,— она его не украла.

— Может ли это быть, графиня? откуда бедной женщине взять бриллианты? Товарищ мой рассказывал, как эта обманщица клялась всеми божбами, что этот крест ей дала какая-то знатная дама в своем доме вместо денег, когда узнала, что она нуждается в помощи. Она просила, чтобы отпустили ее к детям, умиравшим с голоду, и рассказывала еще множество подобных бредней. Но вы сами судите, графиня, кто этому поверит? какая знатная дама в своем доме не найдет столько денег, чтобы помочь нищей, и станет снимать с себя крест?..

— Бога ради, пошлите!.. поезжайте сами, помогите этой женщине,— говорила Эмилия, вскочив со стула.

— Рассудите, графиня, как помогать воровке?..

— Она не воровка! Она честная женщина, я ручаюсь за нее,— поезжайте, Глинский!

Глинский не мог воздержаться своей усмешки и восхищения.

— Успокойтесь, графиня. Я только желал испытать ваше хладнокровие — это шутка, но которая могла бы сделаться печальною истиною, если бы я не поспешил взять у этой женщины вашего крестика, который вы давеча дали ей.— Графиня! я предложу теперь ваш же вопрос: для чего лишили вы меня удовольствия разделить с вами доброе дело? и, чтобы не открыть передо мной прекрасной души вашей, дали такую вещь, которая вместо помощи могла бы сделать ей несчастье?— С этими словами Глинский протянул руку с крестиком к Эмилии.

Эмилия долго стояла перед ним, потупя наполненные слезами глаза; наконец, не подымая их и подав ему руку, сказала: помиритесь, Вадим?..

— Эмилия!— воскликнул Глинский, держа крестик левою рукою и протягивая правую:— Эмилия!..— он хотел говорить еще, но графиня, сжав ему руку, исчезла.

ГЛАВА II

Союзникам наступало время оставить Францию, где новый порядок вещей уже утвердился и где, казалось, спокойствие сильными потрясениями восстановилось. Такова, по крайней мере, была наружность этого волкана, называемого Франци-

его, но влутренность его скрывала противное. В Париже, бывшем всегда представителем целого государства, уже гнездились зародыши новых бурь, новых бедствий. Восстановление Бурбонов, которое сначала казалось способом примирения всех партий, принесло с собою множество злоупотреблений — и одно из величайших: призвание эмигрантов. Все люди, созданные Наполеоном, заслуги, оказанные империи, стали ничтожны пред эмигрантами, которых невознаградимое достоинство состояло в бегстве из отечества, приписанном теперь усердию и верности к бурбонскому дому. Французы должны были платить тому, кто имел что-нибудь до революции; доставлять выгодное место, кто не имел ничего; уступать начальство, кто сохранил какое-нибудь обветшалое дореволюционное звание в войсках или во флоте и отдавать старшинство таким, которые, вместо кровавой и славной службы, вменяли в заслугу пред отечеством постыдное пресмыкательство по чужим краям, где они проклинали Францию и французоз; все государственные места и должности были отданы титулам и родословным; ничтожество заступило место дарования и место опытности. Казалось, что министерство Блакаса и его клеветников с своей стороны употребляло все, чтобы уронить во мнении народном новое правительство и развернуть сожаление о старом. Налоги увеличились; издержки двора превосходили меру; награждения сыпались на грязь мимо талантов и достоинства; гвардия была сменена швейцарцами, крест Почетного легиона, священное украшение любимцев славы, раздавался без всякой заслуги полными пригоршнями в унижение целой армии, где старики эмигранты или дети их заменяли начальство наполеоновых ветеранов. Можно судить после сего о духе и чувствах армии. Всем известен ответ солдат, которые при вопросе: довольны ли они новыми начальниками, отвечали: oui, oui, ils sont tres bien, tres gentils; mais quand nous aurons de la guerre, nous esperons q'ont nous donnera d'autres¹.

Такое положение дел более и более возбуждало общее неудовольствие, даже охлаждало самых жарких приверженцев восстановления, которые, не имея счастья принадлежать к сословию эмигрантов, обманулись в своих ожиданиях. Нечего говорить о тех, которые думали воцарением Бурбонов доставить Франции счастье и спокойствие в свободных постановлениях благоразумной хартии. Общие надежды были об-

¹ Да, да, они очень хороши, но мы надеемся, что во время войны нам дадут других.

мануты — и прежде, нежели можно было ожидать и приметить, даже во время присутствия союзников, старинные партии соединялись под свои знамена — и под шум праздников беспечного правительства приготавливали втайне орудия к новым переменам.

Мы видели, к какой партии принадлежал Дюбуа. Глинский как юноша, как энтузиаст привязан душою к славе Наполеоной, и потому мудрено ли, что беседа с Дюбуа была ему самою приятною; мудрено ли, что последний, находивший наслаждение говорить о своем герое, нашед поклонника великих подвигов и гения Наполеонова, видя превосходные качества молодого человека и уступая естественной склонности любить тех, которые нас любят — несмотря на отказ в дружбе, сблизился с ним, и часто раскрывал ему, если не свои тайны, по крайней мере, образ своих мыслей. Но, мало-помалу, Дюбуа стал чаще отлучаться; забота и задумчивость явственнее выражались на его лице; Глинский реже мог заставить его дома и напрасно хотел проникнуть причину скорби человека, которого он начал почитать душевно. Дюбуа и прежде был ни очень молчалив, ни очень разговорчив, но теперь он реже говорил с самим Глинским, с которым охотнее делил время. Впрочем, это не имело вида скрытности, и Глинский только мог жаловаться на недостаток случаев.

Русские войска, простояв два месяца в Париже, готовились к выступлению. Глинский начал задумываться; чем чаще и ближе он видел графиню, тем робче становился, а случаи видеть ее ближе и чаще наполняли почти все существование молодого человека.

С возвращением Бурбонов приверженцы их восстановлены были в прежних правах; маркиз, который и без того почти не бывал дома, получил место при дворе, а маркиза была приглашена посещать дворец и ездила туда почти ежедневно. Кроме того, что последняя всегда заботилась о Глинском, как о сыне, осведомлялась о малейших его нуждах, дружба ее и уважение со времени происшествия раненого гренадера стала неограниченна. Казалось, она замечала склонность Глинского и это ей не было противно. И так он почти беспрестанно был с Эмилией; они гуляли в саду, они читали вместе, и как траур графини не позволял ей никуда выезжать, то день с утра до вечера проходил, не разлучая ни на минуту двух друзей, как говорила Эмилия. Сверх того, привлекательная Клодина реже вертелась с Глинским, реже говорила о нем своей кузине, но зато чаще задумывалась, и как настоящее время было богато новыми театральными произведениями, то Шабань беспрес-

танно доставлял новую музыку; эту музыку надобно было разыгрывать, петь; фортепиано стояло подле комнаты, где обыкновенно сживало все семейство, и потому Глинский с Эмилией почти всегда оставались одни.

Несмотря на это, молодой человек, как мы сказали выше, становился робче, и чем ближе подходила пора разлуки, тем труднее ему было открыться в своих чувствах. Он знал любовь только из романов, где она начинается со вздохов, питается пламенными разговорами, объясняется на коленях и запечатлевается взаимными клятвами. Но здесь все было напротив: графиня была очень проста в обращении, она не вздыхала; чуждая всякого кокетства, она не любила никаких нежностей, которые при ней замирали на губах каждого или принимались ею очень холодно. Глинский несколько раз желал привести разговор к тому, чтоб можно было выразить свои ощущения: но Эмилия смеялась над всякою сентиментальностию, ежели он, увлекаемый пылкостью характера, вдавался в область романических мечтаний. Не менее того, дружба ее к нему увеличивалась; даже нежные и короткие названия друг друга по именам не страшили более ни Эмилии, ни Глинского; взаимная доверенность не оставляла ничего скрытного в их помышлениях и поступках, но все это было не более, как дружба для Глинского, и сколько это чувство прежде казалось ему лестно, столько теперь оно было для него холодно; так что при одном слове дружбы он вздрагивал невольно.

В один из таких часов, когда Глинский, задумавшись, мечтал о своей любви, о счастье соединения с графиней, о невозможностях и препятствиях, окружавших со всех сторон его несчастную страсть и, наконец, о близкой разлуке, явился к нему Дюбуа. Это обрадовало Глинского; он вскочил с софы, где лежал он в татарском халате, и подал гостю руку.

— Какие вы странные люди, г-да русские, — сказал, смеючись, Дюбуа, — я не понимаю в вас соединения живости, деятельности, неутомимости в трудах военной жизни, с беспечностью, даже ленью, ежели служба вас не требует. Я знавал в прежние мои походы много русских пленных, которые, доказав на опыте, как много могут перенести в нужде, оставались недвижимы, нежась по целым неделям на диване и куря табак. Видя их в этом положении, никто бы не поверил, что они способны ко всем лишениям.

— Это еще остаток наших азиатских привычек; впрочем, я не следую им и ежели вы застали меня лежащего, я нахожу это положение всего приличнее, когда голова полна мыслей или сердце щемит от грусти. Это бывает тогда, как я один: но

всякая нега чужда мне, как скоро могу с кем-нибудь разделить свои ощущения. Вы нас почти оставили, г. Дюбуа, даже за обедом редко вас видно.

— У меня есть дела, которые требуют неослабной деятельности. Сверх того, вы видите, какие люди ныне посещают дом маркиза. Молчать я не могу; накликать неудовольствий не хочу, и потому за лучшее считаю удаляться.

— Но, удаляясь от них, лишаете и друзей ваших удовольствия видеть вас. Что я говорю, друзей! вы не ждете их иметь, г. Дюбуа! вы ничего не хотите делать с теми, кто нуждается в вашей дружбе!

Дюбуа приметно был тронут упреком, он видел положение юноши: но, как бы страшась его откровенности, после минутной борьбы он отвечал:

— Не сердитесь на меня, Глинский. Повторю, что я желал бы истребить из своего сердца и прежние впечатления. Я как пловец, который, осмеливаясь переплыть быстрину, не только должен сбросить с себя всякую тяжесть, но даже последнюю и одежду, чтобы легче достигнуть желаемого берега. Как же ему думать о том, чтоб возложить на себя новое бремя...

— Я не спрошу вас, куда вы намерены плыть, но желал бы охотно стеречь то, что вы оставите на берегу,— сказал шуточно Глинский.

— Всего менее вам желал бы я навязать какую-нибудь заботу. Что же до плаванья: что жизнь моя и прежде была исполнена трудностей, а теперь, в эту политическую бурю, без солища, закатившегося за морем, она состоит из беспрестанных опасностей, тем более, что я не доверяю ни одному из ложных маяков, светящих теперь на нашем горизонте.

— Странно, что вы видите бурю там, где другие видят ее конец. Мне кажется, Дюбуа, что в ваших словах есть какой-то отпечаток мизантропии,— сказал Глинский, усмехаясь.— Неужели поводом к ней могут служить одни только нынешние обстоятельства вашего отечества или это чувство давно свойственно характеру вашему.

Дюбуа улыбнулся и отвечал:

— Это не мизантропия. Это, может быть, брюзжание старости, которой всегда кажется настоящее хуже прошедшего. Молодые люди говорят о том, что намерены делать взрослые, что делают, а старики — что делали: и чтоб вы не осуждали меня в скрытности, я расскажу вам некоторые черты моей жизни, образовавшей мой характер.

Глинский, обрадованный доверенностью уважаемого им человека, уселся спокойно в уголок дивана; Дюбуа ходил взад

и вперед по комнате. День уже вечерел; становилось темно и слуга хотел подавать свечи, но Дюбуа остановил его.

— Сумерки летнего вечера, — говорит он, — располагают к искренности; я люблю эту пору, когда шумный день проходит, когда чувства наши отдыхают и воображение, неразвлекаемое окружающими предметами, становится живее. День топит нас в волнах своего света, в океане людей и сует, сумерки прогоняют заботы. День уходит от них с докучною своею свитою; мы останемся одни, и — сдавленная грудь дышит свободнее. Давно, Глинский, давно я не пользовался удовольствиями сумерек! — теперь послушайте.

Я говорил вам, что начало моей жизни посвящено было художествам, но что слава увлекла меня под свои знамена. Не буду рассказывать, как и почему вся армия почитала Наполеона полубогом; почему я вместе с другими разделял это пристрастие; скажу только про случай, который познакомил меня с ним и заставил привязаться к нему душою. В Иенском деле я был уже капитаном, адъютантом у Нея. Меня послали с донесением, что значительная батарея, защищавшая наш фланг, взята неприятелем. Ней требовал подкрепления.

«Молодой человек, — сказал мне Наполеон, — возьмите эту батарею назад, это будет подкреплением вашему Маршалу». Восхищенный таким поручением, я исполнил приказание; сражение было выиграно и Наполеон на поле битвы сам надел на меня крест Почетного легиона и оставил меня при своем штабе, и с этой минуты жизнь моя была посвящена этому необыкновенному человеку.

Наступил мир. Занесенный мощною рукою Наполеона в круг высшего сословия, увидел я собственное ничтожество: на войне храбрость дает первенство — мир требует других достоинств. Я был беден, чин мой ничего не значил, воспитание было небрежно; а в свете богатство, чины и познания играют важные роли. Я видел людей, которые ослепляли и изумляли меня; это были мои идеалы — к ним желал я подойти, к ним приблизиться. С какою завистью смотрел я на их успехи в свете, с каким подобострастием слушал их оракулы; в одном я видел глубокую ученость, в другом римский характер, в третьем все добродетели. Я употребил невероятные усилия, посвятил себя совершенно учению; честолюбие подстрекало меня, и несколько лет чтения, наблюдений и размышления развернули мои способности. Мало-помалу, я стал видеть яснее меня окружавшее, но с этим потерял способность удивляться прежним идеалам, восхищаться теми людь-

ми, пред которыми толпа курила жертвы: в светской учености я увидел одни брякушки; я узнал, что люди, которые считаются светом великими характерами, приобретают эту славу, тратя характер только на безделицы; но там, где настает нужда показать истинную твердость духа, они уклоняются, чтобы снова над мелочами высказывать пышные своей непоколебимости. Я разлюбил людей с так называемыми пылкими чувствами, которые вздымаются на ходули или становятся в театральную позицию, чтоб выразить эти чувства. Я видел, что всего легче прослыть нравственным человеком, осуждая чужие проступки и предписывая всем законы поведения, тогда как истинная добродетель — признавать собственные недостатки и оправдывать чужие — подвергается всесветному осуждению. Наконец, я испытал, как мало значат все публичные добродетели, которых достоинство состоит не в том, чтоб учить человека, что делать должно в каком-нибудь важном случае, но в том, что ему тут не делать и чего надобно избегать.

Поставленный обстоятельствами между таких людей и осужденный понимать их, я желал бы действовать невидимо и независимо: но участь общества такова, что столкновение необходимо. Я сказал, что я был беден: это останавливало меня на каждом шагу; мне надобно было искать, чтоб делать добро; употреблять невероятные усилия, чтоб только стать наряду с ничтожеством. Часто меня гнали; много я испытал ненависти; ни то ни другое не трогало меня: одно только глубоко язвило сердце мое, когда эти пустые и надутые люди удивлялись мне, если случалось сделать что-нибудь необыкновенное или показать особенное дарование, как будто бедный человек не может по природе, и не должен сметь по приличию показывать ни достоинств, ни дарований, которых они сами не смеют считать своим уделом. Как бы то ни было, я заставил уважать себя. Со всем тем, мне было скучно в большом свете и при дворе — я больше жил в поле, и хотя там есть своего рода интриги и обманы, но они обозначаются явственнее, на них указывают откровеннее и оплачивают им решительнее. Пороки и добродетели там положительны, тогда как в свете большая часть так называемых честных людей богаты только отрицательными добродетелями.

— Какими красками описываете вы людей, — сказал Глинский, — после этого не удивляюсь, что сделались ненавистником человеческого рода!..

— Ненавистником? — напротив. Я люблю людей, люблю общество. Ежели вижу их такими, это мне не мешает любить

их — знаю, что они иначе быть не могут. Ежели бы я, в самом деле, ненавидел их, болело ли бы у меня сердце при несчастиях французов? если б чувство ненависти могло вмещаться в душе моей, было ли бы в ней место для горячности, с какою люблю того, чье имя другие теперь не смеют произносить громко; искал ли бы дружбы с Деноном и братской связи с графом де Сервалем; мог ли бы привязаться к дому старика Бонжеленя, несмотря на различие наших мнений. Я уважаю характер маркиза, его постоянство, неизменчивое направление на политическом поприще и снисхожу даже его слабостям. Например — извините меня, Глинский, — я бы хотел, чтобы француз сохранял побольше достоинства в обращении с теми, которые силою предписали ему законы, — а он торжествует свое поражение. Но я вхожу в образ его мыслей, понимаю, и если не оправдываю, то не могу обвинять. Например: знаете ли, зачем, с какою просьбою от него пришел я к вам?

— Рад очень выполнить все, что могу.

— Маркиз и жена его просят вас доставить им случай быть завтра в вашей придворной церкви; они уговорили и графиню Эмилию завтра выехать впервые после шестимесячного ее траура.

Глинский вскочил от радости, что в состоянии будет доставить какое-нибудь удовольствие своим хозяевам.

— Скажите им, — говорил он, — что я сию же минуту еду доставать билеты; вы меня извините, г. Дюбуа, что я оставляю вас?..

Подали огня. Глинский торопился одеваться и, как обыкновенно случается, что торопливость худо помогает во всяком деле, то правый сапог надевался на левую ногу, пуговики были обстегнуты и шпага едва не осталась в том же углу, где она стояла.

— Мне, право, совестно, — говорил Глинский в то время, как Дюбуа с улыбкою смотрел на него, — что вы видите меня в такой суматохе. После нашего разговора я боюсь показать какую-нибудь слабую сторону моего характера!

— Не бойтесь; молодому человеку так и быть должно. Сверх того, за мое о вас мнение верною порукою наш разговор. Если бы это не была доверенность к человеку, мною уважаемому, если бы сердце не было согрето чувством признательности за ваше ко мне внимание, если бы я не отдавал справедливости даже тому, который принадлежит нации, неприязненной французам, то мои слова были бы только презренным болтаньем!..

Глинский обнял его с жаром. В эту минуту ему казалось,

что только любви графининой недостает для его полного счастья.

Он отправился в кабриолете.

«Прекрасный юноша! — думал Дюбуа, смотря ему вслед. — Жаль, что он русский! Каждый из союзников должен быть врагом моим, пока он на земле Франции — и если я уважаю этого — то потому, что он любит Наполеона... но он также любит и... Дюбуа! будь великодушен, забудь все... пожертвуй всяким посторонним чувством одной высокой мысли, которой ты обрек себя!..»

ГЛАВА III

Император Александр каждый праздник присутствовал в своей походной придворной церкви, устроенной в доме, так называемом: *garde meuble*¹. Любопытные парижане толпами собирались смотреть, как молится русский царь, и стечение их увеличивалось с каждым разом до такой степени, что сперва надобно было отворить ряд задних комнат для помещения посетителей; потом должно было пускать дам по билетам, а мужчинам позволено приезжать только в мундирах. — Весь парижский *beau-monde*² почитал обязанностью бывать у обедни, где, кроме новости видеть службу греческой церкви, слушать превосходных певчих, кроме удовольствия смотреть на прекрасного собой императора, присоединялись выгоды съезда лучшей публики и развлечения на несколько часов. — Все только и толковали, что о величии обряда, о пении, о красоте русского царя. Словом сказать, обедня сделалась самою модною вещью в Париже, и хозяевам Глинского надобно было видеть также царя у обедни.

Все заботы о российской армии и о дворе императора возложены были на князя Волконского; даже раздача билетов для входа в церковь производилась под его именем. Глинский отправился прямо к нему, велел о себе доложить, и когда князь позвал его, объявил о своем желании.

Соединение многих должностей за границею; непрерывное занятие по оным; мелочные подробности места начальника штаба с важною ответственностию за армию, стоящую в завоеванной земле, и заботы других обязанностей приближенного человека к императору в эту суматошливую эпоху

¹ для хранения мебели (*фр.* — *Сост.*).

² высший свет (*фр.* — *Сост.*).

положило отпечаток суровости на характер князя и даже вспыльчивости, когда похищали у него на пустыки драгоценное время.

Он вышел к Глинскому с нахмуренным лицом, и когда этот высказал свою просьбу, он вспылил.

— Я думал, милостивый государь, что вы пришли говорить о каком-нибудь нужном и важном деле, но что важно для вас, молодых людей, то может быть совсем не важно для меня. Г-да гвардейские офицеры думают, что весь свет обязан угождать вместе с ними их хорошеньким хозяевам. Триста билетов уже роздано; я не могу дать более ни одного и не могу терять на вздоры времени. — Он хлопнул дверью и ушел. Глинский отправился в большом горе.

Адъютант Волконского, встретивший Глинского, удивился его печальному виду. Глинский объявил свою неудачу.

— Князь правду сказал, — говорил адъютант, — что ты, почитая важною свою просьбу, хочешь, чтоб и другие также ее принимали. Если б ты мне прежде объявил свою нужду, я бы удовлетворил тебя без всяких хлопот и беспокойства самого князя. Но, впрочем, вот тебе билеты; желаю твоим хозяевам, а более прекрасной графине Эмилии, удовольствия.

Глинский был знаком со всем штабом; вся молодежь завидовала его квартире. Графиня де Серваль была предметом удивления всех гвардейских офицеров, которые имели случай когда-либо видеть ее.

Наступило воскресенье. В церкви русского императора собиралась публика. Дежурные гоф-фурьеры стояли в дверях и отбирали билеты, указывая каждому место: дамам направо, мужчинам по левую сторону. Маркиза Бонжелень с графиней Эмилией и Глинский со старым маркизом показались и жужжанье похвал следовало по всей левой стороне за графиней. Она в первый раз оставила свой траур и была в белом платье, но черный пояс показывал, что оно надето было только для этого дня. Князь Волконский, стоявший посредине в ожидании государя, развел морщины своих бровей, когда увидел графиню, и, взглянув с улыбкою на Глинского, проводил мать и дочь на первые места. Он, конечно, оправдывал вчерашнюю просьбу молодого человека, потому что подозревал своего адъютанта и расспросил подробно, кто были эти дамы.

Вскоре суеты в передних комнатах, появление флигель-адъютантов, генералов и придворных чиновников известили о прибытии императора. Он вошел в церковь в обыкновенном своем костюме, кавалергардском виц-мундире. Редко можно было видеть мужчину статнее и красивее; сверх того, он был

император, завоеватель и победитель, и потому не только женщины, которые с энтузиазмом смотрели на освободителя Европы, но даже мужчины отдавали ему полную справедливость. Он стал налево, помолился; сделал поклон на все стороны и обратил на несколько секунд лорнет на дам. Графиня де Серваль была против него.

Обедня началась, но набожность девяти десятых из присутствовавших подвержена была большому искушению. Русские были по должности, иностранцы из любопытства; обе половины, левая и правая наблюдали друг друга и взаимно засматривались на русского самодержца, который один набожно и скромно молился. Другой молившийся от искреннего сердца был старый хозяин Глинского. Когда певчие начинали петь, маркиз приходил в восторг, поднимал слезящиеся глаза к небу, колотил себя в грудь и вздыхал на всю церковь. Глинский также молился, но ему много было развлечения: всякий раз, как он поднимал глаза на алтарь — он видел Эмилию — и едва ли в это время он был хорошим христианином, ежели не совсем язычником.

При конце обедни император подозвал Волконского и тоже что-то расспрашивал; когда же служба отошла, священник по обычаю поднес императору на золотой тарелке просвиру. Александр подозвал маленького певчего и, дав ему нести за собою тарелку, подошел к графине де Серваль.

— Графиня, — сказал император, поклонившись с обыкновенною ему очаровательною улыбкою, — по нашему обычаю после обедни священник выносит хлеб, над коим совершалась служба, и отдает его первому лицу в церкви. Сегодня он сделал это по привычке, позвольте мне поправить его ошибку и предложить вам благословение нашей церкви.

Графиня не ожидала ни видеть так близко императора, ни слышать его лестного приветствия: она покраснела и сделалась еще прекраснее. Приняв из рук императора просвиру, она отвечала со скромностию:

— Бог всегда посылает это чрез своих благословенных; государь! но и люди также благословляют своих любимцев; счастлив тот, кто носит оба эти венца, потому что глас народа то же, что глас божий. — Александр, поклонившись за комплимент, простился с нею, и раскланявшись опять на все стороны, вышел из церкви, сопровождаемый свитою. Посетители начали разъезжаться; Глинский посадил в коляску своих хозяев и отправился с маркизом.

Кому не было дорого торжество любимой особы? Глинский был в восторге, и пока продолжалось передобеденное

время, он в нетерпении ходил взад и вперед по комнате, ожидая возможности поздравить графиню, потому что ему не удалось ей сказать и двух слов по выходе из церкви.

На графининой половине происходили другие сцены: все нянюшки и мамушки Габриелины ожидали приезда графини от обедни, чтобы как-нибудь услышать словцо о русском императоре. Знакомка наша Урсула, жена привратника, была в первом ряду любопытных. Вскормив свою грудью графиню, она осталась навсегда в доме и считала себя вправе часто навещать молочную дочку, говорить перед нею откровенно и даже лепетать всякую всячину.

Когда Эмилия вошла к себе и обняла Габриель; когда несколько домашних приказаний и вопросов было сделано, нетерпеливая Урсула завела речь о предмете своего любопытства и стала расспрашивать графиню, которая, снисходя старой своей мамке с детскою добротою, рассказала ей все обряды, каким она была свидетельницею; описала ей русского царя; но вопросам Урсулы не было конца: она хотела знать, как русские молятся, как понимает бог, что говорят они ему на варварском своем языке; и как можно быть священником с бородою?

Мало-помалу, однако же, вопросы сделались реже, зато словоохотная мамка выступила сама на сцену: она судила и рядила Россию и царя, и веру; толковала о сегодняшнем утре, о маркизе отце и маркизе матери, о самой графине, о Глинском и вдруг имя сего последнего остановило весь поток ее красноречия,— она вдруг вскрикнула:

— Мати божия! мне еще надобно его видеть!— и, сделав шаг вперед, остановилась в нерешимости. Графиня, которая передевалась во все время ее болтанья и почти не слыхала ее разговоров, удивилась внезапному молчанию; точно так путешественник, убаюканный качанием кареты, просыпается, когда карета вдруг остановилась.

— Кого тебе надобно видеть?— спросила Эмилия.

— Нашего русского,— отвечала Урсула, попавшая опять на колесо болтовни от вопроса графини.— Видите ли, моя графиня, надобно сказать, что его требуют непременно и как можно скорее в улицу С. Дени № 64, за ним приходили в то время, как вы ездили. Да, я пойду,— нет, я еще не все у вас расспросила, графиня. Впрочем, не худое дело, он всегда поспеет.— Последние слова Урсула выговорила, значительно кивнув головою — и видя, что графиня ничего ей не отвечала, но устремила на нее вопросительный взор, она прибавила вполголоса:— Ведь он ходит давно туда, в улицу С. Дени

№ 64, к молоденькой вдовушке Казаль; недавно наш комисонер Мишо носил ей какой-то подарочек от г. офицера, он был запечатан в толстую бумагу — и если это была не шаль, то, наверное, платок, — я сама щупала, графиня, а сегодня эта самая вдовушка была у наших ворот и спрашивала Глинского; когда же я сказала, что его нет дома, то она куда как умильно просила, чтоб он приехал к ней и как можно скорее. Ну вот, я и думаю, графиня, что ему торопиться не для чего.

Эмилия в продолжение этого монолога испытывала самое неприятное чувство. Верила ли она сплетням Урсулы? — нет! — но и то уже было ей прискорбно, что могли говорить так о Глинском. Впрочем, подозрение есть такой тать, который приходит к нам нечаянно и похищает нашу доверенность прежде, нежели мы успеем принять какие-нибудь меры. Что ощущала в сии минуты Эмилия, нельзя еще объяснить: это чувство было темно, сбивчиво и неприятно по своей борьбе с теми убеждениями, какие мог представить рассудок. Не менее того, она чувствовала собственное достоинство и неприличность Урсулина рассказа.

— Урсула! — сказала она, — я запрещаю тебе говорить такие пустяки передо мною! Это ваши подворотные сплетни, — иди к г. Глинскому и объяви ему о поручении, тебе сделанном.

Бедная мамушка не ожидала выговора: она смешалась, видя, с каким неудовольствием графиня отвернулась от нее.

— Что же я сказала, графиня? — бормотала она, — я только повторила, что знают все в доме, от первого до последнего, сам г. Дюбуа *известен* об этом!

— Ступай же и делай свое дело! — повторила Эмилия.

Урсула пошла вон из комнаты тихой походкой, сморкаясь, кашляя и оглядываясь на все стороны, как обыкновенно делают люди, которые не знают, куда деваться, а для поддержания самостоятельности хотят показать, что несколько не потерялись.

Через несколько минут графиня видела, как подвели оседланную лошадь Глинскому, потом услышала топот, и когда взглянула в окно, то одни искры от подков, осветившие свод под воротами, засвидетельствовали поспешность, с какою поскакал Глинский.

Вздых вырвался из груди Эмилии.

Конечно, многим случалось иногда видеть, что делается с холодною водою, когда ею брызнут на красно-раскаленное железо: она дробится в шарики, которые прыгают, подска-

кивают, шипят и вертятся над железом, пока сильный жар огня отбрасывает их от раскаленной поверхности; но как скоро это железо потемнеет и начнет простывать, оно не отбрасывает более шариков; вода начинает превращаться в пары и в это время, но не ранее, способствует уже охлаждению железа.

Это состояние можно применить к душевному положению Эмилии. Если б она была хладнокровна к тому, что относилось до Глинского, то ей ближе всякого другого можно было отгадать или, лучше сказать, просто видеть, что значит рассказ Урсулы: Глинский несколько раз после сцены с гренадером рассказывал ей, где и у кого живет раненый Гравелль; но теперь, при возмущенном состоянии ее души, всего предшествовавшего уже не существовало, и гренадер с вдовою Казаль для нее были то же, что два антипода между собою.

Мы сказали, что Эмилия вздохнула: и это был первый вздох, он был тяжел, — хотя она не могла дать отчета в своих чувствах.

Глинский едва поспел к обеду, вид его был задумчив, речь рассеянна. Несколько приветствий, сказанных им графине о утренних сценах, получили холодные ответы и это его изумило. Эмилия сердилась на самое себя: несколько раз она хотела спросить молодого человека, где он был до обеда, но какая-то гордость заграждала ей уста; она продолжала молчать и, хотя ни в чем не могла еще обвинять Глинского, но приметное неудовольствие вырывалось против воли в ее ответах не только ему, но даже и другим гостям. Только маркиз и маркиза были веселы и не замечали происходившего в сердце дочери: они оба рассказывали и повторяли всем и каждому про русскую обедню и любезность царя с их дочерью; только Шабань и ветреная де Фонсек лепетали всякий вздор и занимали своих соседей. Дюбуа, заметив скучный вид Глинского и его позднее появление к обеду, спросил о причине и узнал, что бедный Гравелль сегодняшним утром едва не изощел кровью из раны, которая открылась от неосторожно сделанного усилия, и что посольство за Глинским было по этому случаю.

Как не было неприятно положение Глинского, однако, он должен был отвечать на многие вопросы маркиза и маркизы. Его расспрашивали обо всем дворе и свите императора Александра, начиная с князя Волконского до последнего из флигель-адъютантов, — и как маркиза принадлежала к знатнейшей аристократии из фамилии д'Аркур, принятой и ее мужем при женитьбе, следовательно, высоко ценила род и титул. Она

осведомлялась о роде каждого, кого именовал Глинский. Наконец, перебрав всех, она кстати вспомнила, что еще не однажды не расспрашивала самого Глинского о древности его фамилии.

Он улыбнулся насильно при ее вопросе.

— У нас в России, — сказал он, — мало дают цены родовым: Петр Великий показал дорогу для сравнения всех сословий одним только достоинством. Последний солдат может выслужиться до высших чинов, и первые князья и графы должны начинать службу с солдатского звания. Каждый чин приобретается заслугою. В доказательство того, как мало мы смотрим на родовые достоинства, я скажу вам, что дед мой, происходивший от владетельных князей Глинских, добровольно перестал называться князем, не имея никакого владения при титуле. Несмотря на это, отец мой, простой дворянин, был женат на дочери грузинского царя, — и опять, несмотря на это, сын его, царского рода, только поручик гвардии и то благодаря двум годам войны.

— Как! вы потомок царей грузинских?

— Да, маркиза.

— И владетельных князей русских?

— Точно так.

— Боже мой! и я ничего этого не знала!

— Потому, маркиза, что я не считал этого важным; я не хотел тщеславиться тем, что нисколько не уменьшает моих недостатков. Я даже не думаю, чтоб это могло придать мне цены в ваших глазах.

— Напрасно, князь Глинский, напрасно, — говорила наконец маркиза. — Я прежде сама предложила вам дружбу; теперь вы имеете полное право ее требовать.

— Бога ради! маркиза, не называйте меня князем! меня сочтут хвастуном, потому что более ста лет как мы не имеем этого титула. Я повторяю вам, что мое княжеское происхождение и грузинская царская кровь не имеют никакого значения ни в моих понятиях, ни в моих отношениях к обществу или дружбе.

— Нужды нет, нужды нет! тем более вам чести и тем более это имеет цены в глазах моих! — Маркиза замолчала, потом, вероятно, какая-нибудь приятная мысль представилась ее воображению, она взглянула на дочь, на Глинского — и улыбнулась.

Графиня Эмилия, которая показывала, будто не слушает их разговора, заметила, однако же, последнее движение маркизы, невольно последовала взорами за ее глазами, и когда

угадала мысль матери, когда при этом сознании встретила глаза Глинского, на лице ее изобразилось удивление нечаянности и с ним нечто гордое.

Бедный юноша побледнел. Он закрыл глаза, чтоб не видеть более этого выражения. Стиснув зубы, он крепился, чтоб не дать воли слезам, которые готовы были выкатиться.

Когда первое движение прошло, молодой человек начал придумывать причину холодности ответов и непонятного поведения графини. Наконец, он думал, что ошибается и старался снова завязать с Эмилией разговор, в котором мог бы найти разгадку жестокой для него тайны, старался не замечать и не принимать в дурную сторону ее слов, но, чем более он казался невнимательным к тону графининых ответов, тем более смущение его увеличивалось, и тем холодность графини выражалась яснее, потому что в ее мнении рассеянный вид Глинского при появлении — и возрастающая неловкость в разговорах с нею, служили уликами собственной его совести и внутренним сознанием вины, в которой она уже подозревать его начинала.

Странно, что в таком приятном чувстве, какова любовь, редкая минута проходит без мучений и они бывают тем жесточее, чем больше воображение в них участвует. В этой страсти нет середины: в ней обожание идет рядом с ненавистью; при малейшем подозрении ангел кажется демоном, и как скоро затронутая любовь начинает рассуждать, то все предположения, чем они смешнее и нелепее, тем кажутся справедливее; влюбленные, занимательные в романах от искусства повествователей, бывают чрезвычайно смешны на самом деле. С Глинским случилось все это в продолжение обеда. Если графиня с упрямством отказывала бедному юноше в снисходительном и ласковом слове, он, с своей стороны, приписывал ее холодность самым несбыточным причинам: он перебирал все обстоятельства того дня; строго ценил свои слова и поступки, но не находил никакой вины за собою; наконец, неясная идея представилась его воображению, он не смел еще на ней остановиться, столь она самому казалась безрассудна; однако ж, подобно боязливым людям, которые при лунном свете, принимая издали обломанный пеня за признак мертвеца, сперва смеются своему страху, потом взглядываются пристальнее, и потому, чем более смотрят, тем сильнее убеждаются в действительности привидения: Глинский начал верить своей мечте и хотя смутно, без определенного понятия, но отдался на волю своего воображения, которое как будто забавляясь его мучениями, сколько поутру делало его счастли-

вым от мысли, что император говорил с прекрасной Эмилией, столько же разрушало все его надежды и волновало несчастную душу, показывая этот разговор, это торжество в неблагоприятном для него свете. Глинский не мог определить еще сам, что он думал, он чувствовал только, что страдал — страдал, не смея признаться самому себе в причине своего страдания.

Несколько попыток, сделанных еще после обеда, обезохилили его к дальнейшим домогательствам; к огорчению присоединилась досада; к тому же до его слуха долетело несколько слов из разговоров между молодыми людьми, которые, может быть, столько же были недовольны этим днем, как и Глинский, испытав большую, нежели обыкновенно, холодность Эмилии.

Двое шалунов заключили, что милость императора Александра вскружила ей голову, что ее аристократическая гордость обнаружилась при этом случае; двое других говорили типше, что Эмилия, наверное, оставит свой траур, чтоб явиться ко двору до отъезда русского царя, одним словом, говорили все, что может внушить злословие парижской гостиной — и хотя Глинский едва ли слышал какую-нибудь полную фразу, но довольно было намек, полуслова, чтобы прибавить чужие нелепости к собственному дурачеству. Он не мог долее оставаться и сердитый, огорченный и расстроенный ушел к себе вниз.

Когда он пришел домой и в досаде ходил из угла в угол, чрез несколько времени явился к нему один из офицеров его полка и, прежде чем Глинский успел опомниться, ветренный товарищ уговорил его ехать вместе на бал к какой-то графине, заставил его одеться, закричал слуге, чтоб он привел карету, и посадил его с собою.

ГЛАВА IV

Глинский позволил везти себя, но думал, что едет добровольно и, несмотря на свою грусть, назло хотел веселиться; — «если графиня, думал он, нарочно хочет огорчить меня, я должен показать ей, что не поддамся этому огорчению. Сверх того, она, конечно, шутила, называя дружбою наше взаимное обращение, которое исчезло с ее стороны при малейшем.. но что я для нее в самом деле?.. а если ее сегодняшнее поведение в отношении ко мне было для того только, чтобы доказать мое ничтожество, то неужели я не имею столько гордо-

сти и самостоятельности, чтобы пренебречь этим унижением?»

Так думал Глинский, так думал бы почти каждый на его месте — но веселиться назло худо — это бывает именно назло тому, кто хочет веселиться.

В улице*** большой дом освещен был великолепно; куча экипажей стояла у подъезда; но когда карета Глинского подъехала ближе, он увидел, что это были большею частью фиакры; порядочных экипажей почти не было. Молодые товарищи вошли в залу; музыка уже играла; странное смешение общества представилось им: несколько русских гвардейских офицеров в мундирах и фраках, пруссаки, австрийцы, англичане в своих красных мундирах с расходящимися полами, раскрытыми ртами; гости во фраках толпились по зале, толкались около дам. Несколько пар, и в том числе гвардейский юнкер, кружились в вихре вальса.

В гостиной несколько дам сидели порознь и около каждой был особенный кружок; веселые кучки в разных местах свободно двигались во все стороны: мужчины сходились, толковали, рассеивались; женщины смеялись шуткам и островам окружавшей их молодежи, и громкий говор этой комнаты неприятно подействовал на слух Глинского, когда его товарищ вошел с ним туда, чтобы представиться хозяйке, сидевшей на большом диване в углу комнаты. Она была лет 30 женщина, еще очень недурна собою, великолепно одета, но, как показалось Глинскому, без всякого вкуса. Несколько разноцветных перьев развевалось на ее токе во все стороны, пять или шесть ниток жемчугу с большим бриллиантовым фермуаром обвивали ее шею, обнаженную до невозможности; на руках в запястье и выше локтя были огромные браслеты, серьги, висевшие почти до плеч и пояс перевивались бриллиантами; в выборе цветов для накладки платья была такая же пестрота; даже самой приветствие, которым она встретила двух молодых гостей, топорщилось, как и ее наряд и также украшено было не под тень и краски подобранными цветами.

Наши русские гости, по-видимому, прервали занимательный разговор между хозяйкою и сидевшим подле нее с крестом Почетного легиона в петлице высоким мужчиною с огромными усами и бакенбардами, который, не слушая фигурных фраз хозяйки, заметно был недоволен длиною сего приветствия; он перекладывал одну ногу на другую, кашлял, сморкался, заговаривал с нею и показывал явные знаки нетерпения. Ветреный товарищ Глинского не замечал этого и продолжал разговор, пока учтивая хозяйка не предложила

им обоим принять участие в общих удовольствиях. Глинский был рад отделаться от ее беседы, потому что ему начинало становиться неловко от быстрого взгляда, которым она преследовала его взоры, и от комплиментов, которыми его осыпала.

Вдохнув свободнее, он пошел дальше; в другой зале множество игорных столиков стояло около стен; игроки пересыпали кучами золото; технические выражения экарте и других игор раздавались во всех углах; играющие окружены были гостями: одни дожидались очереди, другие держали пари и вся сия зала оживлена общим движением; толпы волновались от стола к столу; многие, участвуя в нескольких играх, с громкими восклицаниями призывались в разные места к дележу выигрыша или к расчету проигранного.

В следующей зале также играли, но тут не было шуму; один только большой стол и около него куча игроков. Это был банк. Мечущий хладнокровно и методически клал направо и налево, и все глаза играющих следовали за движением его руки. Некоторые полуголосные восклицания изредка слышались между партнерами, которые больше походили на осужденных, нежели на тех, о которых можно сказать, что они играют. Конечно, банковая игра в насмешку названа игрою.

Все это было скучно для Глинского. Его намерение веселиться исчезло; он не знал, что делать; для пристойности проиграл два заклада в экарте, от скуки проставил несколько червонцев; ходил из комнаты в комнату, следовал за различными толпами и, наконец, очутился с некоторыми ему знакомыми офицерами в богато убранной спальне; штофные занавеси кровати с золотою бахромою, спускаясь от балдахина, поддерживались четырьмя алебастровыми купидонами; по какому-то странному вкусу стена возле изголовья, возвышение в ногах и потолок были зеркальные. В комнате подле спальни была мраморная ванна, роскошные диваны, расположенные около стен, осенялись еще роскошнейшими картинами, которые дышали соблазном над ними. Это удивляло Глинского; чистое сердце его при всей неопытности ощущало что-то неприятное; ему казалось, что самый воздух здесь не столько чист, как подле Эмилии — он вышел оттуда — но везде то же ощущение встречало его: в некоторых комнатах сидели парно мужчины и женщины и доверчиво шептались; в гостиной подле хозяйки по одну ее сторону сидел тот же усатый человек, по другую молодая девушка, которая шутила свободно с русским офицером и без застенчивости сняв с его шеи орден, примеривала на свою. Далее музыка гремела; резвые

пары прыгали в кадрилих очень свободно, часто громкий и умеренный смех раздавался со всех сторон. Глинский сделал было покушение уехать; ему не нравился этот бал, но резвый его товарищ, принимавший живое участие в веселостях, упрямил остальных; сверх того, по некотором размышлении Глинский сам <решил> не уезжать ранее полночи, для того, чтоб не быть обязанным являться к маркизе, где он мог бы еще встать Эмилию, и так, он смотрел на часы, ждал 12 и не мог дожждаться. Наконец, хозяйка заметила, что Глинский ничем не был занят: она подошла к нему, сожалела, что он не находит удовольствия на ее бале, ходила с ним между танцующими, называла их имена, потом посадила возле себя в углу залы и завладела им на целый вечер. Здесь она рассказывала ему о своих знакомствах, об увеселениях, пересчитывала театры, где она имеет свои ложи, предлагала ему располагать ими, если удостоит ее знакомством; одним словом, она осыпала его ласкательствами, и когда бедный Глинский вздыхал при каждом бое четвертей больших бронзовых часов, стоявших над камином, она удваивала свои нежности и восхищалась смущением бедного юноши, которое увеличивалось с каждою минутою, протекавшею за полночь. Несмотря на то, что он не хотел приехать ранее этого часа, он чувствовал также неприличность позднейшего приезда: но неумолимая хозяйка бала не выпускала его и пока не ударило двух часов, пока он не дал обещания быть утром у ней к завтраку, ему не позволено было встать с места. Прощаясь с нею, он заметил, что высокий усатый мужчина бросил на него сердитый взгляд и начал что-то громко говорить с хозяйкой.

Гости начинали разъезжаться. На дворе шел проливной дождь, и когда Глинский сошел с лестницы, то увидел пять или шесть дам, вышедших за несколько минут прежде его, которые стояли, прижавшись на крыльце и не могли идти по грязи и мокроте. Это его удивило. Он изумился еще более, когда все сии госпожи вскочили в поданную ему карету, и когда кучер стал им говорить, что это не их экипажи. Comment! — à qui donc est cette carrosse? — nous avons cru squ'elle est à louer!¹ и тому подобное лепетали они все вдруг, и потом, не выходя из кареты, начали просить Глинского, чтоб он отвез их по домам. — Всякий француз на его месте вывел бы за руку всех этих госпож, но совестливому русскому ничего другого не оставалось, как согласиться. Он видел, что ему

¹ Как это? Чья же это карета? — мы думали, что она свободна! (фр.— *Сост.*).

скорее пришлось бы самому идти пешком, итак, он вскочил в карету и велел кучеру ехать.

— Я не поеду, сударь, — кричал тот с козел, — вы меня наняли в улицу Бурбон, а теперь по этому дождю я не намерен мучить своих бедных скотин.

— Ступай, я заплачу тебе за все! — кричал Глинский.

Французские простолюдины не скупы на ругательства, и бедные седоки должны были вытерпеть целый залп. Глинский не хотел заводить ссоры. — Все заплачу, что хочешь дам, только поезжай, — кричал он, прижавшись в угол. Кучер псехал с бранью.

Незастенчивые дамы извинялись, смеялись, затрогивали Глинского, но он попросил извинения, что не будет им отвечать и с душевным огорчением ждал конца этой незабавной для него комедии. Он видел, наконец, в какое попал общество и тысячу раз проклинал свое намерение ехать на бал, приветливую хозяйку этого бала и с нею целый Париж.

Три битых часа карета ездila из улицы в улицу, и когда Глинский, освободясь от своих неприятных собеседниц, подъехал к дому маркиза, городские часы пробили пять. Сонный придверник выскочил из своей конурки, жена высунула голову из окошечка.

— M. Glinsky, — сказал Базиль, — маркиза и графиня ожидали вас до полночи и очень беспокоились, что вас еще не было.

— Что делать, Базиль, так случилось; дай мне фонарь и расплатись с извозчиком: вот мой кошелек.

Пока Урсула зажигала фонарь, муж ее спросил извозчика, сколько ему надобно.

— Сорок восемь франков, — отвечал тот.

— Не с ума ли ты сошел! — воскликнули муж и жена вместе.

— Сделай милость, дай ему все, что он хочет, лишь бы он не делал шуму, — сказал Глинский, взяв фонарь и уходя домой.

— Сойдешь с ума, — говорил извозчик, — стоять четыре часа на проливном дожде и потом сверх ряды развозить по всему Парижу бог знает какую сволоочь: если бы не господин русский офицер, я ни за какие деньги не пустил бы в карету такой дряни!

— А где вы были и кого возили? — спросила Урсула и, не смотря на дождь, выскочила из-под ворот.

Пока Базиль считал франки, извозчик рассказал, как они ездили в игорный дом и каким образом Глинский был столько

вежлив, что предложил свою карету пяти грациям. Извозчик иначе и не думал, что это было собственное желание Глинского; он не понимал, как можно было не вытолкать этой дряни, ежели бы он не захотел пустить их в карету.

— Да что же дивиться, — примолвил он, — дело молодое! иностранцу и повеселиться в Париже. — Сказав это, он протянул руку за деньгами, хлопнул бичом и уехал.

Глинский вошел к себе и прежде, нежели зажег свечу, взглянул в окошко на комнаты графини. Ему показалось, что у ней в спальне горит огонь; отсторонив свой потайной фонарь, он ясно увидел свет в окошке. Не больна ли она, думал он, зажигая свечу, или я ошибся, приняв окно детской за ее спальню? Он хотел удостовериться вновь, но с появлением его огня свет в графининой комнате исчез.

Сколько странных мыслей было в голове Глинского! В огорчении он перебирал снова свои слова и поступки и ни в чем не мог упрекнуть себя, кроме намерения ехать на бал — но и это увеличивало еще его мучения. Он бросился в постель и долго не мог уснуть.

Понутру молодая графиня встала с постели бледна и с покрасневшими глазами. Горничная, подававшая одеваться, удивилась перемене; в эту минуту вошла Урсула.

Болтливая мамка, получив накануне выговор, готова была разбудить сегодня графиню, чтоб высказать ей доказательства вчерашнего болтанья и насилу дождалась, когда она встала. Между тем, надобно было осторожно высказать все, что она знала, ибо просто злоречие не имело доступа к графине; надобно было выбрать другую дорогу.

— Каково ты поживаешь, Урсула? — спросила, по обыкновению, Эмилия.

— Что мне делается, графиня; с тех пор, как я живу в вашем доме, не знаю ни горя, ни печали; сегодня немножко только не доспала.

— Отчего же, Урсула?

— Как отчего, графиня? вчера мы с Базилем не прилегли до 5 часов утра; М. Glinsky только что воротился об эту пору, — а его нельзя не подождать: он такой добрый! мы же знали, что вы и сами изволили дожидать его за полночь.

Графиня отвортилась.

— Бедный М. Glinsky, — продолжала Урсула, — он совсем не знает счету деньгам и вообразите! вчера заплатил сорок восемь франков извознику за то, что привез его.

— Верно, он далеко был, Урсула?

— Нет, не далеко; но бездельник извозчик поднял такой

шум, что бедняжка дал ему все, что тот требовал, лишь бы он уехал. И по моему счету, несмотря на то, что он ездил сверх ряды, ему приходилось заплатить не более 20 франков. Сами посудите, графиня: от 9-ти часов до 2-х стоять на месте в улице S. Нопогé, а потом три часа езды. Ряды 10 франков, да за каждый час езды по 3 франка и франк roug boige¹, вот и весь счет, — а он? — шутка ли, графиня, взял сорок восемь. Вот кошелек Глинского; муж отдал мне, чтоб отнести к нему, и пустым пустехонек! вчера утром, когда он давал моей Матильде эю на лакомство, я видела, что он был полон. Мне жаль этого молодого человека, графиня, он такой ласковый, прежде за ним этого не бывало: но когда увижу его, я скажу ему потихоньку, что это не годится. Здесь в Париже долго ли до беды с такими знакомствами...

— С какими знакомствами, Урсула! — встревоженная Эмилия сделала этот вопрос машинально, и лукавая мамка, видя, что хитрость ее удалась, продолжала смелее.

— Как же, графиня! я уж не говорю о вчерашней вдовушке, куда он поскакал сломя голову: это шалость; а то, видите ли? он вчера был на бале в игорном доме, а потом целую ночь развозил по Парижу бог знает каких потаскушек. Извозчик рассказывал, что он всю дорогу слышал в карете шутки да хохот, ну мудрено ли, что после этого воротился домой с пустым кошельком!..

Эмилия побледнела. Сердце ее защемило, она не знала, что говорить, руки ее дрожали, она едва могла одеваться. Бедная графиня не понимала, что происходит с нею.

В это время послышался на дворе лошадиный топот и стук колес. Урсула выглянула в окошко и увидела въехавший на двор прекрасный кабриолет, запряженный парюю лошадей. Муж ее разговаривал с красивым и щеголевато одетым жокеем. Словоохотная мамка передала в комнату все эти подробности.

— Кого ему надобно? — продолжала она сама с собою. — Глинского? муж показывает ему комнаты нашего постояльца... у него записка... посмотрите, как он ловко вертит ею... чей это экипаж, любезный друг? — вскричала она в окошко.

Голос со двора отвечал ей: «Графини Гогормо, у которой вчера M. Glinsky был на бале».

— Графиня Гогормо... графиня Гогормо... — повторяла Урсула, — вот тебе раз! что это за графиня Гогормо? я знаю все фамилии, я жена придверника в знатном доме, а такой

¹ чаевые (фр.— *Sост.*).

не слыхивала! пойду посмотреть и расспросить, что это за графиня... — с сими словами она побежала вниз.

Эмилия была в ужасном положении; без самосознания в своей любви, она уже любила Глинского; она выпила весь яд этой страсти под именем дружбы и теперь чувствовала все муки оскорбленного и растерзанного сердца. Гнев, обиженная гордость, даже ревность волновала ее душу.

— И я почтила дружбою человека с такими низкими наклонностями, — думала она... — В эти лета, с такою наружностью так презренно вести себя!.. нет, он не стоит дружбы... не хочу, не могу быть его другом!..

Глинский давно уже был у старой маркизы, которая велела попросить его к себе, лишь только встала. Она рассказала ему, как вчера они обеспокоились, когда его не было полночь. «Мы не знали, что думать, — говорила она ласково, — все театры в это время уже заперты... прогулки нигде так поздно не продолжаютя, а мы знали, что вы уехали в карете с вашим товарищем и, стало быть, куда-нибудь в новое место, иначе собственное ваше намерение было бы нам известно. Успокойте меня, Глинский, не случилось ли с вами чего-нибудь необыкновенного. Мне сегодня рассказали, что вы приехали в пять часов утра и прибавляли еще кой-какие подробности», — сказала она, улыбаясь.

Глинский рассказал о вчерашнем бале со всеми обстоятельствами, о впечатлении, какое на него он сделал; объяснил ей, почему он ездил по Парижу до 5 часов; наконец, каким образом его сопутницы дали ему ясное понятие об этом бале.

Маркиза смеялась описанию, тем более, что негодующий Глинский говорил с жаром и живо представлял свои ощущения; она с участием сказала ему:

— Извините, Глинский, что я по материнским чувствам напому о вашем обещании: сказывать о новых знакомствах. Не потому хочу этого, чтобы вмешиваться в ваши дела или лишать удовольствия, — но чтоб избавить от подобных неприятностей. Вы вчера были в игорном доме, который содержат вопреки заперещениям правительства и где собирают игроков под видом бала. Теперь судите, каково должно быть общество и каковы те, которые служат приманкою для корыстолюбивых и презренных видов этих чудовищ, занимающих чужое имя, чужой дом, деньги, до последней нитки, чтобы с этого пользоваться барышами на счет кармана и нравственности неопытных иностранцев.

Приход слуги прервал маркизу. Он принес Глинскому

записку от вчерашней графини. Глинский извинился перед маркизою и прочел следующее:

«Милостивый государь!

Вчерашний день у меня было слишком много людей и я не могла в полной мере воспользоваться любезностью вашего обращения. Сегодня я одна дома. Посылаю кабриолет в надежде, что Вы исполните обещание ваше и будете к завтраку, после которого, как мы говорили, поедем прокатиться по городу. От Вас будет зависеть воспользоваться всеми удовольствиями, какие может предложить,

преданная Вам г. Гогормо».

Стыд покрыл ярким румянцем щеки Глинского. Он сообразил, он ясно видел, какую роль назначала ему эта женщина. Молча подал он записку маркизе.

Она прочитала. «Вы видите сами,— сказала она,— что это за люди. Я не имею надобности прибавлять вам ничего,— продолжала она,— подав ему руку,— я вижу ваше благородное негодование. Теперь извините меня, что я пойду одеться к завтраку. Я поспешила видеть вас, потому что не хотела говорить об этих вещах при многих».— Сказав это, она ушла.

Глинский остался, держа в руках записку; он смотрел на нее, рассуждая о случившемся. В эту минуту отворилась дверь и показалась Эмилия. Она не ожидала найти Глинского. Смертельная бледность покрыла ее лицо; первое движение было уйти, но Глинский увидел ее и сделал шаг — она осталась.

— Графиня! — воскликнул Глинский в замешательстве, видя ее перемену и пораженный необыкновенной холодностью встречи, и остановился на месте, когда графиня повелительно сделала ему знак рукою.

— Вы чудовище, Глинский, — сказала она. — Я не думала, чтоб в ваши лета можно так хорошо носить маску. Я ненавижу вас... стыжусь, что предложила вам дружбу... я не увижу вас более... вот мои последние слова!..

Она хотела идти, но Глинский, как громом пораженный, остановив ее, насилу мог выговорить:

— Выслушайте, графиня! и не осуждайте меня так жестоко.

— Что вы хотите сказать, когда свидетель вашего срама в руках ваших?

— В доказательство чистосердечия отдаю вам эту записку; но прежде выслушайте!..

Он хотел продолжать. Эмилия снова сделала знак рукою; пробежала быстро написанное; щеки ее запылали, глаза на-

полнились; она кинула записку, не могла выговорить ни слова и выбежала из комнаты, хлопнув дверью перед самым Глинским, который бросился за нею. Он всплеснул руками, закрыл глаза и прислонился в отчаянии к дверям. Мрак во всех чувствах; лихорадочная дрожь и холод по членам сковывали его. Не понимая, что с ним случилось, долго оставался он в этом положении, наконец, с растерзанным сердцем, с возмущением, полным несправедливости Эмилии, он пошел медленными шагами домой.

Там встретил его слуга графини Гогормо, ждавший ответа. «Что прикажете сказать графине?» — спросил он. Глинский опомнился: «Скажи твоей графине, — начал он вспыхливо, но потом умеря свое движение, — скажи, что хочешь, я отвечать не буду», — сказал он. Слуга посмотрел на него изумленными глазами, улыбнулся, поклонился и исчез.

Между тем, на дворе около кабриолета собралась дворня. Одни хвалили экипаж, другие критиковали упряжь, третьим нравились лошади. Изю всех окошек высовывались лица с вопросами, что за коляска и зачем приехала. Услужливая Урсула успела расспросить и разведать о графине Гогормо во всех этажах дома и, стоя посреди двора, рассказывала и рассуждала о графском достоинстве Гогормо. Когда жокей вышел от Глинского, допросы ему посыпались со всех сторон.

— Не из Гаскона ли твоя госпожа? — спросила Урсула.

— Чистая парижанка, — отвечал жокей.

— Так, верно, граф оттуда? — сказал придверник.

— И граф был здешний.

— А где поместья графини, где ее замок? — спросил кучер старого маркиза.

— На зеленом поле, между меховыми горами, построен из карт, — сказала Урсула. Хохот раздался кругом коляски и повторился по всем окошкам, «ай да графиня!» кричали со всех сторон. Рассерженный жокей вскочил в кабриолет, погрозил бичом и поехал. В эту самую минуту Глинский вышел из дверей и, слыша хохот и шутки вдогонку жокея насчет Гогормо, с зардевшимися щеками прошел через двор под ворота. Здесь ожидала его новая пытка: Урсула, отдавая кошелек, начала обещанные наставления — и пять франков едва избавили его от усердия и советов старой сплетницы.

Куда же шел Глинский?.. куда глаза глядят, как говорит поговорка. Ему было душно в комнате, крыша этого дома давила его всею тяжестью; долго он бежал по улице не зная сам куда, останавливался, ускорял шаги, толкал, и его толкали; он не замечал ни того, ни другого.

Из этого положения пробудило его восклицание Шабаня: «Morgbleu! voilà une figure renversée!»¹ Глинский! что с тобою сделалось? ты, верно, болен?..» — спросил он с участием.

— Ах, Шабань, как рад, что встретил тебя; сделай милость, пойдем со мною, я расскажу все свои несчастья.

— Несчастье? что это значит? пойдем. Я было обещал кузине де Фонсек ехать с нею верхом. Mais que m'importe², мы успеем с нею увидеться. Итак, чем таскаться по улицам, пойдем аих «mille colonnes»³. Мы теперь близко Пале-Рояля. Я утешусь за завтраком, что не поехал с Клодиною, а ты — все же лучше горевать на сытый желудок. La bonne chère avant tout, mon ami⁴.

— Мне везде равно, лишь бы не дома, — отвечал Глинский. Молча шли они до Пале-Рояля, и хотя Шабань заговаривал, но, видя, что сопутник не отвечает, и заключая построенному его виду о состоянии душевном, он перестал спрашивать, принял свой беспечный вид, начал свистать; однако, добрая душа его была тронута. Он, не замечая, насвистывал похоронный марш Людовика XVI-го. Когда они пришли в кофейный дом, Шабань велел подать завтрак, бутылку шампанского и, выбрав не занятый столик поближе к углу, уселся с Глинским.

Огромная зала, убранная великолепными зеркалами во всю стену, поставленными между мраморных колонн, давших имя дому, непрерывно была наполнена людьми разного звания, приходившими пить кофе, шоколад, завтракать. Против дверей на возвышении и на троне, купленном от Вестфальского короля, сидела прелестная женщина лет двадцати осьми, принимала плату и распоряжалась прислугой. Красота этой женщины, прозванной la belle limonadière⁵, привлекала множество посетителей. За завтраком, пока Шабань с горя убирал котлеты и запивал шампанским, Глинский рассказал ему вчерашние приключения, историю извозчика и, наконец, записку графини Гогормо. Он не упомянул, однако, ни слова о том, что произошло между ним и графиней Эмилией.

— Так что же во всей этой истории может тебя беспокоить? Я не думаю, чтобы одна твоя совесть мучила тебя за то, что ты побывал в игорном доме; я бывал в двадцати и не чувствую никакого упрека.

¹ Черт возьми! Что за кислая физиономия! (фр.— Сост.)

² Но неважно (фр.— Сост.).

³ в «дом с колоннадой» (фр.— Сост.).

⁴ Добрая еда — прежде всего, мой друг (фр.— Сост.).

⁵ прекрасная лимонадница (фр.— Сост.).

— В этом случае не совесть упрекает меня, но мне стыдно, что весь дом знает происшествие и как я всем не могу рассказать того, как маркизе или тебе, то меня беспокоит эта гласность; впрочем, все это не заслуживает внимания, но вот что поразило меня, Шабань. Графиня Эмилия сделала мне такой выговор, что нельзя более показаться ей на глаза.

— Что же она сказала?..

Глинский было остановился; какое-то чувство деликатности запрещало ему сказать все, что говорила графиня, но одна минута соображения поставила его на дорогу, он отвечал:

— Не помню слов — но смысл был таков, что она не мерена более меня видеть.

Шабань задумался.

— Вот это другое дело, — сказал он, — эта добродетельная женщина скажет и сделает. Теперь понимаю, отчего ты, бедняжка, расстроен. Ты неосторожно последовал моему совету и, вместо того, чтоб с нею только быть любезным, ты влюбился, не красней, друг мой!.. я сам влюблен и *ragbleu*¹ мне стыднее в этом признаться, тем более, что это в четвертый или пятый раз! Да, Глинский, я боюсь сам выговора этой женщины более, нежели ареста нашего *conseil de discipline*. Mais que le diable emporte² все эти неснисходительные добродетели: она не хочет допустить ни одной слабости ни сердцу, ни уму, ни воображению... называет все это романическими бреднями, а и не замечает, что эта строгость, с которою она требует совершенной чистоты слов и поступков, также чувство романическое, то есть, похожее больше на сказку, нежели на правду.

Шабань распространился еще более в своих выводах о характере графини, но это вовсе не утешало Глинского. Впрочем, Шабань, хотя и называл любовью четыре или пять волокитств своей жизни, но в сердце женском для него оставалось еще много тайного, а следственно, и святого. Несмотря на свою ветренность, возвышенность чувств и благородство души отличали его на каждом шагу от других молодых людей, на которых он старался походить, то есть, желал казаться хуже, нежели он был в самом деле, и потому-то он принимал и понимал буквально выговор графини, не подозревая в нем ничего более, кроме строгости добродетельной женщины, оскорбленной неделикатностью человека, которого она почтила своею доверенностию и дружбою.

¹ черт возьми (*фр. — Сост.*).

² дисциплинарный совет. Но черт бы побрал (*фр. — Сост.*).

— Это тебе в наказание,— продолжал Шабань,— ты было отбил у меня ветреную кузину — но я объяснил ей, что ты влюблен в Эмилию, и Клодина перестала на тебя посматривать с тою же нежностью, как бывало, даже... Ах, Глинский, я влюблен, как дурак!.. она со мною совсем не та, что прежде. Как Даламбертова мамка, узнавшая после сорока пяти лет своей с ним жизни, что он умен и тот самый, о ком говорит вся Европа — так и кузина не понимала до сей поры, что можно любить человека, с которым знакомы от детства. Но полно грустить, Глинский! теперь маркиза, верно, рассказала Эмилиии твои похождения и она, конечно, сама жалеет о излишней строгости. Пей шампанское и утешься, а я пойду расчитаться avec la belle limonadière¹.— Сказав это, он отправился к красавице, которая, сидя на своем троне и принимая в лайковых перчатках двумя пальчиками деньги, улыбалась толпившимся у ног ее поклонникам и вздыхателям.

Глинский выпил бокал шампанского и как внимание его было не занято, он услышал сзади себя разговор двух французов, из коих один всячески бранил русских, а другой старался умерить горячность своего собеседника. Глинский обернулся, и глаза его встретились с глазами вчерашнего усатого мужчины с крестом Почетного легиона, который с видимою досадою продолжал свою брань. «Эти русские варвары,— говорил он,— думают, что они здесь победители во всех отношениях!.. но как смешны они!.. эта гвардия, вместо того, чтоб быть наградою ветеранам, напичкана мальчишками, которые со своим муравьиным станом более похожи на воспитанников, нежели на воинов. Несмотря на то, что император Александр позволил им здесь докончить курс воспитания, они не умеют еще вести себя как должно с порядочными людьми».

Глинский был во фраке и думал, что усатый человек не узнал его, он встал и, подошед к нему, сказал:

— Милостивый государь, я не знаю ваших причин, по которым вы говорите так дурно о русской гвардии, и не хочу знать их; но я должен объявить, что я русский и, следовательно, продолжение вашего разговора в этом тоне будет не у места.

Усатый человек узнал и прежде Глинского, но, мстя ему за вчерашнее предпочтение, а может быть, и за сегодняшний отказ графине Гогормо, он продолжал говорить по-прежнему, не обращая внимания на слова Глинского.

Глинский во всякое другое время вспыхнул бы, но сильная грусть придавала ему хладнокровия; он подступил ближе

¹ с прекрасной лимонадницей (фр.— Сост.).

к человеку с большими бакенбардами и сказал твердым и спокойным голосом:

— Вы ошибаетесь, государь мой, говоря, что мы не умеем обращаться с порядочными людьми; чтоб доказать вам, что мое воспитание кончено и я могу дать урок в учтивости самому французу, позвольте мне спросить ваше имя?

Кавалер Почетного легиона надел шляпу, протянулся на стуле, сложил руки на груди и засвистал «Vive Henri IV»! Эта ария означала, что он роялист; она служила как будто масонским знаком для всех эмигрантов.

— Впрочем, это для меня все равно,— продолжал Глинский,— если вы не сами надели на себя этот крест, то, конечно, он ручается за ваше имя, и если все, что вы говорили насчет русских, клонилось к тому, чтоб затронуть меня — я к вашим услугам и требую удовлетворения.

Усач продолжал насвистывать, глядя насмешливо в глаза Глинскому.

— В таком случае ты подлец и негодяй,— сказал Глинский.

— *Sacré tonnerre!*¹— заревел усач, вставая.— Я научу, как должно говорить с такими людьми, как я! не угодно ли сделать прогулку *au gré aux cerfs*?²

— Я требую этого,— отвечал Глинский, и когда Шабань, возвратясь, подошел, он обратился к нему.

— Любезный друг!— сказал он,— мы с этим господином хотим взаимно давать уроки вежливости — хочешь ли ты быть моим секундантом?

Шабань остолбенел. Он попеременно оглядывал обоих противников. «Что тебе сделали?.. за что вы хотите драться?» — сказал он в удивлении.

— Об этом после — теперь поедем.

— Но, может быть, тут есть какое-нибудь недоразумение.

— Слушай, Шабань, ты можешь быть моим учителем, как обращаться с женщинами — но как защищать честь русских и собственную — извини меня, я сумею сам!

Шабань обнял Глинского.— Если так, рад, что могу служить тебе,— сказал он.— Какое же оружие?

— Шпаги,— сказал кавалер Почетного легиона.

— Пистолеты,— возразил Глинский.

— Я худо стреляю.

— Мы будем стреляться на два шага.

¹ Гром и молния! (фр.— Сост.).

² в олений луг (фр.— Сост.).

В это время несколько русских офицеров, тут случившихся, подошли, услышав крупный разговор; один из них вывался быть секундантом Глинского, но Шабань ни за что не хотел уступать этой чести. Глинский попросил только офицера, чтоб он научил Шабаня, что должно делать. Французы в это время еще не привыкли к поединкам на пистолетах и предпочитали шпаги, но русские в бытность в Париже кончали все ссоры пулями и тем отучали многих сварливцев и охотников до дуэлей, заводивших сначала беспрестанные ссоры. Француз, разговаривавший с противником Глинского, согласился быть его секундантом и вступил в переговоры с Шабанем, который, хотя и против себя, но требовал по желанию доверителя самой строгой дуэли. Постановлено стреляться чрез общий барьер, от которого противники могли расходиться на 10 шагов. Это очень не нравилось человеку с усами, но надобно было покориться необходимости и убеждениям секунданта, который, по-видимому, был офицер и, негодуя на нерешительность своего героя, с досадою заставил его принять условие сделанного ими договора.

В четверть часа было все кончено, чрез другую четверть явился мальчик, посланный Глинским домой с запискою к слуге за ящиком с пистолетами, и две кареты покатались к заставе de l'étoile.

Дорогою Глинский рассказал Шабаню происшествие и этот, пораженный холодностью рассказа и тоном голоса молодого человека, невольно спросил: «Ты хочешь быть убит, Глинский?»

— Может быть.

Это было последнее слово, сказанное в карете.

Все дуэли похожи одна на другую. Когда приехали на место, секунданты отмерили от общего барьера, для которого была воткнута в землю сабля, по 10 шагов в обе стороны, поставили противников друг против друга, дали им в руки пистолеты и сказали: «Начинайте!» В это время Глинский, сделав шаг вперед, остановился и сказал своему противнику: «У вас выкатилась пуля из вашего пистолета». В самом деле, пуля лежала у ног его; секунданты взяли пистолет, чтоб снова зарядить — и это ли обстоятельство, которого никто не заметил и которое доказывало благородство Глинского, или мысль о том, какой опасности подвергался кавалер Почетного легиона, стреляя пустым порохом и подставляя грудь под пулю на верную смерть — или оба эти ощущения вместе, только они видимо поколебали храбрость француза. Он побледнел, переступал с ноги на ногу и пока длилось освидетельствование

пистолета, не высыпался ли вместе с пулею и порох, разряжанье и новый заряд — лицо его во все продолжение времени быстро изменяло внутренним чувствованиям. Правда, что нет ничего мучительнее, как долгие приготовления к казни. Наконец, пистолеты снова в руках противников, и со словом «начинайте!» Глинский поднял пистолет, прямо подошел к барьеру, но француз, целясь на каждом полшаге, выстрелил не более как в двух шагах от своего места. Глинский пошатнулся и схватил себя за левую руку. «Это ничего, — сказал он, — теперь пожалуйте ко мне поближе, г. кавалер Почетного легиона», но г. кавалер не в состоянии был этого сделать: мысль о том, что жизнь его теперь совершенно зависела от Глинского, отняла у него последние силы. Колени затряслись, пистолет выпал из руки, и он почти повалился на руки секундантов, подбежавших поддержать его.

— Это не дуэль... это убийство! — бормотал он несколько раз едва внятным голосом.

Глинский опустил пистолет.

— Я знал это наперед, милостивые государи, — сказал он, — истинно храбрый человек никогда не бывает дерзок. Теперь ему довольно этого наказания; но в другой раз я употреблю оружие, которое наведет менее страха, но сделает больше пользы.

Можно сказать, что противник Глинского остался на месте; он не мог встать на ноги с дерна, куда его бросили секунданты, и никто его не хотел взять с собою в карету. Рана Глинского была бездельная: пуля задела неглубоко мякоть руки выше локтя; он завязал рану платком, не допустив никаких других пособий, и так все отправились в город. Шабань был вне себя от восторга; эта дуэль ему казалась *plus ultra*¹ храбрости, хладнокровия и великодушия Глинского, которого он не уставал обнимать и осыпать комплиментами; другой секундант расстался с ним, прося извинения у обоих, что он, по необходимости, должен был служить свидетелем трусу.

Как ни весел был Шабань, и как ни уверял он Глинского, что нельзя печалиться, сделав такое славное дело, этот был пасмурен и никак не соглашался окончить день, как обыкновенно кончают его после удачного поединка, т. е. шампанским. «Мне не для чего радоваться, — говорил он Шабаню, — победа над трусом немного приносит чести, сверх того, я жалею, что это так случилось и дуэль кончилась иначе, нежели я желал!»

¹ пределом (лат.— Сост.).

— Ты жалеешь, что его не убил?..

— Я и не имел этого намерения.

Как ни ветрен был Шабань, но такие мысли могли его расстраивать, он взглянул на Глинского, и при его нахмуренном виде, кивая головою, пробормотал: «как глупы влюбленные!..»

За этими словами последовал опять похоронный марш Людовика XVI и молчание не прерывалось в карете до тех пор, пока они не въехали в улицу du Vas.

— Куда же мы поедем? — спросил Шабань.

— Завези меня к полковнику, чтоб известить о дуэли; надобно, чтоб император знал о ней прежде, нежели известие дойдет до него чрез парижскую полицию. Он не любит дуэлей, но если обстоятельства представлены ему верно, он смотрит на это сквозь пальцы; напротив того, бывали случаи, в которых оба противника наказывались за то только, что хотели утаить свое дело.

— C'est superbe! c'est magnifique! — вскричал Шабань и, оставив Глинского у дверей трактира, где жил его полковник, отправился к маркизе расправить язык, засохший от приуждения.

ГЛАВА V

Интересная Эмилия лежала на своей постеле и плакала. В первые минуты она судила только Глинского; но, когда слезы облегчили грудь ее, она судила уже и самую себя. Чем сильнее было первое движение, тем более теперь ясный ум ее показывал, сколько она преступила меры благоразумия. Добродетельная женщина ни к кому не может питать несправедливости, а она выговорила это слово и чувствовала, что сказала неправду. Она видела, разбирая поведение Глинского, что оно не похвально, но никак не могла понять, отчего оно так показалось ей обидно и отчего она могла сама его обидеть столь неприличным ожесточением. Собственный ее поступок начал более занимать ее, нежели вина Глинского, но не менее того, всякий раз, когда она приводила эту вину в свое оправдание, невольное движение руки к сердцу показывало, с какою быстротою оно начинало биться. Таково действие неожиданных случаев в любви, они раздражают: они приводят в напряжение все силы нашего духа, и тогда рассудок молчит, оставляя страстям полную волю действия.

¹ Это превосходно! это великолепно! (фр.— *Cocr.*)

Горничные и няньки суетились около спальни графининой, но она не хотела ни на кого глядеть и не выходила к завтраку. Мало-помалу, однако же, она почувствовала надобность успокоиться и показаться матери, которая могла прийти к ней навеститься, что с ней случилось, застать ее в этом положении и тем самым поставить в необходимость рассказать все происшествие, о котором и мысль так была ужасна для Эмилии. Она встала, умыла свое прекрасное лицо; но все еще глаза ее были красны: чтобы освежить их, она ходила по комнате, отворила окно, воздерживалась, гляделась в зеркало, дышала на платок и прикладывала его к глазам, чтобы осушить простывшие слезы; но вероломное сердце против ее воли надрывало грудь, снова туманило глаза и отускняло зеркало вздохами.

Наконец, волнение чувств утихло; она решилась: идти к маркизе и вошла в комнату вместе с Шабанем, только что приехавшим с поединка. Маркиза, обеспокоенная видом дочери, поспешила навстречу и с нежною заботливостию спрашивала, что с нею случилось. Эмилия успокоила мать насчет своего здоровья, сказав, что головная боль, не давшая ей спать ночью, теперь уже проходит и позволила ей выйти из своих комнат.

Успокоенная маркиза села и, полагая, что Эмилия ничего не знает о Глинском, рассказала ей все подробности бала, все ощущения, все замешательство молодого человека, который не знал почти сам, как попал туда. Графиня жадно слушала; несколько раз чувствовала желание заплакать; большая перемена видна была в ее чертах; чистая душа светилась из глаз и все существо выражало какое-то внутреннее удовольствие.

Однако, это было не надолго; новое облако задумчивости бросило тень на ее прекрасное лицо; ресницы опустились; сомнение видимо выразилось в милых чертах, — она позвонила, велела вышедшему слуге принести письменный прибор и на маленьком лоскутке бумаги написала сии слова: «Кто такая вдова Казаль? — Вы, конечно, поймете, для чего я спрашиваю?»

— Отнеси эту записку к г. Дюбуа, — сказала она, запечатав ее облаткою, — и попроси, чтоб он отвечал теперь же.

Повесливый Шабань нетерпеливо желал рассказать собственные похождения, но видя, что графиня слушала о бале, как о новости, тогда как за него разбранила Глинского, и замечая впечатления своей кузины, удерживался радостью, что друг его оправдан и восстановлен во мнении графини. Нача-

ясь на стуле и думая, как бы мало поверила ему Эмилия, если б он вздумал сам оправдывать Глинского, он воображал, как она повторяла бы ему, что он повеса и стоит за все дурное — потом, видя перемену графини: «постой, милая кузина, — твердил он про себя, — я отплачу тебе за повесу и за его друга», и только маркиза кончила — он начал.

— A propos, ma tante!¹ эта проклятая история бала на том не кончилась, что вы рассказали, — с этими словами он взглянул на Эмилию, которая, думая, что он хочет рассказать ее сцену с Глинским, не знала, что с нею делается в эту минуту.

— Что ж еще случилось?

— Безделица, ma tante! я сегодня поутру встретил на улице Глинского после того, как вы его видели; он был чрезвычайно мрачен и так расстроен, что почти не узнал меня и, хотя он сказал мне, что сожаление в причиненном вам беспокойстве и насмешки целого дома не позволяют ему более у вас оставаться, но это было не все, что скрывалось у него на душе; он был как сумасшедший. Это рассказал он, пока я завтракал аих mille colonnes, куда я завел его, чтоб расспросить — и, только что я отвернулся расплатиться, у Глинского была уже готовая дуэль.

— Дуэль? — вскрикнула маркиза. Эмилия подняла трепещущие ресницы.

— Да, ma tante, и именно с этим усатым человеком, которого видел Глинский у мадам Гогормо. Вероятно, их дела были заодно. Вчера он показывал Глинскому, что сердится за предпочтение, а сегодня за его отказ этой графине. Вот мы и поехали.

— И ты допустил Глинского?..

— Я бы охотно отвратил этот случай, но первое — что Глинский знаком с пороком более моего; второе, что дело шло об обиде русских, а в-третьих, он был в таком расположении, что охотно желал быть убитым — я это по всему мог видеть. К тому же я так рад был, что могу ему услужить и быть у него секундантом.

— Боже мой, Шабань! по твоим словам можно подумать, что ты бы рад был его смерти! — что же далее?..

— Ах! ma tante! Если когда-нибудь мне даст бог дуэль, и я буду драться так же, как Глинский, — об этом будут говорить целый месяц в Париже.

Едва Шабань начал рассказывать, вошел в комнату Дюбуа, который, получив записку графини и узнав, что она в об-

¹ Кстати, тетюшка (фр. — Сост.).

щих комнатах, счел за лучшее отвечать лично. Он ждал повторения вопроса графини, но как в сию минуту внимание ее было устремлено на происшествие важнейшее, то он, не прерывая рассказа Шабаня, сел и выслушал всю историю поединка. Маркиза восклицала; Эмилия едва воздерживалась, и когда Шабань кончил, когда Дюбуа расспросил все подробности этой повести, она обратила свои глаза на него, как бы ожидая ответа; он подошел к ней и, не полагая вопроса ее в ином смысле, как ему самому казалось, сказал вполголоса:

— Это очень порядочная женщина, вы можете быть уверены в ее усердии, потому что ее стараниями нашему раненому уже гораздо легче. Сестра не может лучше ходить за своим братом. Нет ли у вас каких-нибудь видов на нее и Гравелля? — прибавил он, улыбаясь.

В один миг вся кровь, собравшаяся к сердцу графини от ожидания, бросилась ей в лицо: эти слова Дюбуа вдруг привели ей на память все, что говорил Глинский, и все, что она сделала ему от своей забывчивости. Никто, кроме добродетельного человека, не в состоянии так сильно испытывать чувство, которое рождается в его сердце после того, как он обидел напрасно невинного человека. Эмилия быстро встала, но едва имела сил держаться, так что внимательный Дюбуа должен был подать ей руку, чтобы проводить из комнаты. Верный и проницательный глаз его отгадал, что происходило в этом сердце. Вчерашняя холодность Эмилии, сегодняшнее расстройство, печальный Глинский, дуэль, вопрос о вдове Казаль и ответ, которого, как видел Дюбуа, графиня не ожидала, притом же мгновенная мысль о Урсуле и Мишо — все сцепление идей одна за другою развило ему ясно то, чего графиня не хотела, но желала бы прочесть в собственном сердце.

Графиня все еще молчала: на губах Дюбуа была горькая усмешка, которая показывала удовольствие, что он убедился в справедливости своей мысли и, вместе с тем, что убеждение в ней было неприятно.

— Итак, графиня, — начал он, проводив до ее комнат и откланиваясь, — итак, я вижу, что вы не забыли обещания мне первому сказать, если русский заставит вас поколебаться; вижу, что виноват сам, прервав неуместным ответом начало нашей откровенности.

В этих словах заключалось много горького, но они сказаны были с таким прискорбием, что графиня, чувствуя всю их справедливость, не заметила едкости упрека; этого, однако же, довольно было, чтоб испугать бедную Эмилию.

— Нет, Дюбуа, нет, этому быть невозможно. Вы видите то, чего я не хочу, не могу, чего даже я подозревать в себе не в состоянии.

Дюбуа молча поклонился и исчез.

Между тем Шабань торжествовал. Маркиза нетерпеливо хотела видеть Глинского, хотела обнять, бранить, хвалить его. Ее чувствования смешивались: заботливость и энтузиазм, сродный французенкам, страх и удовольствие попеременно занимали ее мысли. Женщины боятся сражений и поединков, но любят отважных людей — одна из странных противоположностей женского характера! Как будто можно быть храбрым, не дравшись!

Слезы графини теперь смешивались с приятным ощущением, которое наполняло ее сердце оттого, что она могла оправдывать Глинского. Человек, которого мы обвиняли и который выходит чист из подозрения, является глазам вашим в большем блеске, нежели прежде, и даже в собственном мнении стоит выше нас, пока совесть наша не успокоится; притом же графиня понимала жестокость своего упрека, видела, до чего Глинский доведен был им, и живо чувствовала, чему подвергался. Сердце человеческое слабо: но чем выше его чувствования, тем более видит он свои слабости, тем охотнее признается в них и тем скорее желает их исправить... Эмилия готова была принести в жертву свое самолюбие, лишь бы примириться с Глинским, с самой собою, но не знала, что делать, с чего ей начать.

В этой нерешимости она подошла к окну и смотрела сквозь занавесь на открытые окошки Глинского. Он уже был дома и ходил в большом волнении по комнате. Эмилия видела, как образ его мелькал мимо того и другого окошка, видела также, что слуга суетился, собирал и укладывал разные вещи. Сердце Эмилии затрепетало; она поняла, что это значит. В эту минуту все соображения, все препятствия, все выговоры Дюбуа были забыты — она бросилась к письменному столу и написала:

«Я виновата, Глинский, очень виновата! но не будьте строги к чувствованиям женщины, которая думала, что потеряла друга и что вы были причиною этой потери. Придете ли вы в сад сказать, что прощаете меня?..»

Няньке, с Габриелью шедшей в сад, велено было отдать записку.

— Дай Габриели, маменька, — кричала малютка, вырывая записку, — Габриель сама отдаст ему — и записка была отдана ей.

Глинский никак не воображал, что такое подала ему Габриель и, когда нянька сказала, что это от графини, когда он увидел содержание милых строк, он не верил слуху, не верил глазам, допрашивал няньку, целовал Габриель и отправил их в сад, сказав, что идет за ними. Первое движение точно было броситься туда, но мысли были в таком беспорядке, сердце его так билось, колени дрожали, что он принужден был остановиться у дверей и дать хоть немного успокоиться чувствам. Он видел, как графиня показала на аллее, как дочь ее побежала, как Эмилия обнимала ее и отирала свои слезы. Маленькая Габриель скрылась; Эмилия пошла к мраморной скамейке; Глинский, не помня себя, побежал с крыльца и очутился перед нею.

— Глинский! — сказала в замешательстве графиня, протягивая к нему руку, и не могла более произнести ни слова; милое лицо ее покрыто было румянцем, на глазах плавали слезы. Глинский с жаром целовал поданную руку. — Сядьте, Глинский, сядьте, Вадим, я вам скажу... я расскажу вам... — говорила графиня и села на скамью; он сделал то же, но рука ее осталась в его руках; они говорили оба, говорили вдруг; слова графини прерывались слезами, Глинский переставал говорить для того только, чтоб целовать руку Эмилии, и он был так счастлив! — Наконец графиня заметила, что Глинский овладел ее рукою — тихонько отняла ее, но это было не надолго, потому что в пылу разговора, где он оправдывался с силою истины и невинности, другая потупляла глаза, признаваясь в несправедливости обвинения, рука Эмилии опять являлась в руках Глинского залогом примирения и новые пламенные поцелуи румянили нежные пальчики графини.

Наконец пылкость сердечных излияний миновалась и несвязность разговора получила спокойнейшее направление. «Как я обязан этому балу, графиня! — начал Глинский, — я бы никогда не был так счастлив, как теперь», — говорил он, снова прижимая к губам ее руку.

— Перестанем говорить об этом, — отвечала она, отнимая руку в четвертый раз.

Глинский не выпускал добычи; глаза его умоляли графиню.

— Глинский! — сказала она, улыбаясь, — посмотрите, есть свидетель наших поступков!..

Он обернулся, следуя движению руки графининой: она показывала на мраморного купидона Кановы, который, стоя на подножии как живой против скамьи, лукаво грозил паль-

цем. Неожиданность мысли, что его подсмотрели и искусство Кановы, вдохнувшего жизнь в этот кусок мрамора, живо действовали на Глинского: он опустил руку Эмилии и смешался, как будто в самом деле какое-нибудь живое существо явилось пред его глазами.

Победа была на стороне графини, она в первый раз смелее взглянула на Глинского и с удовольствием видела, как его прекрасное лицо выразило сперва замешательство печальности, потом улыбку и за нею маленькую досаду на невинный ее обман.

— Вы волшебница, графиня; вы одним словом одушевили камень и окаменили меня. Я до сих пор не могу избавиться от мечты, так живо она подействовала,— говорил он, протирая левою, раненою рукою глаза, как бы желая изгнать впечатление преследовавшего образа.

— Кровь!.. кровь!..— закричала побледневшая Эмилия и вскочила со скамейки, увидев окровавленную руку Глинского.

В самом деле, завязанный кое-как около раны платок сдвинулся; кровь текла из-за рукава и капала с пальцев.

— Это ничего, графиня. Это царапина,— говорил он.

— Нет!.. нет,— восклицала она,— вы ранены, пойдемте наверх... к матушке... мы пошлем за доктором... а пока... Вы покажете нам!.. нет, Шабаню!.. нет, вы покажете Дюбуа, не опасна ли рана!.. он понимает это... Бога ради пойдемте.— Говоря это, графиня насильно почти вела Глинского из сада.

— Ах, графиня!— шептал он,— пусть кровь моя вытечет капля по капле, только не лишайте меня счастья, каким я наслаждался в эти полчаса!— графиня! если вы уходите сами — пустите меня!.. я не хочу теперь видеть людей... но куда вы меня ведете?— спросил он, видя, что Эмилия подвела его к стене дома.

— Я боюсь отпустить вас домой... после того, что вы говорите, вы не придете наверх; я поведу вас сама, поведу той дорогой, по которой хожу в сад.— Сказав это, она подошла к стене, тронула пружину у решетки одного из низменных окон, и решетка с окном, повернувшись на петлях, открыла лестницу, ведущую вниз, они сошли по ней, и взорам Глинского открылся длинный коридор, шедший под всем домом. Он слабо освещался фонарем, висевшим посредине; по одну сторону между сводами сквозь решетки видны были бочки, другая сторона была забрана глухо.

Испуганная и озабоченная Эмилия только и думала о раненом. Сердце ее замирало при виде, даже при мысли о кро-

ви; она сошла вниз, забыла затворить решетку, и едва они оба ступили несколько шагов, как порыв ветра хлопнул сзади их окном, пробежал по коридору, закачал фонарем и погасил огонь — они остались в совершенной темноте.

Эмилия в первом движении вскрикнула. Глинский по первому же движению прижал ее к груди. — Чего вам бояться со мною, — сказал он — она не отвечала, но, трепеща всем телом, легонько высвободилась из его объятий, взяла за руку и повела за собою.

В первый раз дыхание Глинского стеснилось новым для него образом; сердце билось, в нем было такое множество ощущений. Он слепо следовал за Эмилией — и ни один благодетельный камушек не зашнул его, не заставил упасть к ногам Эмилии и сказать ей: *люблю*, и вырвать из ее трепещущей груди признание. Рука ее дрожала в руке Глинского, но Эмилия бежала от самой себя, боясь проговорить какое-нибудь слово, чтоб это признание не слетело с губ ее. Одним словом, они вышли из этого лабиринта на дневной свет рука с рукой, оба с бьющимися сердцами.

Эмилия вздохнула легче на чистом воздухе; Глинский вздохнул также... но вздох его был также тяжел!

Наверху уже собирались обедать; но появление Глинского сделало там суматоху и заставило дважды подавать простывавший суп; старая маркиза хлопотала и упрашивала слезящими глазами юношу, который никак не хотел, чтоб посылали за лекарем для его бездельной раны. Наконец он, попросив позволения, удалился в особую комнату и дал привратнику Базилю, служившему некогда в войнах Вандеи, перевязать себя. Маленькая де Фонсек беспрестанно закрывала рукою глаза, представляя в своем живом воображении, что Глинский уже умирает, и опять открывала их с детским любопытством. Он снова так был интересен для нее в эту минуту.

Было поздно, когда встали из-за стола. Шабань не обедал дома: он ездил и рассказывал про дуэль; маркиза собиралась ехать ко двору; Клодина беспрестанно вертелась около Глинского, вздыхала, складывала свои ручонки, заботилась о его здоровье; большие черные глаза ее увлажнились слезами, когда счастливый Глинский, порывами выходя из задумчивости, высказывал ей то, что бы ему хотелось говорить Эмили. Графиня была молчалива, наблюдала и краснела, когда он с жаром говорил с Клодиной; тайное чувство сердца сказывало ей, что она сама была предметом его разговоров, но это же сердце замирало, когда она замечала, как

ми глазами Клодина смотрела на Глинского. Ей было жаль своей кузины!

Хорошенькая де Фонсек, с своей стороны, была убеждена, что Глинский любит Эмилию; но не менее того впечатление настоящего, ласковость и веселость его увлекали ее. Она возвращалась мысленно к первым дням знакомства и румянец выступал на щеках ее, когда встречала оживленные взоры Глинского или когда он в бешеной радости схватывал ее и вертелся с нею по комнате в вальсе.

Потрясение чувств, испытанное Эмилией сегодня, неожиданность происшествий, за тем последовавших, заставило ее глубже заглянуть, что там происходит нечто новое. Она видела, что еще несколько минут в саду, еще одно мгновение в подземном коридоре привели бы Глинского к признанию и чувствовала по состоянию своего сердца в то время, что не в силах была бы сказать, что его ненавидит; но теперь, когда эти опасные минуты прошли, она припоминала все, что создала в своем воображении об обязанностях к самой себе, к дочери, к обществу и в отношении к Клодине. Эмилия задумывалась, глядя на нее — невольные вздохи вырывались, и все еще она не могла дать полного и ясного отчета в чувствах своих.

Глинский то был рассеян, то весел до безумия; он перебирал все случаи этого дня: иногда ему представлялось, так как это бывает всегда, когда пропущен случай, как он был близок к своему благополучию и как мало умел этим воспользоваться, и тогда уныние овладевало им: но утешаясь опять надеждою, что чувства сердца не могут быть также переходчивы, как случаи, он видел в каждой будущей минуте исполнение своих желаний, и место задумчивости заступала болтливость, резвость, даже какая-то отчаянная веселость. Такое положение, такое волнение чувств наконец произвело воднение крови, стеснило ему грудь, он стал в отворенных дверях балкона подышать чистым воздухом.

Эмилия и Клодина сидели, не говоря ни слова; наконец первая, воспользовавшись тем, что Глинский не мог слышать их, спросила с беспокойством свою кузину:

— Милая Клодина! ты любишь Глинского?..

Клодина вспыхнула и потупила глаза. Она давно уже не говорила ничего о Глинском по двум причинам, первое потому, что ей известна была склонность его, второе, что он реже ей приходил на память с тех пор, как она перестала считать Шабаня братом. Маленькое сердце ее уже понимало, что она питала к нему более, нежели сестринскую любовь и, хотя она

никогда не скрывалась от Эмилии, но совестились сказать ей о быстрой перемене своих чувствований. Теперешний вопрос графини пробудил ее от настоящего забвения: она почувствовала, как много отдалось влияния минутного впечатления, и потому вопрос показался ей упреком. Она не знала, что отвечать.

— Ты очень его любишь? — повторила Эмилия.

Клодина бросилась к ней на шею. — Я виновата пред тобою, Эмилия, — сказала она вполголоса и запинаясь... — Довольно! Довольно! — прервала графиня, — не говори мне более!.. — Она произнесла эти слова в большом волнении, думая также, что в словах Клодины заключается тайный упрек за ее расположение к Глинскому; стыд, что Клодина понимает ее чувствования, а может быть считает соперницею, вогнал в лицо краску, и в этом положении Глинский застал обеих сестер.

Де Фонсек, возвращенная самой себе, вспомнила, что Шабань долго не едет; она вставала, смотрела на часы, трогала репетицию; потом оставила совершенно графиню с Глинским и ушла в другую комнату брянчать аккордами на фортепиано.

Глинский, который думал, что такая минута будет для него благополучием, теперь трепетал духом и телом. Роковое слово вертелось в мыслях, но язык отказывался служить ему; как мог он выговорить это слово? с какой стати сказать?.. счастливые обстоятельства прошли, а первая любовь так боязлива! Он начинал говорить, не оканчивал речи — останавливался, думая слушать графиню; у него только звенело в ушах, а она не говорила ничего, почти ничего; нельзя было начать и привести разговора к тому, чего желал Глинский. Его положение было тягостное, графиня не подымала глаз с своего рукоделья.

Несколько минут продолжалось совершенное молчание. Только было слышно тяжелое дыхание Глинского и стезжки иголки Эмилии. Наконец, он начал дрожащим голосом:

— Графиня! в жизни нашей бывают такие минуты, в которые мы переживаем целые годы; есть такие шаги, которыми переступаем ужаснейшие пространства; есть магические слова, которые делают счастливейшими людьми самых несчастных...

Иголка выпала из рук графини — и в эту минуту послышался шум; раздался голос Шабаня; он вошел, напевая какую-то арию — Глинский в большом волнении духа остановился на середине приготовленной им речи.

— Ah! vous êtes en tête à tête! Pardon! Que je ne vous dérange pas¹, — вскричал ветреный Шабань, — я только приехал сказать вам bon soir, ma cousine². Это сделалось для меня необходимостью. Bon soir, Glinsky³, — сказал он, подавая руки обоим, — но где же сестрица Клодина?.. я сейчас из театра... Ah! ma cousine!⁴ что за новый водевиль!.. хотите ли, я спою куплет, который я удержал в памяти... — и не дожидая ответа, запел чистым и приятным тенором:

Malgré nous, un destin tutélaire,
Tu le vois, nous protège en secret.
Par dépit, tu t'éloignais ma chère,
D'un amant que ton coeur aimait,
Notre folie à tous est pareille...
la, la, la, la...⁵

Здесь он остановился — потирал лоб, запевал снова la, la, la, la; потом, топнув ногою, сказал: — Проклятая память!.. а я все время его напевал дорогой! — и, не замечая смущения графини, он встретил вошедшую де Фонсек, хлопая хлыстом по сапогу; играл лорнетом; смеялся выговорам Клодины, целуя ее руку; рассказывал Глинскому, что его дуэль известна уже всему Парижу; после этого сел подле Эмилии, объявляя с восхищеньем, что он приглашен завтра на охоту за 10 миль от Парижа, — звал с собой Глинского; одним словом, он тормошил всех, шутил со всеми: не было никакой возможности продолжать важного разговора, но даже сохранить важный вид; беседа сделалась общею и вечер кончился приездом маркизы, которая, рассказав несколько придворных анекдотов, раскланялась со всеми.

— Графиня! — сказал заманчиво Глинский, прощаясь, — вы не сердитесь более на меня? — позвольте же возобновить нашу прежнюю доверенность: будете ли вы завтра в саду?

— Глинский! — отвечала она. — Бог свидетель, что я дорожу вашей дружбою, дружбой, — повторила она, ударяя на этом слове, — и потому хочу именно искренности и доверенности. Я буду в саду, но не забудьте, что там есть свидетель

¹ Ах! вы наедине! Простите! Я не хочу вам мешать (фр. — *Сост.*).

² добрый вечер, кузина (фр. — *Сост.*).

³ Добрый вечер, Глинский (фр. — *Сост.*).

⁴ Ах, кузина (фр. — *Сост.*).

⁵ Ты видишь, что судьба-покровительница

Тайно защищает нас вопреки нам.

С досады ты уходила, моя дорогая,

От милого твоему сердцу возлюбленного.

Наше безумие похоже на всякое другое (фр. — *Сост.*).

всех наших поступков, — прибавила она полуплутливо и полусерьезно.

Это слово «дружба» сделалось теперь для Глинского совершенною насмешкою со стороны Эмили: — И эта вздорная царапина!.. и этот купидон! — думал он, усмехаясь от досады — все было против меня сегодня! даже мрамор смеялся моему несчастью!.. но я отплачу ему за испуг... он не будет более издеваться над моей неловкостью.

Почти всю ночь он вертелся на постеле; различные мысли теснили грудь и голову: то казалось ему, что он уже близок вершины своего счастья, и сколько он ни был неопытен, сердцу его сдавалось, что чувства графини дышали нежностью; — то вдруг слово *дружба*, ею произнесенное, убивало холодом цветок надежды, распускаявшийся в его воображении. Ему представлялись все препятствия: решимость графини, образ ее мыслей насчет любви, приближающаяся пора выступления, отдаленность родины от Франции, народные предрассудки, — одним словом, все, что могло лишить его Эмили. Потом надежда снова светлелась блистающей звездою и, по мере того, как эта звезда всходила пред его глазами, свет ее увеличивался и она прогоняла мрачные призраки, порожденные сомнением.

Завтрашний день решит, жить ли мне в мире с Эмилией или умереть без ее любви, думал он; сердце мое так полно, что я выскажу ей все. Завтра я не испугаюсь тебя, злой купидон; я найду средство не видеть твоей лукавой усмешки и не бояться твоего пальчика — он заснул в веселом расположении духа — и в веселом расположении встал утром, с твердою решимостию действовать по тому плану, который составило пылкое и красноречивое его воображение.

Эмилия пришла к себе домой, разделась и в легком спальном платье отправилась, по обыкновению, в ванну, помещенную подле ее спальни. Она в рассеянии села на табурет, спустила с плеч свое платье и осталась в задумчивости размышлять о всем, что случилось с нею сегодня. Одна ее нога поставлена была на край ванны, врезанной ровно с полом, другая, спущенная вниз, легонько бороздила воду; левая рука ее придерживала на груди единственный покров; правая, облокоченная на колено, подпирала голову; казалось, будто Эмилия пристально рассматривала что-то в воде и забыла, для чего она пришла сюда. Сзади ее стояло большое трюмо, освещенное двумя канделябрами; против ванны пылающий камин разливал приятную теплоту и яркий свет по всей комнате. Прекрасная Эмилия была освещена со всех сторон; рас-

пущенные волосы проливались густыми волнами между тоненьких пальцев руки, скатывались на обнаженные плечи и ревниво закрывали лицо графини, шею и грудь, которая подымалась и опускалась, как лебедь на волнах. Зеркало сзади повторяло этот милый образ в другом виде: прозрачная батистовая рубашка, проникнутая со всех сторон волнами света, изменяла каждому изгибу, всем обводам черты, обрисовавшей живописные формы рук и стана графини; в ванне отражалось задумчивое лицо и темные, как вечернее небо с вечернею росой — глаза.

Ни поэт, ни живописец не умели бы сказать, которая из этих картин очаровательнее; тот и другой, конечно бы, списали эти три картины вместе!

Но что же думала она?.. перед нею вполне открылось все ее положение. Ей теперь нельзя было сомневаться ни в своих чувствах, ни в любви Глинского. Но собственные ощущения были для нее так удивительны, что она никак не понимала, отчего с нею сделался такой быстрый переход от прежнего спокойного положения к тому волнению душевному и сердечному, которое теперь ощущала. «Неужели это, — думала она, — происходит оттого, что я увидела привязанность Глинского в ином виде, нежели представляла: может быть, это для меня неприятно? — нет, — говорила она со вздохом, перебирая происшествия, — нет, я чувствую, что люблю его; чувствую, отчего мне так больно было слышать клевету и так приятно примирение!..»

Эмилия, думая это, играла своим обручальным кольцом, любовалась им; примеривала с левой на правую руку — вдруг оно выпало, скатилось по ноге и кануло в воду; струи взволнованной жидкости блеснули от света канделябров и отраженный блеск заиграл зайчиками по потолку, сбежал змейкой по стене и вылетел молнией сквозь занавеси окошка.

Это испугало Эмилию, как будто она верила предзнаменованиям и как будто падение кольца что-нибудь предвещало. Она опомнилась от своего рассеяния: горничная, ее ожидавшая, спала в углу на стуле, свечка, поставленная на полу, догорела, вода была холодна!.. Эмилия ушла в свою спальню и бросилась на постель.

Здесь ей представилась другая сторона предмета: все, что говорила прежде Клодине о ее любви, пришло ей на память. Глинский был также чужестранец и теперь, каким был тогда; она осуждала Клодину за неуместную склонность, осуждала с жаром каждого, чье сердце не повинуетя рассудку, и теперь была сама виновата в том же. В сегодняшнем ответе

Клодины видела она ее любовь и справедливый упрек себе, потому что сама дала ей повод и надежду, она, которая называла хитрою любовь, и порывы сердечных чувствований слабостью, она как будто нарочно пробудила ожидания юной Клодины, чтобы перехватить самой все ее надежды.

С другой стороны, мнение целого Парижа о любви графининой к покойному мужу, о ее намерении остаться навсегда вдовою, было так утверждено; она сама с такою искренностью объявила об этом отцу, матери, родным и знакомым: даже при дворе, составленном теперь большею частию из ее родных и коротких людей, это столько считали верным, что она трепетала при одной мысли, какого бы шуму наделала новая любовь, если бы она имела слабость отдаться ей, — а это могло случиться, потому что Клодина, Шабань, сам Дюбуа и даже маркиза, одним словом, все, что ее окружало, подозревали ее и каждый по своему выразил о том свое мнение. Но она никого столько не боялась, как Шабаня, который по ветренности готов был распустить об этом слухи, и никого ей так не было стыдно, как Дюбуа, кому она столько раз ручалась за свои чувства.

Все ужасы ее положения явились тогда пред глазами; она скрыла горящее лицо в подушку и старалась отыскать в самой себе столько спокойствия и силы рассудка, чтобы воспротивиться своему сердцу.

— Принуждение недолго, — думала она, — еще неделя, может быть, две, а там!.. Предвижу, какая сцена ожидает меня завтра в саду, но я предупрежу ее; скажу ему, чтоб он был тверд, подобно мне, скажу все, что велит благоразумие!.. — Я люблю, но не покажу этого и мое хладнокровие остановит его. Сегодня я была робка, потому что не знала, что со мной случится; завтра буду смелее, предвидя бурю!..

Так рассуждала Эмилия, так ободряла себя, старалась казаться самой себе твердою — пересчитывала, что ей завтра надобно будет говорить и улыбалась в обольщении самодовольствия, воображая, какие сильные доводы представит, какие убеждения употребит, чтобы возвратить Глинскому власть над самим собою; наконец, она составила целую речь, которая, казалось, должна была привести ее прямо к предполагаемой цели.

Глинский с раннего утра гулял по саду; вид его был веселый; можно было заметить на лице, что надежды льстили его воображению. Он ходил неровными шагами, улыбался, смотрел рассеянно перед собою и всякий раз, когда проходил мимо мраморного купидона, с усмешкою грозил ему, приго-

варивая: «Теперь я не боюсь тебя!» Он ожидал долго: терпение его было подвержено большому испытанию; он целую ночь боялся, что придет в сад, теперь думал, что графиня опаздывает; наконец она показалась; он бросился к ней навстречу.

Казалось, что желаемая для обоих минута наступила; оба приготовились встретиться друг друга, но надобно было видеть, что сделалось с ними: все приготовления были забыты: Эмилия остановилась, отвечала с замешательством на робкий поклон Глинского, потом пошла, потупя глаза; он боязливо следовал за нею; оба молча подошли к мраморной скамейке, сели; Глинский начал первый:

— Вы требовали от меня вчера, графиня, совершенной откровенности и потому я должен сказать вам, что у меня на сердце.

Бледная Эмилия трепетала как лист.

— Постойте, Глинский,— прервала она,— ради бога, постойте... я запрещаю вам говорить, пока не скажу того, что мне надобно сказать вам...

— Но, графиня, вы не знаете, как это мучит меня, как это раздражает мое сердце... я лю...

Испуганная Эмилия закрыла своею рукою губы Глинского.

— Нет, Глинский, нет!.. мне очередь говорить,— лепетала она дрожащим голосом.

Глинский вместо ответа овладел рукою, и как она ни силилась отнять, как ни повторяла, что рассердится — он не выпускал ее — «вы забыли, что за нами присматривают», — сказала Эмилия и с теми словами, взглянув на статую, вскрикнула в ужасе! — Купидон стоял перед нею с завязанными глазами и спутанной рукою! — Глинский недаром приговаривал, что теперь его не боится.

Эта неожиданность так поразила Эмилию, она так испугалась повязки, как будто с глазами и пальцем купидона лишилась покровительства! Она потерялась, не знала, что делала; закрывала, как дитя, рукою ту руку, которую Глинский осыпал поцелуями и теперь обе были в его власти, а у нее не было силы отнять их. Такие минуты жгут, взрывают человека; юноша схватил трепещущую Эмилию, сжал ее в своих объятиях с такою силою, что из ее груди только мог вырваться невольный стон, и тот был задушен бешеным поцелуем. Глинский упал на колени — Эмилия, люблю тебя,— повторял он...

Но первое действие свободы Эмилии было убежать: толь-

ко на это достало ее присутствия духа. Она чувствовала себя не в силах бороться с своим сердцем и страстью Глинского; она не думала, что слово *люблю* любимого человека может иметь такое действие над женщиною. Она бежала!

Беги, Эмилия! беги! одно средство для того, кто понадеялся на защиту вероломного купидона!

Глинский долго оставался один с раздирающей досадой, с горьким отчаянием в сердце.

ГЛАВА VI

Слухи о выступлении русской гвардии подтвердились приказами по всем войскам и назначением очереди полков. Это известие пришло к Глинскому в самый день его несчастия: чрез три дня он должен был выступить. Все офицеры спешили воспользоваться последними минутами пребывания в Париже, один только Глинский не принимал участия ни в общих веселостях, ни в приготовлениях. Казалось, он умер для всего, кроме тоски: его положение было жестоко. Все надежды его рушились. Графиня, как говорили, была нездорова и не выходила из своей комнаты; Глинский два дня уже не видел ее и эти два дня были для него веком. Старушка маркиза с удивлением замечала эту перемену, спрашивала, выпытывала и качала головою, когда он отзывался нездоровьем, впрочем, она наверное полагала, что разлука томит его, но никак не думала, что Эмилия страдает тою же болезнью. Она видела дружбу ее к Глинскому, даже казалось ей иногда, будто чувство нежнейшее обнаруживалось в обращении Эмилии с молодым человеком, и старушка втайне радовалась, что милая дочь ее может отступить от своего обета; притом же русский имел столько блестящих качеств, имел независимое состояние и был в ее глазах такого знатного происхождения: но, не менее того, она знала твердую волю дочери, была уверена в неизменности ее правил, слышала беспрепятственное повторение того же и горевала, что скорое отправление разрушает надежды ее в исполнении приятной мечты о человеке, которого столько полюбила.

Мучения Глинского превосходили душевные силы. Эмилия оставила его без ответа: он не знал, чего надеяться, чего желать — и так, как нет страдания пронзительнее неизвестности, ему казалось лучше, если б графиня решительно сказала, что его ненавидит; теперь же, что мог он думать?.. Два дня колебался он, ожидая каждую минуту видеть графиню

и каждую минуту был обманут в надежде; оставался только один день, и Глинский решился написать к ней письмо. Оно было следующего содержания:

«Вы ненавидите! Вы презираете, вы не хотите меня видеть, графиня! довольно одного из сих орудий, чтоб убить, а вы поражаете всеми тремя — и за что? За то, что я люблю вас, что сказал это, что запечатлел это печатью священнейшею самой клятвы? Графиня! я сам себе нашел мученье в этом поступке: он жжет меня, он сушит мозг в костях моих — не удвойте же кары, скажите, что заслужил я от вас, ненависть или презренье? в обоих случаях буду уметь сам наказать себя, но не томите неизвестностью. Скажите, напишите, дайте знак: лишь бы я понял, что вы обо мне думаете. Вы не имеете надобности убегать моего присутствия, скажите ответ — и меня здесь не будет!»

Все молодые влюбленные люди думают, что они пишут очень красноречиво и убедительно; иначе они бы не писали. Неизвестно, что думал Глинский, но письмо его свидетельствовало более беспорядок его мыслей, нежели выражало то, чего хотел он.

— Скажи графине, — поручал он няньке Габриелиной, отдавая, однако же, самой малютке письмо, — что я послезавтра выступаю с полком и теряя надежду видеть ее лично, осмеливаюсь послать мое прощанье в письме.

Бедный юноша! он рассчитывал на завтрашний день, но поутру этого дня получил приказание явиться в полк. Выступление было ускорено целыми сутками, и в 11 часов утра Глинский оставлял стены Парижа, не получив никакого ответа, не зная ничего о своей участи.

В это печальное утро графинины окошки, против обыкновения отворяемые ранее других, в девять часов еще задернуты были розовою тафтою. Сердце Глинского сжималось при мысли, что Эмилия не выйдет к завтраку и он даже не увидит ее более! Все бремя обиженной любви легло на его сердце. Долго для него тянулось утро, наконец, ударило девять часов и с последним ударом колокольчика явился к нему Шабань.

— Я хотел к тебе быть ранее, — сказал он, — но меня задержал проклятый портной и отнял, по крайней мере, час твоей беседы. Надобно последний день провести вместе.

— Торопись, любезный Шабань, мы получили повеление в 11 часов выступить с полком.

— Peste!¹ — воскликнул Шабань, сделав два шага назад. —

¹ Черт возьми! (фр. — Сост.).

Почему же не завтра?— но знаешь ли, что этому быть невозможно: кузина Эмилия поручила мне сегодня звать тебя на чай к ней на половину. Она не может выходить, но желает с тобой проститься; мы все там — и Дюбуа тоже.

— Если графиня,— сказал Глинский с судорожной улыбкой,— не удостоит меня принять теперь или выйти к завтраку, то мне останется одно воспоминание о том, что называла она дружбою!

Изумленный Шабань подбежал к окну:

— Скажи пожалуй,— говорил он,— еще спит!.. неужели она не проснется к завтраку! Пожалуй, она и не узнает, что ты уехал!

— Она того и хочет! Но оставим это, друг мой, и поговорим о тебе. Мне надобно видеть счастливых людей, хотя я и завидую их счастью.

— Не меня ли ты хочешь назвать счастливым? Я самый несчастнейший человек в свете! я целые сутки ничего не ем с грусти и целую ночь не мог заснуть с тоски; а ты знаешь, как для меня важно то и другое. Эта негодная вертушка свернула мне голову и я не узнаю сам себя. Вчера мы поссорились с нею за пустяки и если не помиримся сегодня, я, верно, умру с голоду!

— В самом же деле ты несчастлив!— сказал Глинский с усмешкою, но видя, что Шабань, несмотря на свои шутки, едва не плакал, спросил его с участием:— Но за что же поссорились вы?..

— За что?— За то, что я имел глупость в нее влюбиться! Лучше бы было, если бы ты сошелся с нею, потому что моя кузина непременно хочет, чтоб я вздыхал подобно ей,— кто бы этого от нее ожидал!— жаль, что я не полюбил Эмилию, она не охотница до сентиментов. Ну, Глинский, ты погубил меня в конец своим безвременным отправлением; а я думал, что ты помиришь меня с Клодиною.— Но что же! пойдём наверх, теперь нечего ждать завтрака, я побегу уведомить всех о твоём выступлении и, может быть, успею известить Эмилию.

Они взошли вместе наверх. Шабань побежал и Глинский остался один в кабинете маркиза. Долго стоял он против портрета Эмилии и мрачные мысли, одна другой прискорбнее, рождались в его сердце, впивались в него змеями и исчезали, сменяемые еще злейшими, наконец, небольшой шорох заставил его оглянуться. У окна стоял Дюбуа, сложа руки, точно в том же положении, в каком Глинский увидел его в первый раз. Вид его был столь же мрачен, как и тогда.

— Прощайте, Дюбуа,— сказал Глинский, бросаясь к нему,— в 11 часов я оставляю Париж.

— Я сам еду из Парижа сего же дня и пришел проститься с вами, но не хотел мешать вашему забвению. Глинский, вы любите эту женщину?

Юноша покраснел вместо ответа.

— Я это знаю,— и знаю более, нежели вы мне сказать можете. Не вправе давать вам советов, но скажу, что ваше общее счастье здесь — вам не должно упускать его. Не краснейте, Глинский; всякому человеку суждено любить раз в своей жизни; любовь пристала юноше, но горе тому, кто пропустит свое время; нет ничего страннее влюбленного старика: он смешон, ежели обнаружит свою любовь, и жалок, ежели должен скрывать ее; перед юношею все надежды, перед ним... один ужас отказа!

Сказав это, Дюбуа прошелся несколько раз по комнате, потирая свой лоб, как будто желая разогнать мысли, теснившиеся в его голове.

Глинский не мог опомниться от изумления, каким поразила его доверенность человека, удалявшего доселе всякий разговор об этом.

— Итак, вы знаете, что я люблю графиню, и говорите, что она должна составить мое счастье, тогда как я осужден не видеть ее более — когда я расстанусь с ней навеки?..

— Прежде, нежели буду отвечать, скажу нечто о себе. Я не имел ни брата, ни сестры, ни родного в целом мире. Суровая жизнь и трудное поприще отдаляли от меня нежные склонности сердца и я остался до сих пор одиноким; но это дорого мне стоило и еще дороже стоит теперь. Часто при моих горестях, при счастливых удачах, я не мог ни с кем разделить чувств моих! как иностранец, как отверженец посреди толпы, я не встречал ничьего взора, в котором выразилось бы участие; не было ни одного существа, которому бы стало прискорбно мое горе или понятно мое торжество, и я, со смертью в душе, дожил до сей поры. Глинский! не доживайте холостым до моих лет и не выпускайте из рук счастья потому только, что оно трудно достается. Я только теперь благословляю бога, что он в трудную минуту, для меня наступившую, оставил руки мои несвязанными и сердце... сердце, над которым я еще имею власть.— Теперь послушайте мой ответ на ваши вопросы: я вижу давно, что вы любите графиню, но еще не уверен был в ее к вам расположении; сверх того, я имел посторонние причины не говорить с вами об этом предмете. Теперь я знаю, что графиня любит вас...

— Она любит меня? вы ошибаетесь, Дюбуа! три дни как она не хочет меня видеть, не хочет отвечать, не хочет даже проститься!

— Вы ошибаетесь также. Я прочитал в ее сердце и лице совсем другое; я не солгу, если скажу, что даже знаю это от нее изустно. Эмилия должна быть ваша!

— Но как я могу?— теперь я не вижу ее, а если и увижу, то на минуту.

— Одна минута решает участь нашей жизни. Я бы не советовал вам, если бы не собственная сердечная потребность меня к тому принуждала. Я уважаю графиню; желаю ей добра; участь ее беспокоит меня; но я знаю и вас и ваше соединение отнимет у меня последнюю надежду!.. я хотел сказать, последнее препятствие, т. е. все, что меня удерживало здесь и мешало выполнять предпринятые намерения. Итак, если выступите к полдню, возвращайтесь вечером и будьте у графини к чаю; ведь она пригласила вас. Но, если желаете успеха, не говорите об этом.

В сердце Глинского любовь боролась с надеждою, сомнением и досадою. Он стоял, смотря на портрет Эмилии. «А если она не любит меня?— сказал он задумчиво,— а если мне суждено никогда не видеть ее более?— Я не хочу ее видеть!»

Дюбуа молчал и потупил глаза, чтоб скрыть какую-то радость, выразившуюся в его чертах; однако, за эту радость последовала борьба, потом он сделал приметное усилие над собою и сказал:

— Знаете ли, что этот портрет есть славнейшее произведение Жерара? У меня сделана была с него копия и долго я хранил ее с другими моими работами — но теперь мне надобно ехать, может быть, надолго; может быть, не возвращусь никогда и эта копия тогда попадет бог знает в какие руки. Хотите ли вы иметь этот портрет?..

Глинский с жаром бросился к нему в объятия. Дюбуа потихоньку высвободился и вышел из комнаты.

Можно представить положение взволнованного юноши! Не успел он раздумать о словах Дюбуа, как замок стукнул снова и он, остановясь в полуотворенной двери, протянул к нему руку с портретом. Лицо его было необыкновенно бледно, рука дрожала, и когда Глинский подбежал взять портрет, он отворотил голову, чтоб не показать своего смущения, и сказал:

— Отдаю залог вашего счастья с условием, чтобы вы сегодня были ввечеру. Теперь прощайте, Глинский, может быть, навсегда; теперь я пойду прямо к цели; меня ничто более не

остановит. — Сказав это, он сжал руку Глинского и скрылся.

Закрытый стеклом портрет был тепел и на лайке, закрывавшей затылок, обозначались следы золотой рамки, из которой как будто поспешно его вынули. Глинский ничего этого не видел, кроме портрета.

Не станем говорить о том, что происходило за завтраком. Старик маркиз и маркиза плакали, прощаясь и благословляли Глинского; Шабань переступал с ноги на ногу, крутил усы, барабанил в окно; несколько раз брал руку уезжающего и отходил к окну, не сказав ни слова. Одной Эмилии не было; напрасно маркиза извиняла ее нездоровье и уговаривала Глинского остаться с ними до вечера пить чай и проститься с дочерью; он отговаривался невозможностью и едва ли он не в самом деле так думал, потеряв надежду увидеть Эмилию, а Дюбуа тут не было, чтобы поддержать колеблющуюся веру шаткою надеждою на будущее.

Наступила минута прощания. Юноша переходил из рук в руки, наконец, вырвался из объятий и с стесненным сердцем сбежал с лестницы; но тут в огромных сенях ожидала его вся дворня маркизова. Все в доме любили его от мала до велика; каждый по своему изъявлял свои сожаления и напутствия; он вынул кошелек: червонцы посыпались и вся дворня, провожая, кричали ему изо всех сил благодарственные восклицания.

Глинский сел на лошадь, которая давно уже обливала удила пеною, и тронул поводьями. В эту минуту он оборотился взглянуть последний раз на окна Эмилии: ему показалось, что занавесь зашевелилась, отдернулась и графиня, вызванная криками толпы, махала ему рукою.

— Только теперь?.. в эту минуту? — подумал Глинский, отвечая ей низким поклоном — и вонзил шпоры в бока лошади. Бедный конь взвился на дыбах, дал отчаянный поскок и вылетел за ворота!

В самом ли деле Эмилия была больна? — В самом деле; но болезнь ее была нравственная; ужасная борьба происходила в ее сердце. Любовь боролась с ложным стыдом, с ложно принятыми правилами; к тому же ложные заключения о склонности Клодины, которую она сама вызвала на сцену; намеки родных, мнение света казались ей упреками в такой слабости, — в такой вещи, о которой она пред целым светом дала торжественную клятву, не могши сдержать оной. Она получила письмо Глинского: сперва не знала, что сказать ему, потом отвечала отказом; написала еще — тут были надежды — оба ответа остались дома; в обоих положение сердца

графинина светилось сквозь набор строгих сентенций, громких слов и воззваний, худо прикрывавших ее чувства. Волнение страсти перемогало нежное сложение графини; бессонные ночи, больное сердце, напряженное воображение привили ей лихорадку, которая увеличивалась еще более нерешительностью духа и поступков.

— Нет!— говорила она, когда бессонница гнала ее с постели,— нет! я боюсь его видеть, боюсь отвечать ему. Скоро его не будет — это преходящее чувство исчезнет, я сдержу слово пред людьми, пред лицом Неба,— и никто не увидит моей слабости!.. Но почему же во мне эта слабость?.. Нет! для меня есть мечты, на коих непозволительно даже останавливать мысли!.. но что подумают обо мне другие, ежели узнают, что боязнь удержала меня в постеле; что я не смею сделать шагу, не изменив сердцу, против которого столько вооружалась и столько была тверда некогда?.. Столько ли я больна в самом деле, что моя болезнь могла изменить меня в нежелании видеть его — проститься с ним, с человеком, который был так короток в доме? эта лихорадка не оправдание!.. но я могу сказать, что очень больна... Нет! я стыжусь притворства!.. Но если увижу его, в состоянии ли буду скрыть свои чувства?.. Боже мой!.. буду, по крайней мере, плакать; этого он не увидит... однако, я позову его к себе, но с другими; должность хозяйки не оставит мне ни одной опасной минуты.

Так думала Эмилия, откладывая приглашение до последнего дня и эта решительная минута не приближалась; два дни протянулись для нее веками. Сколь ни твердо было намерение Эмилии расстаться навсегда с Глинским, но все еще она хотела проститься с ним, хотела еще раз увидеть его. Бессонная ночь, расстроивавшая Эмилию, заставила ее остаться в постеле, когда уезжал Глинский. Она лежала, забывшись легким забвеньем, мечтая о сегодняшнем вечере, когда крик на дворе, звяканье подков, ржание лошадей и напутные желанья, пробудив ее, высказали горькую истину отъезда и неожиданной разлуки, без свидания, без прощанья, без дружеского привета.

Пусть судит каждый, что было в это время с Эмилией. Прошел жестокий час: подушка ее была взмочена слезами; в комнате было темно, когда старая маркиза на цыпочках вошла к ней.

— Кто тут?— спросила Эмилия. Маркиза, отдернув занавесь, села подле нее на кровати и спрашивала, что с нею случилось сегодня, и отчего она так долго лежит в постеле.

Маркиза имела причину спрашивать об этом, потому что два раза она подходила к дверям и отходила прочь, не смея потревожить сна дочери.

— Все прошло, милая матушка! все кончилось! я хочу встать, — я надеюсь угощать вас у себя сегодня.

— Не лучше ли, друг мой, тебе остаться в постеле и не беспокоиться для своих. Знаешь ли ты, что Глинский уехал? — Я не могу пересказать всего, что он говорил, сколько он препоручал сказать тебе, я очень плакала, друг мой, — я люблю этого прекрасного молодого человека.

Несколько секунд Эмилия молчала, потом спросила трепетным голосом: «Уехал и не будет более?»

— Не будет, милая!

— Маменька! я хочу, чтоб вы были у меня, мне будет легче, мне будет лучше. Все кончено!.. я не ожидала так скоро!..

— Впрочем, твоя лихорадка была бездельная, ей и надобно было скоро миноваться — но все-таки лучше успокоиться.

В комнате с задернутыми занавесами было темно; слезы Эмилии катились неприметно. Маркиза, успокоенная уверениями дочери, встала и ушла, обещаясь быть у ней к чаю.

Вечеру семейство Бонжеленя собралось на половине у Эмилии. Все были скучны; маркиза говорила о Глинском, пересчитывая его добрые качества, и каждая похвала стрелой вонзалась в сердце Эмилии, которая была бледна, старалась занимать общество, несмотря на то, что голос изменял ей и сухие глаза горели огнем лихорадки. Маленькая де Фонсек, надув свои губки, сидела отвернувшись от Шабаня, который кусал ногти с досады и время от времени делал односложные вопросы или отвечал такими же словами присутствующим. Старого маркиза не было дома.

— Где же Дюбуа? — спросила Эмилия.

— Где же Дюбуа? — повторила маркиза.

Шабань позвал слугу, приказывая от имени графини звать Дюбуа.

— Он уехал еще поутру перед завтраком, — отвечал слуга.

— Куда же он уехал?

— Не знаю. Он оставил письмо к маркизу, который, прочитав, приказал запереть комнату г. Дюбуа и принести к себе ключ.

Все взглянули друг на друга с изумлением. Вопросы были напрасны. Каждый мог об этом думать, как ему угодно. Темное предчувствие шептало графине, куда уехал Дюбуа.

При первой мысли она невольно вскрикнула: несчастный! он погибает для своего героя! Все оборотились к ней и ждали объяснения на это восклицание, как вдруг на дворе послышался лошадиный топот и развлек общее внимание. Шабань подошел к окну.

— Приехал какой-то верховой,— говорил он.— Базиль светит ему фонарем. Они идут к подъезду графини.

Глаза всех были обращены на Шабаня; ожидали, что он скажет еще.

— Это не Дюбуа,— сказал он, приглядываясь.

— Кто же?— спросила невольно графиня, хватаясь за стол как бы с намерением встать. Как будто инстинкт говорил, что ей должно бежать, но дверь растворилась и явился Глинский.

Все в один голос вскрикнули; все вскочили и бросились к нему навстречу. Одна графиня осталась в том же положении, бледная, без сил встать, не в состоянии выговорить ни слова и с сухими глазами, которые красноречивее слез говорили, что происходило в ее сердце.

Глинский был одет по походному, в скюртуке, в шарфе и знаке: на лице видны были следы душевного расстройства; волосы в беспорядке; но все это вместо того, чтобы вредить его физиономии, делало ее еще интереснее. Слабая краска подернула его лицо, когда он подошел к Эмилии.

— Я бы не смел беспокоить вас, графиня, зная, что вы нерасположены, что вы нездоровы: но услышав, что вы сами желали видеть меня, употребил все способы, чтобы иметь возможность поблагодарить вас за...— здесь он остановился, не смея более довериться своему голосу, который начал изменять внутреннему чувству.

— Да, Глинский, я хотела видеть вас... и думала, что не увижу... По вашему лицу видно, что вы устали... садитесь, Глинский...— говоря это, графиня не смела поднять глаз. Ему было не лучше.

Эмилия как хозяйка должна была поддерживать разговор; несколько раз она начинала обыкновенными вопросами, он отвечал коротко — и, несмотря на первую радость, которую все показали, увидев Глинского, прежнее расположение снова овладело всеми. На дворе шел проливной дождь и гремел в крышу и в окна; ручьи с жолобов журчали, разливаясь по двору лужами. Погода совершенно была согласна с расположением собеседников. После первых приветствий, после сожалений о путешествии верхом в такую дурную по-

году, Эмилия сделала еще несколько вопросов, на которые Глинский отвечал как бы задерживая дыхание.

— Боже мой! — воскликнула маркиза, — что с вами случилось, Глинский. Вы с Эмилией говорите точно как чужой!

Глинский печально взглянул на Эмилию и отвечал:

— До сих пор обращение ваше заставляло меня заблуждаться и думать, что я не чужой в доме вашем, но настоящее положение невольно напоминает, как горестно я ошибался и как далек от того, чтобы назваться вашим!..

В словах и выражении Глинского было что-то такое, которое не могло быть прямым ответом на сказанное маркизою, но скрывало другое значение — однако, маркиза приняла это просто.

— Да! — сказала она со вздохом, — судьба всегда играет людьми! В самом деле, не шутка ли с ее стороны, что она вас привела сюда с краю христианского мира, поселила у нас в доме, заставила полюбить вас — и зачем же все это?.. чтобы горестнее сделать разлуку!..

— Так, маркиза! я не сомневаюсь; что вы жалеете меня, но я был для вас только временным гостем, явлением переходящим; по вашим прекрасным качествам вы обласкали бы каждого. Но для вас это чувство было не ново, ничего не значило и, следовательно, должно оставить легкое впечатление; тогда как я, обласканный на чужбине как между родными, что я считаю благодеянием, в молодости лет, когда впечатления живы и остаются на всю жизнь, я унесу глубокое чувство в душе моей. Уверен, что меня забудут, маркиза! Мысль об этом забвении будет преследовать меня, — но я... по мое единственное мщение будет — любить тех, которые могли внушить мне это чувство!

— Полноте, Глинский. Перестанем говорить об этом; вы, пожалуй, станете уверять, что мы заставили вас назло полюбить себя. Лучше провести последние часы веселее. Вы и то расстроили сегодняшний день, сказав, что не приедете. Если же приехали, то помогите развеселить нашу больную, которая угощает нас по вашей милости.

— Я знаю, как графиня строго наблюдает обязанности светские, и уверен, что она готова сделать это для всякого, если того потребует приличие. — Глинский выговорил это с некоторой колкостью. Краска выступила в лицо Эмилии. Маркиза посмотрела значительно на обоих. Видно было, что она догадалась, к чему клонилась речь, и замолчала. Эмилия, чтобы скрыть замешательство, подозвала Шабаня и посадила подле себя, а Глинский встал и подошел к де Фонсек, сидев-

шей на стуле поодаль дивана, и начал с нею вполголоса:

— Отчего вы так печальны, прекрасная Клодина?

— Неужели можно быть веселою, когда вы прощаетесь навечно с нашим домом?

— Значит, вы жалеете чужого; что же будет, если вы узнаете, к какому новому лишению готовит вас судьба?

Любопытная и встревоженная де Фонсек живо обернулась к нему с вопросом: «Говорите, Глинский, что это такое?..»

— Скажу вам за тайну, что Шабань вступает в нашу службу; сегодня все решено; я приехал за ним и мы едем вместе.

Бедная Клодина побледнела и не могла выговорить ни слова. Глаза ее перебежали от Шабаня на Глинского, недоверчивая улыбка полуоткрыла ее ротик.

— Не выдавайте меня: я говорю для того, что вы еще имеете время уговорить его. Я не мог ничего с ним сделать. Он совершенно как безумный, не хочет слушать никаких советов.

— Ах! Глинский! что вы сказали?— зачем он это сделал?

— Шабань говорит, что он несчастлив; что не может более оставаться во Франции; что все, привязывавшее его к отечеству, для него не существует более; что он, потеряв спокойствие, не дорожит собою; что все счастье, какого он надеялся, все мечты будущего разрушены с любовью той особы, которую он почитает выше всего на свете. Это собственные его слова, Клодина.

Слезы теснились на вопрошающих глазах малютки.

— Скажите правду... он не поедет?— сказала она, положив свою руку на ручку кресел, в которых сидел Глинский.

— Скажите и вы мне правду, Клодина, хотите ли вы, чтоб он уехал?

— Нет! Бог свидетель, не хочу,— промолвила Клодина, схватив его за руку.

Глинский именно привел малютку Клодину к тому, чего ему хотелось, и между ними начались объяснения. Мало-помалу он призывался в своем обмане; она говорила от сердца, слезы увлажжали ее прекрасные глаза. Эмилия разговаривала с матерью и Шабанем: но внимание всех троих более или менее устремлено было на Глинского с Клодиной. Впрочем, Шабань один только понимал, что там делалось. Старая маркиза, однажды постигнув мысли Глинского и Эмилии, замечала за дочью. Опытная женщина понимала, что между ними случилась какая-нибудь ссора, которая заставляет их отдаляться друг от друга, и думала в разговоре Глинского

с Клодиной видеть обыкновенную хитрость для возбуждения ревности или досады Эмили. Но лицо этой не выражало ни того, ни другого. Она понимала в разговоре Клодины совсем другое, ей казалось, что горесть малютки обнаружилась в признании, — и как она заметила, с каким жаром Клодина брала руку Глинского, — как холодно отвечал он ей, — все это было для Эмили жестоким упреком за состояние, в котором, по ее мнению, была милая девушка. Итак, на лице Эмили была одна скорбь, и старая маркиза терялась в догадках. Между тем нетерпеливый Шабань встал и ходил по комнате.

— Что говорят они? — спросила маркиза, воспользовавшись этим случаем.

— Ах! маменька! Клодина любит Глинского!

— Любит Глинского? — сказала удивленная старушка, — я думала совсем другое... я полагала, что Глинский напротив...

Эмилия затрепетала при мысли, что мать постигает ее тайну. Но Клодина в это время кончила разговор с Глинским и последние слова ее были произнесены так громко, что прервали дальнейшие объяснения Эмили с матерью.

— Ах, Глинский! я все бы сделала, чтобы внушить то же, что сама чувствую, — сказала Клодина, вставая.

Эти слова отдались в глубине души Эмили.

Глинский сделал знак Шабаню. Влюбленные обменялись взорами, и в комнате было уже двое счастливых. Все сели кругом стола. Шабань, украдкой сжав ручку Клодины, развеселился. Клодина более не морщилась и сам Глинский, довольный добрым делом, несмотря на свою грусть, время от времени вмешивался в разговор, но не менее того, все его порывы замирали, сдерживаемые печальным расположением Эмили, и вся беседа походила на мрачный осенний день, когда густые облака, гонимые ветром, раздвигаясь на минуту, пропускают солнечный луч и он, быстро пробегая по полю, умирает, стесненный снова тучами и увеличивает еще более мрак картины. Таким образом прошел вечер. Было уже поздно; за Клодиной приехала карета; Шабаню надобно было проводить ее. Она, растроганная сегодняшними происшествиями, плакала горько, прощаясь с Глинским. Наконец они пошли; старая маркиза провожала их до дверей, приказывая что-то такое бабушке Клодины, и в это время Глинский подошел к Эмили, сказал ей:

— Вы меня презираете, графиня. — Она взглянула на него с видом упрека.

— Да, графиня, потому что не удостоиваете даже и теперь меня ответом. Только двух минут прошу у вас... Грудь моя полна... Не убейте меня отказом, потому что мысль о вашем презрении сведет меня в могилу...

Маркиза, возвратясь, села с ними, незначащий разговор продолжался. Глинский умоляющим взором смотрел на Эмилию, но минуты улетали за минутами, время проходило и отчаяние начало заступать место слабых надежд в сердце несчастного юноши.

— Неужели вы поедете верхом назад, в эту погоду и так поздно?— спросила маркиза. Глинский отвечал, что велел нанять коляску, ожидает ее с минуты на минуту и совестится, оставаясь у них так долго — дольше, нежели надобно. Нельзя сказать, с какою горестью выразил он последние слова, взглянув на Эмилию — и они как будто пробудили ее.

— Вы уезжаете навсегда отсюда, Глинский,— сказала она,— вы так любили мою Габриель... я слышала, что русский крест, русское благословение приносят счастье... хотите ли благословить дочь мою?..

Радость блеснула в глазах Глинского.

— Тысяча благословений, графиня!— воскликнул он,— жизнь свою отдал бы и тогда, когда я еще дорожил ею!..

— Подите, дети,— сказала маркиза,— ты, Эмилия, прекрасно вздумала!— и когда графиня, взяв под руку Глинского, пошла вон из комнаты, она, смотря за ними вслед, качала головой, приговаривая про себя:— Бедные дети! они не понимают друг друга!..

Глинский искал слов, чтоб выразить чувства, переполнившие грудь его, и не находил. Он чувствовал, как билось его сердце, и это еще более увеличивало его смущенье. Несколько секунд молчали они. Голос Глинского дрожал, когда он начал:

— Неужели, графиня, я должен унести с собою стрелу, меня уязвившую и которая доведет меня до гроба.

Графиня также собиралась со всеми силами, чтоб отвечать.

— Глинский,— сказала она,— дружба моя к вам останется вечною. Я знаю вас, уважаю, буду жалеть о вас: но я мать; в моем сердце не может вмещаться другое чувство,— я горжусь им, я им счастлива!.. вы заслуживаете лучшего сердца... будем друзьями.

— Не произносите этого слова!— я не могу вас обманывать и не хочу быть вашим другом-самозванцем — любви вашей ищу я, Эмилия!..

— Нет, Глинский!— сказала графиня нетвердым голо- сом, — нет! все противится нашему соединению.

Они прошли сквозь ряд слабо освещенных комнат и всту- пили в детскую Габриели. Там в богатой колыбели, на розо- вых подушках покоилась глубоком сном невинности малют- ка. Две няньки подошли со свечами, когда Эмилия с Глин- ским приближались к колыбели. Дитя лежало, разметав руч- ки; в одной была игрушка, подаренная Глинским на про- щанье: она не хотела и на ночь с нею расстаться. Долго смотрел Глинский на спокойный сон милой малютки, потом наклонился, поцеловал ее в голову и благословил по русско- му обыкновению тремя крестами. Эта минута была торжест- венна: обе няньки рыдали. Глинский был тронут до глуби- ны души; одна Эмилия не плакала, — но лихорадочная дрожь пробегала по ее членам: она принуждена была держаться за стул.

Поцелуй, яркий блеск свеч перед глазами спящей Габрие- ли пробудили ее: она села и в удивлении осматривала около- стоящих; тонкая рубашечка спустилась, большие черные по- лусонные глаза медленно переходили с одной фигуры на дру- гую; милый румянец детского сна играл на ее здоровых ще- ках, — как различен бывает взрослый человек после сна с дитя- тью!

— Глинский!— сказала она, протягивая к нему ручон- ки, — зачем ты здесь?

Он взял ее на руки:

— Я пришел проститься с тобою, милая Габриель, — ска- зал он.

— А куда ты едешь?

— К своей маменьке, друг мой.

— Не ездить!.. Габриель не хочет, чтоб ты ехал!..

— Но маменька твоя не хочет, чтоб я оставался.

— Маменька! не вели ему ездить, — лепетала Габриель, протягивая графине руку, и когда Глинский поднес ее к Эми- лии, малютка схватила обоих за шею и твердила: — Не пус- кай его, маменька!.. не ездить, Глинский, вот тебе маменька... вот она... не ездить!..

Волосы Эмилии коснулись лица Глинского; дыхание обо- их смешалось. Они затрепетали. Эта сцена... где простое дет- ское сердце и невинный язык лепетали им общую тайну, по- трясли Эмилию. Она едва держалась на ногах. Малютку на- силу могли успокоить, и Эмилия снова подала руку Глин- скому.

— Вы ссылались на вашу дочь, — сказал он, выходя. —

Сама природа говорит языком Габриели. Эмилия, скажите одно слово, и вы сделаете меня счастливейшим человеком.

Глаза Эмилии были сухи и красны, дыхание тяжело, походка неверна; ей нужно было опереться на руку Глинского.

— Нет!.. — произнесла она едва внятно.

— Все кончено!.. Все кончено!.. — вскрикнул Глинский, ударяя себя в голову и удвоивая шаги, так что бедная Эмилия едва могла следовать. Несколько шагов было сделано безмолвно. Потом Глинский голосом, который показывал какое-то отчаянное спокойствие, сказал: — Теперь мне осталась одна только просьба: не забудьте гренадера и бедной женщины!..

До этой минуты Эмилия сберегла свои душевные силы: она приготовилась к этой борьбе и выдержала ее; когда же просьба Глинского показала, что опасность миновалась, это принуждение как будто оставило ее, но, вместе с тем, она утратила и твердость: они были уже в двух шагах от двери, ведущей в зал; еще она собиралась отвечать, как Глинский остановился.

— Эмилия! — сказал он потрясающим душу голосом, — еще шаг и вечность ляжет между нами! Эмилия, одно слово...

Судорожное движение пробежало по ее членам; она опустилась в бессилии на его руку, и в эту минуту послышался стук въезжающей на двор коляски Глинского.

— Слышите, Эмилия? этот звук гремит нам вечную разлуку!.. одно только слово!..

Первая борьба Эмилии истощила ее; она не в состоянии была сделать нового усилия. Смертная бледность покрыла ее щеки; грудь высоко вздымалась; она хотела что-то сказать, — но один невнятный, резкий крик вырвался из ее губ, и она упала на руки Глинского, как статуя, опроверженная со своего подножия!..

Испуганный юноша подхватил ее — вытолкнул ногою дверь и посадил в зале на первые кресла. Это был не обморок; это был перелом чувств. Эмилия лежала в креслах, склонив голову на плечо, закрыв глаза; крупные капли слез катились из-под опущенных ресниц; всхлипывания приподымали ее судорожными движениями.

Маркиза бросилась к дочери, к Глинскому, но он не замечал ничего: он держал Эмилию за руки и называл ее нежнейшими именами — пожатия рук были единственными ответа-

ми Эмилии. Наконец он спросил ее восторженным голосом:
«Эмилия! еще ли ты выговоришь *нет?*»

— Ах! что же скажет об этом Клодина?..— промолвила она, не открывая глаз.

В эту минуту вошел старый маркиз.

— Что это значит?— вскричал он, бросившись к Глинскому.

— Оставь их,— сказала маркиза потихоньку,— это наши дети!..



ПРИМЕЧАНИЯ

ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ НА МОРЕ

Впервые напечатано в «Полярной звезде» на 1824 год (Спб., 1823); вторично, с некоторыми дополнениями, в кн.: Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева. М., 1860. В настоящем издании очерк печатается по тексту сборника.

Очерк был отмечен современниками. П. А. Вяземский, получив альманах, писал А. А. Бестужеву: «В прозе предпочтительно понравилась мне статья вашего брата: есть много занимательности, движения, краски в слого» (Русская старина, 1838, № 11, с. 323). Декабрист П. А. Муханов также считал, что «ясная» проза Бестужева (Н.) является «венцом» прозаической части альманаха (Щукинский сборник, т. V. М., 1906, с. 271). Слово «ясная» противопоставляло статью Н. Бестужева орнаментальной прозе его брата Александра, напечатанного в этом же альманахе две повести: «Замок Нейгаузен» и «Роман в письмах». Отзывы Вяземского и Муханова особенно примечательны, потому что отдел прозы «Полярной звезды» отличался хорошими статьями. Здесь был напечатан исторический очерк А. О. Корниловича «Об увеселениях российского двора при Петре I», «Путешествие по Саксонской Швейцарии (в 1821)» и «Рафаэлева Мадонна» В. А. Жуковского, очерки и повести Ф. Н. Глинки, О. И. Сенковского и др.

Вяземский позднее еще раз подтвердил свое мнение. После выхода книги французского писателя д'Арленкура «Полярная звезда», где приводится отзыв Н. М. Карамзина о прозе Н. Бестужева (Visconte d'Arlencourt, L'Etoile Polaire, t. I. Paris, 1843, p. 332—333), Вяземский разъяснял А. И. Тургеневу: «Д'Арленкур говорит о Николае Бестужеве, который писал в «Полярной звезде» морские письма и сослан в Сибирь. Он, в самом деле, говорят, был гораздо умнее и дельнее брата своего, Марлинского, и писал лучше его» (Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. Спб., 1899, с. 236; ср. там же: т. IV, с. 239 и т. III, 1891, с. 69). Д'Арленкур вспоминает сказанные ему слова Карамзина: «Если кто-нибудь и мог бы продолжить мои «Письма русского путешественника», то это Николай Бестужев».

С. 28. Бестужев цитирует отрывок из четвертой песни «Чайльд-Гарольда» Байрона.

ТОЛБУХИНСКИЙ МАЯК

Впервые напечатан в сборнике «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева» (М., 1860), по которому дается текст в настоящем издании. Летом 1819 года Н. Бестужев принял предложение директора службы маяков в Финском заливе Л. В. Спафарьева занять должность его помощника. Свои непосредственные обязанности он стремился сочетать с научным описанием островов и маяков Финского залива. В письме к своему другу, основоположнику русской гидрографии, адмиралу М. Ф. Рейнеке из Селенгинска 8 мая 1852 года Бестужев рассказывал о своих неосуществившихся планах: «Благодаря Вас за сведения о островах морских Финского залива.— Некоторые я знаю и люблю, оттого-то и интересовался знать, будет ли о них что-нибудь написано и напечатано Вами. Вообще эти острова terra incognita (неведомая земля) для всех, даже для моряков.— И я, если б не служил помощником директора маяков, то не видал бы ни одного. Спафарьев обещал беспрестанно, но никак не мог сдержать своего слова, дать мне время и способ объехать и описать порядочным образом маяки наши и острова» (Воспоминания Бестужевых. Ред., статья и коммент. М. К. Азадовского. М.— Л., 1951, с. 512—513). Очерк о Толбухинском маяке — единственное свидетельство попытки Бестужева осуществить свой план.

Известие о разбившемся российском бриге Фальке в Финском заливе у Толбухина маяка, 1818 года октября 20 дня.

Впервые напечатано за подписью «...й ...ъ» в «Сыне отечества», ч. 49, 1818, № 44, с. 282—288. В настоящем издании текст печатается по этой публикации.

Из «Сына отечества» перепечатано русским мореплавателем, вице-адмиралом В. М. Головниным (1776—1831) в книге 4 «Описания достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных российскими мореплавателями» (СПб., 1822, с. 192—208). Перепечатка сопровождалась следующим вступлением Головнина: «Страшна и жестока должна быть участь странника, погибающего среди снегов отдаленной пустыни, где нет никакого для него убежища, ниже селений, откуда мог бы он надеяться получить помощь; но стократно ужаснее и мучительнее гибель несчастного, который замерзает, так сказать, на пороге собственного своего дома, и для спасения которого стоило бы только отворить двери, если б домашние его, покоящиеся в сладком сне, о месте пребывания его знали. Подобную сей горькую

чашу суждено было испытать злосчастному экипажу брига Фалька, разбившегося при самом входе в главный наш порт Кронштадт. Описание сего брига прекрасно описано флота лейтенантом Бестужевым и напечатано в журнале Сын Отечества, из коего я взял от слова до слова».

Тут же Головин приводит сведения об авторе очерка: «Г. Бестужев с успехом занимается словесностью: просвещенные читатели его знают по весьма приятному сочинению «Записки о Голландии»; а ныне по повелению Государственного Адмиралтейского департамента занимается он сочинением Российской морской истории».

В. М. Головин заключает очерк Бестужева послесловием: «Из сего описания видно, что крушение брига Фалька последовало от течи; а течь произошла от якоря, на кранбал отданного, и лапою на волнении обшивные доски пробившего. С трудом можно поверить, чтоб при нынешнем состоянии мореплавания, сыскался еще морской офицер, который бы не знал, что на ходу или при волнении непременно якорь должно отдавать с рустова и кранбала вдруг: опытные мореплаватели во всяком случае так поступают. Человек, вовсе знакомый с морскою службою, взглянув на якорь, отданный на кранбал во время волнения или при большом ходе, подумал бы, что сие острое орудие свешено нарочно для пробития корабельного дна. В грубых ошибках по службе молодость извинить не может: для неопытных офицеров книги есть; надобно только иметь охоту ими пользоваться».

Во втором издании «Описаний достопримечательных кораблекрушений...» (Спб., 1853) имя автора и примечание о нем В. М. Головина были исключены.

ЗАПИСКИ О ГОЛЛАНДИИ 1815 ГОДА

Впервые напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения», ч. XV, 1821, № 7, Проза, с. 33—64; № 8, с. 179—222; № 9, с. 257—298. В том же году вышло отдельное издание (Спб., 1821), по которому печатается текст в настоящей книге.

Экспедиция русского флота, в которой принял участие Н. А. Бестужев, была снаряжена в мае 1815 года, во время так называемых «Ста дней» Наполеона. В военных действиях экспедиции участвовать не пришлось; когда корабли пришли в Копенгаген, стало известно, что Наполеон разбит при Ватерлоо английскими и прусскими войсками, что военные действия прекращены и в Париже вторично подписан мир между Францией и союзными войсками.

Давая исторический очерк Голландии, Бестужев особенно останавливается на политической обстановке в стране после Аустерлица и Тильзита: в мае 1806 года Наполеон превратил Батавскую респуб-

лику в Голландское королевство, посадил там на престол своего брата Луи и сделал независимую страну придатком Франции. В июле 1810 года Наполеон лишил Нидерланды последних остатков суверенитета и включил ее в состав Французской империи. В России понимали, что такое же положение он готовил и России в своих планах.

С. 43. *Камели* — плавучая постройка, которая служит для прохода кораблей через недостаточно глубокий фарватер.

С. 46. *Пепин* (Пипин) *Короткий* (714 или 715 — 768) — король франков в 751—768 годах, основатель династии Каролингов.

Филипп Бургундский — имеется в виду Филипп III Добрый (1396—1467) — герцог Бургундии с 1419 года.

Карл Державенный (так переводит Бестужев французское *le Téméraire*) или Карл Смелый (1433—1477) — герцог Бургундии. Неоднократно подавлял восстания нидерландских городов, входивших в состав Бургундского государства.

С. 47. *Обиженный папами монах...* — Мартин Лютер (1483—1546), видный деятель реформации в Германии, основатель лютеранства. Выступление Лютера против продажи индульгенций (1517) положило начало широкому общественному движению, направленному против католицизма.

Филипп II (1527—1598) — из династии Габсбургов, с 1555-го — король Испании и Нидерландов. Царствование Филиппа, широко использовавшего инквизицию, сопровождалось массовыми сожжениями еретиков. При Филиппе началась Нидерландская буржуазная революция XVI века.

Вильгельм I Молчаливый (1533—1584), принц *Оранский*, граф Нассауский, деятель Нидерландской буржуазной революции XVI века, основатель нидерландской независимости. В 1572 году был признан палестником Голландии и Зеландии.

Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507—1582) — герцог, испанский военачальник и государственный деятель. В 1567 году был назначен Филиппом II наместником в восставшие Нидерланды. Установил в стране террористическую диктатуру. В период его правления было подвергнуто репрессиям свыше 18 тысяч человек. Политика Альбы привела к новому революционному взрыву, с которым он не смог справиться, и в 1573 году был отозван в Испанию.

С. 54. *Мор Томас* (латинизированное: *Morus*) (1478—1535) — английский государственный деятель и выдающийся мыслитель-гуманист, один из основоположников утопического социализма.

С. 64. *Нантский эдикт Людвига XIV противу гугенотов...* — имеется в виду отмена Нантского эдикта, подписанного в 1598 году королем Генрихом IV. По Нантскому эдикту католицизм оставался господствующей религией во Франции, но гугеноты получали свободу вероисповедания и богослужения (кроме Парижа и нескольких городов),

а также право занимать судебно-административные должности, иметь армию и другие привилегии.

С. 67. *Готфрид Лотарингский* — он же Готфрид Горбатый, с 1065 года герцог Лотарингский. Убит в Утрехте в 1076 году.

С. 68. *Утрехтский союз* (или уния) — военно-политический союз семи провинций Северных Нидерландов (Голландия, Зеландия, Утрехт, Гельдерн, Оверэйсел, Фрисландия, Гронинген) был заключен 23 января 1579 года против Испании, пытавшейся завоевать господство в Нидерландах, утраченное в период Нидерландской буржуазной революции.

Фарнезе Александр (1545—1592) — полководец и государственный деятель, герцог Пармы и Пьяченцы, с 1578 года — наместник испанского короля в Нидерландах. В борьбе с Нидерландской буржуазной революцией добился возвращения под власть Испании большей части территории всех соединенных Нидерландов.

Жерар Бальгазар (1562—1584) — фанатик-католик. Для исполнения задуманного плана (одобренного несколькими монахами и Александром Пармским) вступил под именем Франца Гюйона на службу к Вильгельму I и, войдя в доверие к нему, застрелил его на лестнице во дворце в Дельфте 10 июля 1584 года.

Колиньи Гаспар де Шатийон (1519—1572) — адмирал Франции, один из вождей французских гугенотов. Был сторонником веротерпимости, свободы отправления культа. Убит в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года.

Гроций Гуго (1583—1645) — голландский юрист, социолог и государственный деятель. Один из основателей теории естественного права. Первая его работа «Свобода морей» («*Maris Libertas*», 1609), защищала принципы свободы морей, что соответствовало интересам Голландии, которая стала в то время крупной морской державой и сталкивалась с притязаниями Англии и Испании на господство в океане. В 1601 году был назначен историографом Голландской республики. Принимал участие во внутренних политико-религиозных распрях страны, за что в 1619 году был приговорен к пожизненному заключению, в 1621 году бежал во Францию, затем, преследуемый Рипелье, поселился в Швеции.

С. 70. *Де Витты Ян* (р. 1625) и *Корнелий* (р. 1623) — голландские государственные деятели, республиканцы, стремившиеся к отстранению Оранского дома от участия в управлении страной. Против Корнелия было возбуждено обвинение в замыслах на жизнь Вильгельма III. В результате расследования он был осужден на изгнание. 20 августа 1672 года Ян, в ту пору вождь республиканской партии, прибыл в Гаагу, чтобы сопровождать брата в изгнание. Разъяренная толпа убила обоих братьев и надругалась над их трупами.

С. 72. *Кистер Лаврентий* или *Костер Лауренс* (ок. 1370 — ок.

1440) — голландец, живший в Гарлеме, которому приписывают изобретение книгопечатания между 1426 и 1440 годами, то есть до Гутенберга.

С. 77. *Война за испанское наследство* — война 1701—1714 годов. Предлогом к ней послужило отсутствие мужского потомства у короля Карла II Габсбурга. Претендентами на испанский престол выступили монархи, имевшие детей от браков с испанскими принцессами: французский король Людовик XIV (Бурбон) хотел получить испанский престол для своего внука Филиппа Анжуйского, император Священной римской империи Леопольд I (Габсбург) — для своего сына эрцгерцога Карла. Англия и Голландия настаивали на разделе испанских владений. Карл II завещал испанский престол Филиппу Анжуйскому, который и занял его в 1701 году под именем Филиппа V. Англия и Голландия согласились на это при условии независимости Испании от Франции. Война началась после того, как Людовик XIV объявил Филиппа своим наследником. В 1701 году Англия и Голландия заключили союз с Габсбургами и объявили войну Франции. В итоге войны Филиппу V была оставлена Испания с ее колониями, Габсбурги получили испанские владения в Нидерландах (Бельгию) и в Италии, Англия — Гибралтар и Менорку.

С. 80. Петр I был в Голландии в 1697 году. Саардам (Сардам) — в те времена второстепенная верфь — была рекомендована ему одним из московских знакомцев. В рассказе Бестужева «саардамский» эпизод жизни Петра основан на легенде. На самом деле весь этот эпизод продолжался очень недолго, пока Петр поджидал отставшее от него русское посольство, выдавая себя за плотника и живя в каморке, хотя в эти же дни за 450 гульденов купил ялик.

С. 82. *Рюйтер* или Рейтер Михаел Адрианзон (1607—1676) — голландский адмирал; одерживал морские победы в сражениях с Испанией (1642), Англией (1652, 1665), Англией и Францией (1672); вел успешную борьбу с пиратами.

Тромп Мартен (1598—1653) — голландский адмирал; одерживал блестящие морские победы в войнах с Испанией (1639) и Англией (1652). В войне с Англией доходил до устья Темзы.

ГИБРАЛТАР

Впервые напечатано: «Полярная звезда» на 1825 год. Спб., 1825; вторично в книге «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева». В настоящем издании печатается по тексту «Полярной звезды».

На фрегате «Проворный», отправившемся летом 1824 года во Францию и Гибралтар, Бестужев значился историографом. В действительности обязанности его были шире. 24 июля 1824 года он писал Александру Бестужеву из Бреста: «У меня три должности: на фрега-

те, по части историографической и по части дипломатической» (цит. по кн.: Зильберштейн И. С. Художник декабрист Николай Бестужев. М., 1977, с. 95). «На фрегате должность Бестужева состояла в командовании третьей вахтой (см.: Белые А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Спб., 1882, с. 114—115). На основании «журнала плавания», который вел на корабле Бестужев, им были напечатаны (кроме «Гибралтара») «Выписки из журнала плавания фрегата «Проворного» в 1824 году» (Записки, издаваемые Государственным адмиралтейским департаментом, относящиеся к мореплаванию, наукам и словесности, ч. VIII, Спб., 1825, с. 23—128). В 1825 году вышел и отдельный оттиск этой статьи.

С. 91. *...славный мыс Трафалгар* — имеется в виду морское сражение, состоявшееся 21 октября 1805 года между союзным франко-испанским флотом и английским, закончившееся победой англичан.

С. 93. *Тариф Абензакка* (VII—VIII вв.) — предводитель мавров, вторгшихся в Испанию.

С. 96. *Велизарий* (505—565) — полководец византийского императора Юстиниана. Успешно вел войны против германских государств и Персии. Под конец жизни подвергся опале и был лишен богатств. Опала впоследствии подала повод к легенде об ослеплении Велизария. На этот сюжет были написаны многие драматические произведения.

Напрасно испанская артиллерия... — речь идет о последней попытке (в 1779—1783 гг.) французов и испанцев вернуть захваченную англичанами крепость — «великой осаде» Гибралтара.

С. 98. *Питт* Вильям (младший) (1759—1806) — английский государственный деятель, активно боровшийся с Французской революцией и Наполеоном.

Остатки конституционных испанцев... — В 1814 году в Испании была упразднена конституция и наступила эпоха жестокой реакции. В 1820 году вспыхнуло восстание, в результате которого король был вынужден вновь ввести конституцию. Правительства Франции, России, Пруссии и Австрии приняли решение о подавлении испанской революции. В 1823 году французские войска вторглись в Испанию, с их помощью был восстановлен абсолютизм и начались массовые аресты и казни. Часть французских войск осталась в стране для охраны «порядка» и для уничтожения очагов сопротивления. Один из последних эпизодов борьбы с «инсургентами» (повстанцами) и описан Бестужевым.

С. 100. *О'Донель* (О'Доннель) (1769—1834) — испанский генерал, участник войны за независимость Испании, перешедший позднее в лагерь реакции. В 1823 году подавил восстание, поднятое вождем испанской революции Рафаэлем Риэго (1785—1823), пользовавшимся популярностью в передовых кругах России.

Впервые напечатано А. И. Герценом в «Полярной звезде» (1861, т. VII), затем в брошюре «Памяти братьей (так! — Я. Л.) Бестужевых. Издержки из современных записок декабристов. Лейпциг, 1880». С исправлениями по автографу напечатано М. К. Азадовским в книге «Воспоминания Бестужевых». В настоящем издании воспроизводится этот текст.

Публикуя текст, А. И. Герцен писал: «После кончины Н. Бестужева найдено было еще несколько отрывков, относящихся ко дню 14 декабря 1825 года. Один из этих отрывков, по-видимому, является продолжением воспоминаний о Рылееве; второй же относится к другой рукописи. Описанный случай крайне драматичен. Но где же начало? Где продолжение? Какое непоправимое несчастье, если мы утратили это святое наследие одного из лучших, самых энергичных участников великого заговора!» (Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XX. М., АН СССР, 1966, с. 266).

Отрывок, вероятно, был задуман как один из серии рассказов о 14 декабря, его подготовке, деятелях и самом восстании. Следы еще одного эпизода из этой серии — рассказ о попытке побега Н. Бестужева за границу дошел до нас в устных преданиях (см. об этом: Левкович Я. Писатели-декабристы в восприятии современников.—В кн.: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, 2-е изд., т. 1, М., 1980, с. 34—35).

С. 104. *Митрополит* — Серафим, которого встретил на площади М. К. Кюхельбекер и посоветовал ему удалиться (см.: Завалишин Д. И. Записки декабриста. Спб., 1906, с. 187—198). Слухи об этом эпизоде быстро разнеслись по городу. А. Е. Измайлов писал племяннику: «И митрополит струсил было, когда надобно было ему идти уговаривать бунтовщиков. «С кем же пойду я?» — спросил он одного генерала.— *С богом!* — отвечал тот <...>» (Пушкин. Исследования и материалы, т. VIII. Л., 1978, с. 183).

С. 105. *Хозяином дома* был Алексей Яковлевич Ляшевич-Бородулич, отставной корреспондент Военно-ученого комитета. 20 декабря он, опасаясь, что Н. Бестужев назовет его во время следствия, написал письмо Николаю I с сообщением о пребывании у него Бестужева. Бестужев его не назвал, но письмо это послужило основанием для внесения имени Ляшевича-Бородулича в «Алфавит декабристов» (см.: Восстание декабристов. Материалы по истории восстания декабристов. Под общ. ред. М. Н. Покровского, т. VIII. Л., 1825, с. 121).

В своем письме к Николаю I Ляшевич-Бородулич просил заключить его «в то место, где содержался Ник. Бестужев, на столько времени, сколько нужно будет для совершенного обращения его,

Ник. Бестужева, на путь истины». Из поведения «хозяина» очевидно, что в своем рассказе Бестужев несколько идеализирует его.

ТРАКТИРНАЯ ЛЕСТНИЦА

Впервые напечатано в альманахе А. А. Дельвига «Северные цветы» на 1826 год (Спб., 1825) под псевдонимом «Алексей Коростылев»; вторично под заглавием «Отрывок из дневника флотского офицера 1815 года» в книге «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева». В настоящем издании печатается по тексту «Северных цветов».

Рассказ навеян отношениями Н. Бестужева с Л. И. Степовой (см. примеч. к рассказу «Шлиссельбургская станция» на с. 329 наст. изд.).

С. 110. Отрывок из «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского под названием «Взгляд узника на небо» был напечатан в альманахе «Новые Аониды на 1823 год». М., 1823, с. 134.

С. 111. Упоминание о Копенгагене подчеркивает автобиографичность рассказа. В Копенгагене Бестужев был в 1815 году (см. его «Записки о Голландии»).

ПОХОРОНЫ

Рассказ впервые опубликован И. С. Зильберштейном в кн.: Литературное наследство, т. 60, кн. 1, с. 186—190. Текст рассказа был вписан декабристом Н. И. Лорером в альбом, подаренный им А. А. Капнист. В Читинском и Петровском острогах Лорер был в числе ближайших друзей Н. Бестужева и высоко ценил его литературный талант. В своих воспоминаниях он называет Н. Бестужева «отличным писателем» (Лорер Н. И. Записки декабриста. Подгот. к печати и коммент. М. В. Нечкина. М., 1931, с. 148). Выходя на поселение, Лорер снял копии с некоторых произведений своих товарищей, в том числе и с рассказа «Похороны».

Написано, по свидетельству Лорера, в Читинском остроге. Н. Бестужев пробыл в Чите с середины декабря 1827 по 23 августа 1830 года, когда декабристы были отправлены из Читы в Петровский завод. По предположению И. С. Зильберштейна, рассказ написан в 1829 году, так как, по-видимому, предназначался для задуманного декабристами альманаха «Зарница». Об этом замысле мы знаем из воспоминаний М. Бестужева (см.: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1974, с. 140) и из письма П. А. Муханова к П. А. Вяземскому от 12 декабря 1829 года, отправленного «по оказии» из Читинского острога в Москву. Муханов писал: «Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных порках. Если вы их не засудите — отдайте в печать. Может быть, ваши журналисты Гарпагопы дадут хоть по гривенке за стих. Автору с друзьями хотелось бы выдать альманах *Зарница* в пользу невольных заключенных. Но одно

легкое долетит до нас. Не знаю, дотащится ли когда-нибудь подвода с прозой. Замолвьте слово на Парнасе: не помогут ли ваши волшебники блеснуть нашей *Зарнице*? Нам не копить золота: наш металл — железо...» (Зильберштейн И. С. Художник-декабрист Николай Бестужев, с. 187).

Издать альманах не удалось. В «подводе с прозой», как полагает И. С. Зильберштейн, был и рассказ Бестужева. Рукописи, приготовленные для альманаха и находившиеся у П. А. Муханова (в январе 1832 года он вышел на поселение), погибли. Как это случилось, мы знаем из воспоминаний М. А. Бестужева о «казематской эпохе»: «У нас завелись перья, чернила, бумага; книг уже было вдоволь, журналов и газет даже слишком. Завелись литературные вечера, ученые лекции, диспуты <...>. То была самая цветущая эпоха стихотворений, повестей, рассказов, мемуаров. Тогда были написаны те повести, которые недавно напечатаны с именем брата Николая, и многие другие, уничтоженные при периодических мерах строгости или других обстоятельствах. Тогда же был написан целый ряд морских повестей, из коих самые лучшие были сожжены Мухановым при домовом обыске на поселении по доносу одного чиновника. Все они были отданы ему, как многие сочинения брата Николая, для напечатания... Черновые мы сохранять боялись от казематских обысков, так все они погрузились в Лету» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1974, с. 126).

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ СТАНЦИЯ

Рассказ впервые опубликован в кн.: Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева. М., 1860, с. 447—481, с многочисленными цензурными пропусками и под заглавием «Отчего я не женат». В 1858 году старшая сестра Бестужевых Елена Александровна хотела напечатать его в журнале «Семейный круг», однако публикация была разрешена только при условии, что имя автора не будет упомянуто. На это Е. А. Бестужева не согласилась (см.: Воспоминания Бестужевых, с. 807). По рукописи, с восстановлением пропущенных цензурой мест напечатан М. К. Азадовским в указанном издании (с. 539—572). В настоящем издании перепечатывается этот текст.

Историк М. И. Семевский, собиравший материалы о декабристах и писавший биографию Н. А. Бестужева, интересовался подробностями его жизни и обратился к М. А. Бестужеву с серией вопросов. На вопрос «Когда написан рассказ «Отчего я не женат?» и кто его героиня?» М. А. Бестужев отвечал следующее: «Я выше описывал Вам казематскую эпоху, когда более всего процветала мода на литературные произведения, чтение коих, кроме литературных собраний, происходило в присутствии наших дам. Они часто, видя, как брат

Николай любит детей, и видя, как умеет привязать к себе каждого ребенка и по целым часам резвится и забавляет их, то подымая содом на весь дом, то рисуя им картинки или делая замысловатые игрушки, — они часто спрашивали его, почему он не женат? «Погодите, — часто отвечал он, — я вам это опишу». И когда они приступили с решительностью и взяли с него слово, он написал эту повесть. Но так как ему не хотелось сказать истины вполне, не хотелось обнажить своей заветной любви пред чужими взорами, он выставил подставное лицо героини повести, в описании которой, впрочем, невольно отразился колорит характера любимой им женщины. Вставленный в эту повесть рассказ о домовых — истинное происшествие» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 208—209). Под «казематской эпохой» М. Бестужев имеет в виду пребывание в Петровском заводе, куда декабристы прибыли из Читинского острога 23 сентября 1830 года. Рассказ посвящен Александре Григорьевне Муравьевой, которая скончалась в 1832 году. Это посвящение и сведения, которые сообщает М. Бестужев, позволяют датировать этот рассказ первыми годами пребывания в Петровском заводе, то есть концом 1830—1832 годами.

На вопрос Семевского о героине повести М. Бестужев не дает прямого ответа, то есть не называет ее имени, но из некоторых замечаний его можно понять, что речь идет о Л. И. Степовой — жене генерал-директора Штурманского училища в Кронштадте, которую связывало с Н. Бестужевым глубокое чувство. Тому же Семевскому М. Бестужев писал: «Мне кажется, что <...> еще несвоевременно вводить в биографию брата самый интересный эпизод из его жизни, именно его любовь к единственно любимой им женщине, исключая разве порыв страсти к молодой прекрасной девушке (Августа Шт...); на которой он даже хотел жениться вскоре после выпуска из корпуса и которая неожиданно была похищена смертью» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 385). Сохранился черновик письма Н. Бестужева к Степовой, написанного из Голландии: «Все, что есть у меня сейчас дорогого, — это ваш медальон, который я ношу, лента, которую вы мне дали для часов, и я даже нахожу удовольствие, вдыхая еще оставшийся в моем (неразб.) запаха ваших духов, и мне кажется, что вы рядом со мной, потому, что это ваш любимый запах... Теперь я надеюсь уже скоро увидеть вас. Может быть еще три-четыре месяца, и я буду иметь счастье прижать вас к своей груди. Прощайте. Знайте, что я никогда не изменю вам. Прощайте» (Бестужев Н. Статьи и письма. М., 1931, с. 298).

С. 134. *Ульрих* — Иван VI Антонович (1740—1764), русский император, свергнутый с престола в годовалом возрасте. Впоследствии был заключен в Шлиссельбургскую крепость и убит при попытке офицера В. Я. Мировича освободить его.

С. 136. *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель сентиментального направления. Оказал огромное влияние на русскую литературу начала XIX века. В сочинениях и письмах декабристов часто встречаются образы и цитаты из произведений Стерна. Так, например, М. И. Муравьев-Апостол писал: «Из всех писателей, которых я читал в своей жизни, больше всего благодарности я питаю, бесспорно, к Стерну. Я себя чувствовал более склонным к добру каждый раз, что оставлял его. Он меня сопровождал всюду... Он понял значение чувства, и это было в век, когда чувство поднимали на смех» (Муравьев-Апостол М. И. Воспоминания и письма. Предисл. и примеч. С. Я. Штрайха. Пг., 1922, с. 15). Подобные высказывания можно найти и у других декабристов (см.: Азадовский М. К. Стерн в восприятии декабристов.— В кн.: Бунт декабристов. Л., 1925). Эпиграф из Стерна предпослан повести Н. Бестужева «Русский в Париже 1814 года». «Сентиментальное путешествие» Стерна Е. А. Бестужева передала брату Николаю перед отправкой его в Шлиссельбургскую крепость. М. Бестужев рассказывал Семевскому: «Стерново путешествие и Театр Расина сестра Елена умудрилась заложить между бельем в небольших чемоданчиках, дозволенных нам взять с собою при отправке нас в Шлиссельбургскую крепость и точно, первая для брата, а вторая для меня не только служили единственной отрадою в гробовой жизни, но, может быть, спасли нас от сумасшествия» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 206).

С. 146. *Радклиффовские ужасы* — производное от имени английской писательницы Анны Радклиф (1764—1823), представительницы так называемого «готического романа».

РУССКИЙ В ПАРИЖЕ 1814 ГОДА

Впервые напечатано в кн.: Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева. М., 1860, с. 221—444. В настоящем издании текст печатается по этой публикации.

По словам М. А. Бестужева, повесть написана в Петровском заводе. Отвечая на вопрос М. И. Семевского о литературных занятиях декабристов в Петровском заводе, он писал: «Около того же времени брат окончил свою повесть «Русские в Париже» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1980, с. 140). Однако сам Н. А. Бестужев еще в 1840 году считал повесть недостаточно отделанной. Свидетельство этого мы находим в его письме к сестре Елене от 24 октября 1840 года: «...у меня есть начатая повесть, составленная из одного анекдота в бытность наших русских в Париже 1814 года. Если время позволит кончить ее и переписать, я пришлю ее к тебе и попрошу сделать такое употребление, какое ты вздумаешь,

для опыта» (М. и Н. Бестужевы. Письма из Сибири, вып. 1. Ред. и примеч. М. К. Азадовского и И. М. Тронского. Иркутск, 1929, с. 59—60). Под «опытом» Н. Бестужев имеет в виду возможность публикации повести. Таким образом, датировать работу Бестужева над повестью следует 1831—1840 годами.

Об обстоятельствах, способствовавших написанию повести, также рассказывает М. Бестужев: «В тюремной жизни довольно трудно сказать, с кем он <Н. А. Бестужев> был не только дружен, но более близок: он был всем нужен, и он был со всеми одинаково близок <...> собирались у него чаще, т. е. постояннее,— Игельстром и Лорер. Надо сказать, что Лорер был такой искусный рассказчик, какого мне не случалось в жизни видеть. Не обладая большою образованностью, он между тем говорил на четырех языках (французском, английском, немецком и итальянском), а ежели включить сюда польский и природный русский, то на всех этих шести языках он через два слова в третье делал ошибку, а между тем какой живой рассказ, какая теплота, какая мимика!.. Самый недостаток, т. е. неосновательное знание языков, ему помогал как нельзя более: ежели он не находил выражения фразы на русском, он ее объяснял на первом попавшемся под руку языке и, сверх того, вставляя в эту фразу слова и обороты из других языков. Иногда в рассказе он вдруг остановится, не скажет ни слова, но сделает жест или мину — и все понимают. Аудитория была всегда полна, когда присутствовал Лорер или Абрамов <П. В.>, тоже прекрасный рассказчик, но в другом роде: этот рассказывал чистым русским, военным языком и часто просто солдатским, коротким, сильным, энергическим. В повести «Русские в Париже» брат пытался передать почти буквально соединение этих двух рассказчиков, но, кажется, это плохо удалось, как всякое подражание, и, несмотря на неудачу, повесть сохраняет колорит правды и теплоту чувств. Жаль, что ее напечатали, не исправив *сии* и *оныя*» (Воспоминания Бестужевых, с. 263—264).

Возможно, от манеры Н. И. Лорера-рассказчика идет то смешение языков (французского и русского), которое на первый взгляд кажется необъяснимым, потому что действие повести происходит во Франции, где, естественно, герои разговаривают по-французски. Предположение, что французские фразы вводятся как характерологическая черта языка «хорошего общества», не может быть принято, потому что во всех других повестях, действие которых происходит в России и герои которых несомненно пользовались французским языком наряду с русским, такого смешения языков нет.

Н. И. Лорер позже сам опубликовал свой рассказ под заглавием «Из воспоминаний русского офицера» (Русская беседа, 1857, ч. III и 1860, ч. I; более полный текст напечатан в кн.: Лорер Н. И. Записки декабриста),

С. 158. Эпиграф взят Бестужевым из главы «Париж» «Сентиментального путешествия» Л. Стерна.

С. 159. *Король Прусский* — Фридрих-Вильгельм III (1770—1840).

Шварценберг Карл-Филипп (1771—1820) — князь, австрийский фельдмаршал.

С. 165. *Мармон* Огюст-Фредерик-Людовик (1774—1852) — маршал Франции, принимал участие во всех наполеоновских войнах. После падения Наполеона перешел на сторону Бурбонов.

Мортье Эдуард-Адольф-Казимир (1768—1835) — маршал Франции. По занятии Москвы был назначен ее губернатором и после ухода французов, по приказу Наполеона, взорвал часть кремлевских стен.

С. 166. *Раевский* Николай Николаевич (1771—1829) — генерал от кавалерии, один из героев Отечественной войны.

С. 167. *Коленкур* Арман-Огюст-Луи (1772—1826) — французский дипломат, бывший посланником в Петербурге. Предоставление Наполеону после отречения острова Эльбы приписывают Коленкуру и его влиянию на Александра I.

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — генерал от инфантерии, во время походов 1813—1814 годов был начальником артиллерии и главной квартиры союзной армии.

С. 176. *Дрезденская битва* — одно из крупных сражений в августе 1813 года между союзной (русско-пруско-австрийской) Богемской армией фельдмаршала К. Шварценберга и армией Наполеона. Была последней победой Наполеона в кампании 1813 года.

С. 179. *Гевильясы* — испанские партизаны, активно действовавшие во время испанской войны при Наполеоне.

С. 180. *Король Римский* — Наполеон-Франц-Иосиф-Карл (1811—1832) — сын Наполеона и Марии-Луизы. После первого падения Наполеона был привезен в Австрию и поселился вместе с матерью у своего деда, австрийского императора Франца I.

С. 187. *Иосиф Бонапарт* — старший брат Наполеона, король Испании в 1808—1813 годах.

С. 190. *Платов* Матвей Иванович (1751—1818) — атаман донских казаков, генерал от кавалерии, во время отступления французской армии из Москвы нанес ей несколько крупных поражений, за что был возведен в графское достоинство.

С. 191. *Генрих IV* — король Франции в 1589—1610 годах, *Габриэль д'Эстре* — его любовница.

С. 192. «*Генриада*» — поэма Вольтера (1694—1778), посвященная Генриху IV.

С. 201. ...*такого мужа, как мой Серваль* — здесь и далее в тексте муж графини носит фамилию Беранже. Это отражает, по-видимому, колебания Н. Бестужева в выборе имени героини. Аналогично отец

графини при первом упоминании назван маркизом Луазеном де Рокурором.

С. 205. *Демон* Доминик Виван (1747—1825) — французский гравер, рисовальщик, дипломат и писатель. В 1803 году занял пост главного директора национальных музеев. По поручению Александра I приобретал в Париже картины для Эрмитажа. Возвращение Бурбонов лишило его всех занимаемых им должностей.

С. 221. *Дескамизадос* (испанское «безрубашечники») — демократическая часть городской бедноты, участники революции 1820—1823 годов в Испании.

С. 223. *Поттер Поль* (1625—1654) — знаменитый голландский живописец.

С. 227. *Карлино Дольче* (Дольчи Карло) (1616—1686) — итальянский живописец.

С. 228. *Жерар* Франсуа (1779—1837) — французский исторический живописец и портретист.

С. 229. *Пуссень* (Пуссен) Никола (1594—1665) — знаменитый французский живописец.

Ле-Сюер (Лесюер) Эсташ (1617—1655) — французский исторический живописец.

Менгс Антон-Рафаэль (1728—1779) — знаменитый немецкий живописец.

Ванло или ван Ло — фамилия нескольких художников, нидерландцев по происхождению, но причисляемых к французской школе. Наиболее известны Луи (1641—1713) и Жан-Батист (1684—1745) Ванло.

Вернет (Верне) — семья французских живописцев, наиболее известны из них Клод-Жозеф (1714—1789) и Карл (1758—1836) Верне.

С. 230. *Роза Сальватор* (1615—1673) — итальянский живописец, поэт и музыкант.

С. 241. *Порты наши отворились...* — имеется в виду так называемая «континентальная блокада», проводившаяся в 1806—1814 годах наполеоновской Францией по отношению к Англии. Специальный декрет запрещал торговые, почтовые и другие связи с Британскими островами. По Тильзитскому миру 1807 года к «континентальной блокаде» была вынуждена присоединиться и Россия.

С. 250. *Ожеро* или Ожро Пьер Франсуа Шарль (1757—1816) — маршал и пэр Франции, начавший службу простым солдатом, участвовал во многих наполеоновских кампаниях. В походе 1812 года не был, так как командовал войсками, занимавшими Берлин; в 1813 году участвовал в Лейпцигской битве.

С. 250. *Бурьень* Луи-Антуан Фовела (1769—1832) — секретарь Наполеона, в 1802 году был удален с этой должности по подозрению в разных финансовых проделках. Автор воспоминаний «Mémoires

sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration (Париж, 1829, 10 томов); в русском переводе С. Де-Шаплета: «Записки Буриенна о Наполеоне, директории, консульстве, империи и восшествии Бурбонов» (Спб., 1831—1836).

С. 257. *Блакас* (Блака) д'О Пьер Луи (1771—1839) — французский дипломат. После Реставрации 1814 года был назначен министром двора.

С. 261. *В Иенском деле...* Имеется в виду так называемое Иена-Ауерштедтское сражение 14 октября 1806 года, когда армия Наполеона разгромила прусскую армию.

Ней Мишель (1769—1815) — сын ремесленника, маршал Франции. В 1812 году командовал корпусом и за битву при Бородине получил титул князя Московского.

С. 264. *Волконский* Петр Михайлович (1776—1852) — светлейший князь, генерал-фельдмаршал, министр императорского двора и уделов. В описываемое время был начальником русского генерального штаба.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. А. Бестужев. <i>Я. Левкович</i>	3
Об удовольствиях на море	19
Толбухинский маяк	31
Известие о разбившемся российском бриге Фальке в Финском заливе у Толбухина маяка, 1818 года октября 20 дня	36
Записки о Голландии 1815 года	42
Гибралтар	90
14 декабря 1825 года	104
Трактирная лестница	110
Похороны	123
Шлиссельбургская станция	130
Русский в Париже 1814 года	158
Примечания	319

Николай Александрович Бестужев

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технический редактор **Т. С. Маринина**
Корректор **Л. В. Дорофеева**

ИБ № 2553

Сдано в набор 17.08.82. Подп. в печ. 10.01.83.
А00905. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типогр. № 2.
Бум. на вкл.— мелованная. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 17,74 (в т. ч. вкл.— 0,10). Усл. кр.-отт. 18,16. Уч.-изд. л. 19,72 (в т. ч. вкл.— 0,04). Тир. 300.000 экз. (1 завод 1—200.000 экз.) Зак. 1306. Ц. 1 р. 80 к. Изд. вид. ЛХ-274.
Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.